



НЕВА

8
2016

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей МНАЦАКАНЯН

Стихи • 3

Елена КРЮКОВА

Солдат и царь. *Фрагмент романа* • 9

Роман РУБАНОВ

Стихи • 106

Иван КАТКОВ

Олимпиец. *Повесть* • 110

Нина ГЕЙДЭ

Стихи • 126

Ренат БЕККИН

Казанские истории • 131

Борис ХОСИД

Стихи • 149

Борис ПЕТРОВ

Рассказы • 152

Егор ФЕТИСОВ

Рассказы • 167

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр АСМАНОВ

Почем она, рыбка золотая?
Заметки бывшего миллионера • 173

КОДЕКС КАРАМЗИНА

Елена ЗИНОВЬЕВА

О государственной судьбе • 182

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Портрет поэта. Альберт Измайлов. «Через память мою...». **Личность и рок.** Анна Даутова, Екатерина Иваненко. Ян Шванкмайер: между Дон Жуаном и Фаустом. **Рецензии.** Алла Марченко. Сальто-мортале под куполом цирка. Александр Вергелис. **VERSUS CONSERVAT OMNIA.** Борис Лихтенфельд. Поэт не для поэтов • 199

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)
Град Иудов в Горней. Часть 3 • 231

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Компьютерный набор **Л. Жуковой**
Верстка **Д. Зенченко**

Сергей МНАЦАКАНЯН

* * *

Событье! — липа зацвела!
Ну и дела!

Везде — в садах и городах
так одуряет запах липы,
что просто «ах!»,
и хохот, шелесты и всхлипы.

От океанов — до пустынь,
в яслях, квартирах и конторах
махровой липы веет шорох,
витают дым...

Повсюду липа, черт возьми,
как наважденье золотое,
часов с восьмью
сквозняк лишается покоя.

Под вечер в уличных пивных,
над фабрикой, за институтом
дух липы царствовать привык
с напором лютым.

А сквер брюхат —
он весь, как липовая школа,
он учится благоухать
до одури, до произвола...

Сергей Мигранович Мнацаканян — поэт, член Союза писателей СССР с 1974 года, автор многих книг стихов, эссеистики и пяти книг острой и элегантной прозы, изданной под псевдонимом Сергей Муравин. Первая книга поэта вышла в 1969 году. Получили популярность книги его стихотворений «Высокогорье» (1981) «Угол зренья» (1986), «Зимняя философия» (2004), «Русский палимпсест» (2005), «Дагерротипы» (2014), «Незримые сети» (2015) и другие. Последние годы пишет мемуары, которые объединил в книге портретов своих литературных собратьев «Ретроман, или Роман-Ретро: Мемуары поэта». За эту книгу удостоен звания лауреата Национальной премии «Лучшая книга года — 2011» в жанре мемуарной прозы. В 2013 году стал лауреатом Премии Правительства России в области культуры. В 2014 году ограниченным тиражом в свет вышло документально-художественное исследование Сергея Мнацаканяна «Великий Валюн, или Скорбная жизнь Валентина Петровича Катаева. Роман-цитата», посвященное одному из русских советских гениев XX века. Книги поэта изданы общим тиражом свыше четверти миллиона экземпляров. Живет в Москве.

Событье — липа зацвела
не понарошке —
жужжит над веткою пчела
кругами звуковой дорожки!

А сквер мохнат,
топорщится неверным цветом —
пора соцветья отряхать
по парапетам.

Сквер повторяет свой урок —
глядь: сумерки стоят на лапах —
и их завлек
цветущей липы желтый запах.

* * *

Жизнь прошла, и пора оглянуться на
сновиденья, чей алфавит уборист,
нежно вспомнить терпкие имена
юных барышень и молодых любовниц.

И втянуть ноздрями горячий дух
жаркой плоти и сырости из бывшего —
все они превратились в кривых старух,
ты скажи им спасибо и вспомни снова.

Этот абрис и тонкий овал лица.
Вспомни снова — все вкрадчивей и дороже
этот нежный запах горячей кожи,
что не скажешь на белых полях листа.

В коридорах редакций и совконтор
я отмерил тысячи километров,
не любил властей, и не верил в мэтров,
и ушел в себя, как в потемки вор...

Растворилась душа в запредельном мраке,
ниоткуда вырвать небесный свет,
что осталось? — только стопа бумаги
от горячей жизни, которой нет...

...А стихов не датировал — вперемежку
с жизнью, спермой, спиртом судьба текла,
и плевать, если вдруг выпадала решка
вместо задуманного орла.

НОЧНАЯ МУЗЫКА

Мы перед музыкой в долгу —
и это всей душой постигли,
когда предместье спит в снегу
и до-олго крутится пластинка.

О чем-то плачет в поздний час
под городскими фонарями,
волнует нас, тревожит нас,
как будто мы рыдаем сами.

Давно одиннадцать часов,
а музыка простая эта
отвергла безо всяких слов
постановленья Моссовета.

...И сизнова пронзит бетон
незримой связью между нами
звук, стиснутый со всех сторон
глухими темными домами...

О, музыка ночных домов
и одиноких воскресений,
сосредоточенных умов
и невеселых новоселий...

Всегда бы так — в бессонный час
пластинка за стеной звучала
и нам дарила всякий раз
немного счастья и печали.

Когда предместье спит в снегу,
как бы очерченное мелом,
мы все пред музыкой в долгу,
а расплатиться не умеем...

.....
.....

РОДОСЛОВНАЯ МИРА

Жизнь человека — как сновиденье,
тонут окрестности в зябком дыме...
Я обрусел еще до рожденья
вместе с родителями моими...

Есть исторические законы —
чудом сплетенные год за годом

разноплеменные миллионы
стали в итоге одним народом.

Пусть называются россияне
или еще как-нибудь иначе,
Господи, дай им в душе сиянья,
ну, и по жизни чуток удачи...

Чтоб воедино душа и слово
трепетно шествовали по жизни,
чтобы, не зная умысла злого,
счастливо жили в своей отчизне.

Только когда-нибудь перельется
хоть неизвестно в котором веке
с чувством преграды и первородства
это течение в иные реки,

Или в метельной моей России,
или в горячих песках пустыни —
новые расы, исполняясь силы,
вырвутся в новые палестины...

Этого, знаешь, не остановишь,
здесь невозможно сопротивление...
Как говорится, Москва—Воронеж,
недогоняемые поколенья...

Сколько б ни складывалось историй,
каждая к новому подстрекает...
Вот родословная, из которой
все человечество истекает...

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ

Европа рушится на страшном сквозняке,
но входит ласточка в смертельное пике,
и крылья острые в небесном вираже
свистят, пронзительно аукаясь в душе.

Гуд бай, Америка, звучит последний стон,
но машет крыльями прекрасный махаон,
поникли усики, ободрана пыльца,
а жизнь не понята с начала до конца...

А что политика? Искусство врать красно?
Но рвутся сумерки в открытое окно,
и жизнь таинственна, как тихий разговор,
прелестна женщина, все остальное — вздор.

Не дай нам, Господи, пропасть во тьмах времен,
где машет крыльями последний махаон,
но в бездне времени аукается стон,
что ты к забвению навеки осужден...

* * *

Мне снился сон —
 среди бела дня
душа отделена от тела,
и сквозь меня
сама вселенная летела...

Сквозили нервы на ветру,
и розовые альвеолы,
хрипя от боли,
вступали в звездную игру.

Все это — сон.
Он выплеснулся полной чашей —
вечерний звон
над жизнью бедной и пропащей...

Какой резон
хрипеть по храмам и вокзалам:
жизнь — это сон,
спаленный атомным пожаром!..

Я знаю все,
что можно знать о жизни нашей,
такой чудесной и горящей,
что от стыда горит лицо.

Но это — сон,
пусть и исполненный страдания,
которое — не оправданье
тем, кто бесславно вознесен.

Жизнь — это шок,
и этим нестерпимым шоком
твой рок тебя насквозь прожиг —
колючей проволокой под током.

...Жизнь — вечный сон,
пронзительно-невыносимый,
он пролетает легче дыма —
ты этим дымом унесен...

И в унисон
летит, вселенную измучив,
тот страшный сон,
какого не предвидел Тютчев...

* * *

Проиграли Третью мировую —
мирную холодную войну...
Вечный бой, проигранный вчистую,
потянул отечество ко дну.

Волею чиновника и вора
чаша скорби выпита до дна,
серым прахом русского позора
рухнула Берлинская стена.

Это освятить бы надо одой:
справедливость — нету ей цены!
Только как платить чужой свободой
за крушенье собственной страны?

Все тип-топ, тяп-ляп и шито-крыто,
челюсти хрустят на целый свет:
это наспех хаваает «элита»,
торопясь с фуршета на фуршет...

* * *

Хорошо посидеть на дворовой скамейке,
просто так — ни куда, ни зачем,
хорошо поседеть, не считая копейки,
как считает скупой казначей...
Хорошо, что душе до скончания века
незнакомы покой и тоска,
хорошо, что над брэнной судьбой человека
так бесцельно летят облака.

СОЛДАТ И ЦАРЬ

Фрагмент романа

Прелюдия

...Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моих прабабки и прадеда, а всего детей родилось одиннадцать. Я ловила, как котенок, клубок из ее корзины, у ее толстых, мощных ног, когда она вязала. Или шила — на старой ножной швейной машинке. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла из-под руки.

Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала — и спицы, как собака палку. Я смеялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертела в пальцах перламутровую пуговицу от старого бабушкиного сарафана.

Бабушка рассказывала о прадеде Павле, а потом еще об одном человеке, его друге:

— Твой прадедущка Павел нам этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник был отменный. Топор танцевал в его руках. А уж настрадался он в жизни! Где только не мучили его! В особом лагере на Новой Земле отсидел пятнадцать лет. До этого — Соловки. До Соловков — Уссурийск. До Уссурийска — поселение, Минусинская котловина. Там у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска... был Омск... а до Омска — Екатеринбург, теперь Свердловск... там он горячего хлебнул... а до Свердловска — Тобольск... А в Тобольск отец прямо с войны попал, из окопов... А на войну — из Нового нашего Буяна взяли...

Я отматывала, вместе с бабушкой, клубок времени назад. Разматывала время... Только сейчас размотала — а ветер уже разметал клочья шерсти, порванные нити. Время — ветер, оно выдувает непрощенные мысли. Почему «хлебнул горячего» в Свердловске? Почему у этого города два имени? Горячее — это страшное, я догадалась тогда.

Много позже я узнала, уже со слов моей матери: прадед Павел Ефимыч, красноармеец, служил в отряде, который сторожил царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Елена Николаевна Крюкова родилась в Самаре. Прозаик, поэт. Член Союза писателей России с 1991 года. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Царские врата», «Пистолет», «Врата смерти», «Día de los muertos», «Тибетское Евангелие», «Русский Париж»). Работает с издательствами «ЭКСМО» и «Время» (Москва), «ЛИТЕО» (Москва). Лауреат премии им. Цветаевой (книга «Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» за лучший роман 2012 года («Врата смерти», 2012, № 9), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012), премии им. А. М. Горького (роман «Серафим», 2014), Международной премии им. И. А. Гончарова (роман «Беллона», 2015), дипломант премии им. И. А. Бунина (роман «Беллона», книга рассказов «Поклонение Луне»). Живет в Нижнем Новгороде.

Я с замиранием сердца спрашивала маму: а правда, прадедушка Павел расстрелял царя? Мать прижимала палец к губам. Так же как бабушка, она всегда шила — на ручной швейной машинке «Подольская», черной, чугунной, с золотой вязью по гладким женским бокам. И все так же ползла из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.

Палец, прижатый к губам, говорил без слов: рассказать нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врач, рано надела очки. Сапожник без сапог. Толстые стекла непомерно увеличивали глаза. Мы, девочки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на школьных промокашках. Она стала портнихой по наследству, домашней, только для семьи. Шить она умела все — от пальто и шубы до детской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, как она плачет. Осторожно ступая босыми ногами, вышла в большую комнату — мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцепилась в чугунную плаху «Подольской», лоб лежал на руках, она всхлипывала. Толстые очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» — спросила я робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потом погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.

«Деда вспомнила. Как он нас всех, сестер, любил. Меня звал Нинусик. Томочку — Тамочка. Валю — Валеночек. А ты знаешь, доченька, ведь он царскую семью расстрелял. И на всю жизнь это запомнил. А все равно его по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской власти он невинных людей убил».

Как это невинных, думала я смятенно, ведь проклятые цари мучили народ, стреляли в него, издевались над ним! Надо было обязательно их убить! Нас так учили в школе. Я не знала другой правды, да и не было ее.

Я стояла, слушала мать, водила пальцем по золотым вензелям на черном чугунном боку швейной машинки. Машинка напоминала мне черную тяжелую корову. А на корову кто-то накинул попону с золотыми, царскими узорами.

«А когда его увозили на подводе из Буяна на поселение — он так всех нас обнимал! И плакал, и кричал: я еще вернусь, вернусь!»

Мать крепко вытерла лицо падающей на пол материей. Потом начала, среди ночи, шепотом рассказывать про молодого прадеда Павла. «Остались снимки... там он такой красивый... и деток красивых нарожал от Насти, да и она была хороша, полька... А про царей он нам рассказывал, сажал нас на колени и губы мне к уху прижимал, — губами щекотал... Говорил: цари были такие тихие. Смирные... Дочери — хорошенькие. Особенно ему нравилась Мария... Он все их имена помнил, а мы путали... А потом обнимал нас и плакал. Мы его спрашивали: ты что, деда, плачешь? Тогда он смеялся через силу и кивал: правильно, солдаты не плачут!»

Так я и представляла прадеда Павла — то плотником с топором в руках, то солдатом с винтовкой за спиной. Он стоит, винтовка на плече, курит махорку, а вокруг солдаты, друзья толпятся.

...Потом все эти солдаты стали приходиться ко мне во сне. Именно солдаты, а не цари, хотя правильной было бы, если бы девочке, по девчачьему чину, снилась царская семья — гордая царица и царевны в кружевных платьицах. И бородатый важный царь.

Я потом увидела в книгах фотографии царя — в военной форме; он тоже был солдат. Для меня тогда не было разницы между офицером и солдатом. Все в гимнастерках, и у всех суровые военные лица. Брови нахмурены. Только одни солдаты делают революцию, а другие на них нападают, чтобы красную, прекрасную революцию убить.

А потом те и другие объединяются и однажды защищают нашу Родину от страшного чужого врага.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, прадед Павел отбывал срок в особом секретном лагере на Новой Земле. Всю войну с фашистом он просидел там, на мертвом Севере, где белые льды и красные жуткие закаты. Где медленно колыхается, варится серое ледяное олово моря. Заключение шили для Советской армии тулупы и валяли валенки. Валеночки...

И убили Павла Ефимыча, прадеда моего, при попытке побега. Бежал вместе с другом. Сухарей тайком насушили, хранили под старой лодкой. Этому самому другу удалось бежать, а Павла подстрелили. Часовой с вышки стрелял метко. Друг снял у Павла с груди темный, позеленелый крест. На себя надел. С двумя крестами шел. Добрался до Волги, до Костромы. На барже плыл, милости ради. Донес до Самары. Отдал дочке, Наталье Павловне.

Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидел на кухне... столы газетами покрыли... как раз пост, пирожки с картошкой матушка испекла... Крест у меня на ладони лежал, я его слезами обливала... А этот человек, царствие ему небесное, до нас добрался, как хорошо, последнюю весточку принес...»

И хорошо, ясно помнила я: на шее у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжелый медный крест, слишком тяжелый и большой, неженский. Такие нательные кресты носили служилые и торговые люди, солдаты, крестьяне. Мужики. Я залезала к бабушке на колени и трогала крест пальцем. Он не охлаждал палец, а странно обжигал.

Сейчас думаю: вот он носил крест, Павел Ефимыч. В Бога — верил. Тогда все верили. Нельзя было иначе. И все же поднял руку на царей. На своих царей.

Представляла, как прадед Павел стоит, с ружьем наперевес, и ружейный ствол — на царя наставляет. Может, это он и убил последнего царя?

Честь убить царя пытались присвоить многие. Цареубийца — это же навсегда в истории!

Бабушка рассказывала не только о человеке, донесшем до семьи Павла Еремина его нательный крест; а еще об одном. С ним Павел Ефимыч служил в красном отряде в Екатеринбурге. Этот был не только прадеда друг. Но и бабы Наташи, так я понимала.

Потому что она ласково и в то же время сердито называла его, будто обзывала: «Мишка Лямин». Скажет: «А, Мишка Лямин...» — и рукой махнет, будто муху отгоняет. То ли презрительно, то ли озорно. Будто самого этого загадочного Мишку, смеясь, по руке бьет. Значит, знала она его, этого Мишку.

В ящике старинного письменного стола красного дерева у бабушки среди разных фотографий лежала и такая: два солдата стоят перед камерой, глядят в объектив осовело. Слишком долго, видно, держал их нерасторопный фотограф перед волшебной коробкой: никак не мог зажечь магний. Я рылась в ящике, когда бабушка уходила за кефиром, молоком и творогом, доставала из ящика пожелтый снимок. Кто слева, кто справа? Прадеда Павла я уже узнавала: он и правда был красив. Степной и дикой красотой. Брови взлет, фуражка надвинута на лоб, узкие калмыцкие глаза. Рядом пялился в камеру другой солдат. Ростом выше Павла Ефимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше колен. Не шинель, а казачий тулуп. На башке буденовка. Глаза тарашит. В отодвинутой вбок руке сжимает винтовку, крепко упирая ее прикладом в дощатый пол.

Я глядела на снимок и со сладким страхом думала: а может, это он убил?

«Мишка Лямин, — тихо говорила бабушка, разложив на столе кефир, и творог, и белые, будто мраморные, яйца, и мясной горячий пирог в промасленной бумаге,

глядя из-под очков на желтый, коричневый, как в печке запеченный, снимок в моих руках, — Мишка, рыжий, бесстыжий, он наш, буянский, он же ко мне сватался. А я ему отказала. Ох и рыжий! Аж красный был! Вот какой рыжий! Идет по Буяну — как фонарь горит! Издалека видно! И после Гражданской войны тоже приезжал в Буян. Тоже свататься хотел. Мне сказали. Да я уже вышла за деда твоего, Степана. А Мишка до нашей избы так и не дошел. Застеснялся. Ну что ж... Судьба такая».

«А что с ним потом стало, с этим Мишкой?» — спрашивала я.

«До генерала дослужился», — с тяжелым, длинным, как жизнь, вздохом отвечала бабушка.

Когда бабушка Наталья умерла, все ее вещи достались дочерям Валентине и Тамаре. Нина, моя мать, не получила из ереминского дома ничего: ни вещицы, ни иконки, ни фотографии, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мне корзинку с последним вязаньем и спицами».

...Бабушка сидит. Вяжет. Во рту держит две спицы с янтарными шишечками-наконечниками. На столе наперсток, серебряный, с такой же янтарной головкой в дырках. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они, отец и Мишка, очень дружили. Переписывались. Отец вернулся с Урала в Новый Буян — ему то и дело от Мишки почту приносили. А отец не умел особо писать, хотя грамотный был. Однако Мишке отвечал. Карандашом царапал. В Буяне Павел Ефимыч стал церковным старостой. Маслобойку завел... мельничошку... А потом письма перестали приходять. Нас раскулачили... мельничошку отняли, маслобойку покалечили... сломали... Все сломали, все».

Я жила и не думала об этом друге. О солдате рыжем и бесстыжем. А в последние годы вдруг стала думать о нем. И видеть его. Почему-то его, а не прадеда Павла, — ярче, четче.

Что такое смерть? Это когда забывают напрочь. А жизнь, наверное, это когда видят и помнят.

Недавно мне приснилось, что в меня стреляют. Но я не убегая. Я стою ровно и тихо. И смотрю убийце прямо в лицо. Я хорошо знаю его. Помню по желтой фотографии.

Вот здесь у него морщинка под глазом. Вот здесь, возле уха, родинка. Он мне как брат. Родной.

...И он не опускает винтовку. Он стреляет все равно. <...>

* * *

...Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.

Царица, в ночной сорочке, расчесывала волосы и все пытала царя: знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке? О ком, моя прелесть? О Ленине.

И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украины с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытается в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!

Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика — кривоногий табурет. Вместо ковров — грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть на стенах дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.

Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папá.

Какой негодяй, шептала царица и приглаживала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту — так она делала всегда, когда слишком волновалась. А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому что хочет нам всем — за брата — отомстить?

О, нет, наверное нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, побирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот — страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он — страшный больной. Он, милая, тяжело болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова! И вот... мы до него и дожили...

Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!

И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле — тех, что люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает им руки, он развязывает совесть, он... думает так и вслух говорит так: убивайте, убивайте, убивайте, сжигайте, стреляйте, насиуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами — все можно, все в вашей власти, нет страха, все — ваше, Бога — нет! И, милая моя, толпа... слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет — всего... всего того, чего у нее нет... и не было... Солдаты говорят: у него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза — без дна. Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это каракули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. там... все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли — не то чтобы надел, а — вся страна! Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины... ты не поверишь... но не затыкай уши... поделены между всеми мужчинами... нет жен и мужей... а женщины — всеобщие жены, они принадлежат всем...

Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью. Но ведь, милый! милый! — он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!

Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.

Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладони к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами. Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе... может, воды принесу? Да. Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И — дождалась! Ей — Ленина надо было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми культями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, — а я, дурак, не знал... не понимал, не сознавал... и теперь... только теперь...

По спокойному, странно светлому, чистому лицу катились спокойные, медленные слезы. Руки так же были закинута за голову. Ворот исподней рубашки отогнулся. На волосатой, уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед кроватью на колени и покрыла поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика, крестика. Ладонями отерла с его лица слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее лицо было сейчас так чисто, светло и ясно, как никогда; будто никакая грязь, никакой ужас, кровь и безумие его никогда, даже краем, не касались.

* * *

Они все вооружены. Все до единого с оружием. Хорошо Авдеев их вооружил. Не царей убивать, конечно; они ж не изверги. Это если на них кто-нибудь извне полезет. А ведь полезут, вот, ей-богу, святой истинный крест... тьфу ты, опять это богово, какое ж прилипучее, честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни в едином не обмолвились о своем спасении?

«Их спасение — наша смерть. Все проще простого. А потому, Мишка, смотри в оба и другим присоветуй. Ночью-то не спи».

Он не спал, если ночью Авдеев ставил его на охрану; пучил глаза во тьму, а весенняя тьма была светлая, голубиная. Пасхальные дни всегда такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй ее в клювик! Она Господу привет понесет.

«Вот заладили: Бога нет, Бога нет. А ну как Он есть?»

На лестнице сегодня стоят латыши, а еще молодняк, злоказовские. Со Злоказовского завода. Это Авдеев их пригнал: его рабочие дружки. Лица какие славные у них. Горят верой. Человек должен во что-то верить! Отняли Бога — веруй в революцию. Отняли царя — верь в Ленина, он не подведет. Он за всех болеет, одним пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой. Глядит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под его руками. Там и сям кострища, огни. Строчат пулеметы. Рвутся бомбы. Один город Ленин красным карандашом обведет. Другой — обведет. Стрелки нарисует: вот так движутся войска. Они там, в Европах, и эти, бывшие, контрреволюционеры, с ног сбились, на языке мозоли вспухли: убеждают друг друга и весь мир, что большевики — чума, холера, гибель, язва египетская. Ну, будет вам язва!

«Мы наш, мы новый мир... построим...»

— Эхэй, Михаил! Запарка, тшай, эст?

Михаил стоял на первом этаже, около лестницы. Со второго этажа, с последней ступеньки, через перила свешивался австрияк Фридрих Зеeman.

— Фриц, спать тянет, да?

— Та, та! Йа! Тафай запарка!

Лямин полез в карман и вытащил пакет с заваркой. Пашка отсыпала ему на кухне, сама бумагу уголочками завернула.

Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.

— Держи.

— О, данке, данке, топарисч!

Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка не изронят. Так и стоят на карауле с мраморными мордами. Мраморные белобрысые львы. Лямин сколько перевидал этих каменных львов у домов богатеев: в Самаре, в Саратове, в Тобольске. Символ власти! «Все, теперь львы — мы».

Еле добьешься от латышей, кого как зовут. Да у всех имена немислимые, похожи на немецкие: Генрих, Ингерд, Готфрид, Интарс. Да и покличешь — башку не обернут. Медленный народ. Зато стреляют хорошо. И лица, когда палят, такие же мраморные, твердые, невозмутимые.

И говорят только по-своему. Это беда: не поймешь о чем. Может, мятеж хотят поднять? Австрияки тоже лопочут по-немецки, но бойкие, оживленные, у них шило в заду торчит; стараются с нашими солдатами заговорить, отношения завязать. Хотя сегодня ты тут — охрана, а завтра — ты в войсках Красной Армии, на фронтах, а послезавтра у тебя нет и быть не может. Вот и вся дружба. А тянется, тянется человек к человеку.

Злоказовцы — другие. Эти — своя братва. Кричат, матерятся, а то и сцепятся — из-за махорки, из-за горбушки. И порой ножи в ход пускали. Да только комендант с ножами разобрался быстро: одного — к забору и шлепнул, другого — домой, к мамке, отправил. Вон из революции. Парень пятился, выходя из ворот, плакал, размазывал слезы и сопли по щекам, с ужасом глядел на застреленного товарища. К порезанной руке портянку прижимал.

Злоказовцы несут вахту вокруг Дома. Это потяжелей, чем в Доме: на улице холодно, особенно ночами, да и опасней: кто угодно может прокрасться к забору и выстрелить, и бомбу кинуть.

Лямина никогда еще не ставили на внешнюю охрану. Он был — «внутренний». Домашний пес, шутил про себя.

Слишком много солдат. Все не вмещались в комнаты первого этажа. Авдеев расселил их в соседнем доме; раньше здесь жило семейство Попова. «Ты куда?» — «В дом Попова, на ночевку». — «А петух там у вас есть?» — «Зачем петух?» — «Чтоб будить». — «А я думал, чтоб — сварить!»

Фриц покостылял на кухню — заварить себе чаю. Лямин, понизив голос, крикнул ему в сутулую спину:

— Эй, и на меня завари!

Австрияк обернулся, и Лямин пальцами потер в воздухе, показал, что завари, значит, сложил пальцы в щепоть и вроде как чаю в стакан насыпал.

— Йа!

«Орем мы. Ее... разбудим».

Пашка спала в кладовой. И запиралась изнутри.

Он как-то ее спросил: тебе там не душно? не задохнешься, часом? — а она засмеялась: у меня воздуха в легких впрок запасено, я рыба глубоководная. И показала ему язык. Такой, озорной, обидной, она раньше нравилась ему. Теперь у него к ней осталось одно: боязнь, страх за нее. А на чем же ты спишь? Книги штабелями сложила и сплю.

Он видел, что она врет, но как докажешь?

За окном захрипел мотор. Что в авто ночью делает Люханов?

«Черт, может, проверяет. Может, Авдеев куда-то кого-то везти приказал. Но не царей. Все спят. Никто за ними не идет, будить их».

...— Эхэй! Микаил! Йа приносить тшай!

Он стряхнул морок. Принял из рук австрияка горячий стакан. Обжег ладони и сам своему детскому ожогу засмеялся.

— Спасибо, Фриц, Ты друг.

— Трук, трук, йа!

Фриц все время мерз и ходил даже в теплые дни в накиннутой на плечи шинели.

«Сколько мы на фронтах таких вот австрияков побили, немцев, венгров — не счесть. А нынче они наши друзья. Трук, трук. Мировая революция это, вот это что!»

Лямин поставил стакан с коричневым горячим чаем на пол, на плашку недавно крашенной половицы.

Мировая революция представилась ему в виде страшной и прекрасной, громадного роста бабы, с полной голгой грудью, с широченными, в три обхвата, бедрами; она стояла, уперев одну ногу в один город, другую — в другой, ее рыжие огненные космы бешено и весело развевались в ночи, и она волосами освещала непроглядную ночь — поля, леса, города с заводскими трубами, снега в лощинах, железнодорожные пути, старые тракты; стояла над землей, глядела сверху на людские города и хохотала, и что-то задиристое, путеводное кричала, и от ее яростного крика города загорались, полыхали заводы и фабрики, трещали пулеметы, люди валились на снег площадей, осыпались, как песок или дряхлая известь со стены, царские дворцы, лопались жирные животы капиталистов, а баба все стояла, крепко уперев ноги в землю, опускала голову, и пламя с ее головы перекидывалось на материки, на дальние острова, на столицы и хижины.

«Мир хижинам, война дворцам... Вот точно так! Война — дворцам! Вся кровушка выпита из нас! Вы нами владели? Теперь вот тарелкой каши повладейте-ка! И та — вам не принадлежит!»

Мотор тарахтел, тарахтел, потом смолк. Лямин все-таки подошел к окну: а вдруг кто чужой мотор заводит? Рядом с автомобилем стоял Сережка Люханов. Он увидел Лямина в окне и успокаивающе поднял к плечу кулак: я тут, все в порядке, штатная проверка. Лямин сжал кулак в ответ. Так друг другу потрясли кулаками, и Лямин вернулся на свое место под лестницей.

Чай ждал его, как пес, у его ног. Он наклонился за чаем, и тут за дверь в комнате царей раздался тонкий женский стон, и он дернулся, носком сапога задел чай, стакан опрокинулся, и чай вылился на пол. Он следил, как кипяток медленно течет по крашеной половице. «Вот и попил, и согрелся». Оглянулся: чем бы подтереть? — и рукой махнул: и так высохнет.

«Хорошо живем. Охраняем царя, хорошая служба. И денежку дают. И харч опять же. И...»

Перед глазами замельтешили, побежали конские морды, конские ноги. Уши услышали уже позабытый грохот. Снаряды летели, и пули свистели, и он — среди всего этого крошева и огня — тоже стрелял, а вокруг столбом вставала до неба страшная, оглушительная ругань, он в мире и в жизни своей никогда такого мата не слышал, как там, на войне.

«Война! Я ж воевал. Я что, туда опять хочу?! А ведь ушлют, ежели что. Вдруг что напортачу с царями этими. Или Красной Армии солдаты понадобятся. И все, как: Авдеев напишет приказ, меня рассчитают, погрузят в мотор... потом в вагон... и... Гражданская наша война большая... по всей России размахнулась... пошлют куда хотят... хоть в донские степи... хоть под Петроград... хоть под Иркутск... хоть...»

Медленно, шепотными стылыми губами, повторял себе: я же живой, я пока еще живой, потому что я тут, при царях. «Цари мою жизнь спасают, выходит так». Что, он должен быть им благодарен? Как это раньше, при царях, говорили: «премного благодарен»...

...Глаза слипались, и между ресницами мелькали, среди конских ноздрей и бешеных, угольных косящих глаз, женские глаза; они уходили и вводили, и он шел, а потом летел, и его губы целовали эти улетающие глаза, а женщина хорошо сидела в седле; да не женщина, а девочка, милый подросток, только у нее почему-то сильные руки деревенской бабы — она и сено может граблями ворошить, и лопатой весь огород вскопает — не охнет... и вот верхом скачет... Маша... Маша!.. я Пашка, Пашка я, а ты дурак!..

...— Ты! Солдат Лямин! Почему спишь на карауле?! Э-э-э-эй, Лямин, так твою растак!

Михаил махнул башкой, как конь, и выпрямился, выгнул спину и выпятил грудь. Винтовку — к ноге.

— Виноват, товарищ Мошкин!

— А-а-а-ах, ты...

К нему слишком близко, так, что пахло отвратным перегаром, подошел Александр Мошкин.

Товарищ Мошкин, правая рука Авдеева. То ли его заместитель, то ли его ученик. Да просто помощник; парень на подхвате. Авдеев уходит на ночь к себе домой, в Доме не ночует — вместо него тут торчит Мошкин. Он злоказовец и, видно, старый приятель Авдеева. Солдаты странным образом кличут его не Александр, а Гордей. Почему? «Повар Гордей, не отрави людей!» Мошкин поварешку отродясь в руках не держал. Вот бутылку — это да, это с удовольствием и всегда пожалуйста. Особливо на дармовшинку.

— Так-растак, Лямин! Повеселимся?! Али ночка не коротка?!

Лямин держал винтовку крепко.

«А что ежели попугать? Взять да и на него наставить».

«Он тебе потом такого наставит... не дури...»

— А у меня косушечка есть!

Вынул из кармана косушку. Поводил ею в воздухе.

— А еще у меня... вот что есть!

Вынул из другого большую сизую бутылку, в ней плескалось мутное, белесое.

— Глафирка гнала. Ох, слезу вышибает! Закуска-то как? Имеется? Али поварихой закусим? Ты не против? От задка кусочек...

У Михаила перед глазами помрачнело.

— Ты говори, да не заговаривайся.

— Сейчас народ разбужу! Эй! Народ!

Орал в полный голос. Из караульной высовывались головы.

— А, повар Гордей.

— Мошкин это!

— Повар Гордей, не стражай людей...

Мошкин, держа в обеих руках водку и самогон, вращал бутылками не хуже, чем жонглер в цирке.

— Давай-давай, ленивцы! Отметим нынешнюю ночку!

— А што, Мошка, нынешняя ночка сильно отличацца от давешней?

На круглом веселом, лоснящемся лице Мошкина, скорее, женском личике, с мелкими, кукольными, противными чертами, для мужика негожими, нарисовался таинственный рисунок. Он прижал к губам бутылку с самогоном, горло бутылки — как прижимал бы палец: тс-с-с-с.

— Тиха, тиха... Я вам щас... отдам приказ. Живо в гостиную! И валяйте оттуда — несите роялю в караульную!

Солдаты, потягиваясь, выходили из караульной. Кто не спал, стоял на часах — винтовки на плечи вскинул, подошел ближе: что за шум, а драки нет?

— Слыхали! Быстро — роялю — в караульную! Не... обсуждать-ть-ть!

Оглянулся на застывшего Лямина.

— А ты глухой, што ли, Лямин?! Или ты против?! А-а-а-ах, ты против... приказа?!

— Я не против! — Лямин прислонил винтовку к перилам.

Солдат Исупов схватился за ручку двери в гостиную и рванул дверь на себя.

«Вот так бы взять... и рвануть дверь... ту...»

Царям приказано не запирается на ночь. Они выполняют приказ. Они — послушные. Они — овцы.

Солдаты, стуча сапогами, вваливались в гостиную, обступали большой рояль, похожий на застылое черное озеро, озеро под черным льдом, — раньше инструмент стоял в чехле, да холщовый чехол содрали безжалостно — на солдатские нужды, на портянки.

— Эка какое чудище!

— Дык она же чижелая, рояля эта.

— А нас-то много.

— Ты, Севка, заходи с тыла! С тыла!

— А игде у ее тыл?

— Давай, ребя, хватай! Подымай!

— Раз-два-взяли... еще раз взяли!

— Понесли-и-и-и-и-и!

Спускали рояль по лестнице, как чудовищный, для невероятного толстяка, черный гроб. Струны скорбно звенели. Толстые рояльные ножки ударялись о перила. Солдаты кричали, хохотали, шутили солено, жгуче.

— А ты всунь, всунь ей под крышку! И прищемит навек.

— Похоронную музыку умеешь играть?! Не умеешь?! Так научись.

— А точно, боком на бабу похожа! Так бы и прислонился.

— А кто из нас наилучший музыкант?

— Да вон Ленька Сухоруков! Он такую музыку игрывал в окопах!

— Лень, и чё, народ слухал?

— Слухал, ишо как! И денежку кидал!

— Ну ты арти-и-и-ист...

Кряхтя, задевая боками рояля о стены, шумно, с криками и прибаутками, наконец перетащили рояль в караульную комнату. Подкатили к окну.

— Ой, у ее и колесики... славно...

— Пошто к окну водрузил! Таперя к окну не подойдешь фортку отворить!

Мошкин качался в дверях, все обнимал, лелеял свои бутылки.

— Вот отлично, хорошо, люблю! Муз-з-зыку...

— Эй, тяни стаканы!

— А мы из горла. По кругу.

— Заразишься какой-нить заразой!

— А ты чё, больной? Не дыши на меня!

— Да ты ж не доктор, дышите, не дышите...

Федор Переверзев уже тащил гармошку. Уже перебирал пальцами по перламутровым пуговицам, растягивал меха.

Мошкин, шатаясь, добрался до рояля. Ему услужливо пододвинули стул. Он сел, проверил задом, крепко ли, хорошо ли сидит, покачался на стуле взад-вперед, даже попрыгал; откинул крышку, нежно, пьяно погладил клавиши.

— Ух ты, моя маленькая, роялюшка моя. Как давно я на тебе не играл. А вот щас поиграю на душеньке моей.

Обе руки на клавиши положил.

Михаил смотрел: черная-белая, черная-белая, и так торчат в рояльной пасти все эти зубы — то черные, то белые. В ночи — светятся. В караульной темно. Илюшка внес зажженную керосиновую лампу. В лампе, внутри, трепетал, умирал и рождался опять смутный, мерцающий сквозь всю закопченную жизнь, хилый огонь. Красный. И тут красный.

«И неужто будет играть? Брямкать по этим черным, белым зубам?»

Мошкин вжал пальцы в клавиши, а потом побежал ими по клавишам, и из рояля полезли, поползли, а потом и полетели упрямые звуки. Звуки жили отдельно, а Мошкин отдельно. Неужели он все это делал своими руками?

«И где только научился?»

Мошкин запел мощно, пьяно, фальшиво и все-таки красиво.

— Ах, зачем эта ночь! Та-а-ак была хороша... Не болела бы грудь! Не страдала б душа!

Солдаты знали эту песню. Подхватили.

— Полюбил я ийо-о-о-о... Полюбил горячо-о-о-о! А она на любовь... смотрит так холодно...

Лямин крепко почесал себе грудь поверх гимнастерки. «Фу, пахну, стирать одежду надо, в баню надо. Когда еще поведут?»

В стекло часто, мотаясь под теплым сильным ветром, била усыпанная крупными зелеными почками ветка.

«Будто сердце бьется».

— И никто не вида-а-ал... как я в церкви стоял!.. Прислонившись к стене-е-е... безутешно... рыда-а-а-ал!

— Слышьте, ребята! Кончайте вы это уныние! Оно же и смертный грех, однако! Давайте-ка наши родненькие припевочки! Эх-х-х-х!

Илюшка нес стаканы, вставленные один в другой, высокой горкой. Раздавал стрелкам. Солдаты брали стаканы, вертели, переворачивали, нюхали.

Обе бутылки, притащенные Мошкиным, стояли на рояльной крышке. Мошкин встал, качнулся, но удержался на ногах; зубами открыл одну бутылку, вторую, ему подносили стаканы, и он наливал из обеих рук. И ни капли на пол не сронил, такой аккуратный.

Солдат Переверзев закрутил, завертел гармошку, растянул, сжал, гармошка издала пронзительный визг, потом зачастил, забегал пальцами по пуговицам и сам зачастил голосом, выглатывая веселые жгучие слова из щербатого рта:

Ты куда мене повел,
Такую косолапую?!
Я повел тебе в сарай,
Немного поцарапаю!

Частушку подхватил, вернее, вырвал изо рта у Федора покрасневший после глотка водки Илюшка. Он подбоченился, вцепился себе в ремень, выставил вперед ногу в гармошкой сморщенном сапоге:

Эх, яблочко,
Ищо зелено!

Мне не надо царя,
Надо Ленина!

Стакан в руке у Михаила обжигал лютым холодом, запотел, будто стоял на льду или в погребке, и вот его вытащили и втиснули ему в кулак. Он пил, глотал, самогон дохнул в него чем-то былым, забытым — домашним. Пьянками, пирушками из детства — когда разговлялись на Пасху, когда после смертей и поминок друзья притекали к отцу, стукали четвертями об стол, рассаживались, и сидели долго, и пили, и голосили песни, и быками ревели: плакали так.

Федор кинул Лямину через веселые, теплые кегли голов, юно и бодро подбритых, косматых, седых, лысых:

— А ты чё не поешь? Али не наш, не русский?!

Самогонкахватила обухом по голове. Лямин поставил стакан на рояль, сделал ногами немислимое коленце — подпрыгнул и ножницами ноги в воздухе скрестил: раз-два! — а когда приземлился, колени согнул, присел — и так пошел вприсядку, выбрасывая ноги в сапогах в разные стороны, и уже кого-то носком сапога больно ткнул, и на него выругались и засмеялись.

Гогочут, огрызаются, головами крутят; вот уже все хотят петь, вот уже все горланят вперебой, кто во что горазд, и Мошкин зажимает уши руками и визгливо кричит:

— Ти-ха!.. Люди-то ведь спят!..

— Люди? — Ванька Логинов шагнул к Мошкину. Протянул руку за ополовиненной бутылью. Без всякого стакана, из горла, мощно хлебнул. — Это они — люди?! Сосали из нас века соки, силушку... землю всю — себе под пузы подгрести!.. пировали, танцевали, пока мы на пашнях, да в забоях, да на мануфактурах корчились... а ты: лю-у-у-уди!.. Сказал тоже.

И сразу, без перерыва, оглушительно, хрипло грянул, растягивая в отчаянной улыбке рот без верхнего резца — в драке выбили:

Эх, яблочко,
Да семя дулею!
Попляши-ка ты, наш царь,
Да под пулею!

Переверзев так терзал гармонь, что Лямин испугался: как бы не разорвал надвое.

«Она там спит. Она... уже не спит».

— Ты... — коснулся плеча Федора. — Потише, а...

— А што, ушки болять?!

Гармонь орала, взвизгивала, и вздыхала, и плакала, как человек.

Всюду — на полу, на полках, на черном льду рояля — окурки, папиросы, самокрутки, стаканы, портянки, снятые от жары гимнастерки и даже — среди всего этого — впопыхах сдернутый с шеи вместе с рубахой чей-то, на грубом веревочном гайтане, почернелый нательный крест.

* * *

...Аликс стояла у зеркала, когда вошел комендант Авдеев.

Он был противен ей. Впрочем, как и они все, тюремщики. Но Авдеев был противен особенно. Ей хотелось плюнуть в его харю, и она тут же одергивала себя, упрекала в бесчувствии и злобе, тут же, на ходу, где заставало ее это чувство — в кори-

доре, в столовой, во дворе на скудной бледной прогулке, — пыталась молиться, но молитва выходила плохо, застревала не только в горле — во лбу, в сердце. Больная, длинная заноза. И мучит, и колет, и вытащить нельзя. И теперь уже никто не вытащит.

Ее Ники провел бессонную ночь из-за криков пьяной солдатни; он лежал на кровати, уже одетый. Лег в штанах и гимнастерке поверх нищего, в дырах, покрывала. Это не было покрывало инженера Ипатьева; комендант откуда-то распорядился доставить его вместе с огромными, величиной с добрую шубу, подушками, набитыми смрадным старым пером. Может быть, из блошиной пролетарской ночлежки?

Аликс дернула углом рта, и ее лицо стало напоминать ожившую белую венецианскую маску.

Она хотела поздороваться с этим человеком — и не поздоровалась. Не могла.

Стала совсем плохой христианкой, никудышной.

И Авдеев, тоже не здороваясь, торжествующе сказал:

— Ну как почивали... граждане? — через шматок молчания добавил: — Арестованные.

— Благодарю. Ужасно, — подал голос с кровати царь.

И царь тоже не мог говорить с Авдеевым. Мало того, что он их унизил по приезду — он продолжает унижать их и сейчас, и всякий день! Царь напряженно думал, чем и как он, по рождению и по праву царь, мог бы унижить это красное отребье, бывшего слесаря. Думал, кривил рот, по лбу его текли и извивались мучительные морщины, но так ничего и не придумывалось ему этакое, чтобы Авдееву вдруг стало больно. А потом он, так же как Аликс, останавливал себя и упрекал: «Как можно! Господь создал всех, всех людей одинаковыми! А эти люди, они просто заблудились! Их просто нашпиговали дикими идеями...»

— В чем ужас-то?

Николай скинул с кровати обмотанные портянками ноги на пол. Долго натягивал сапоги. Потом медленно, очень медленно поднял лицо к коменданту. Лицо царя, прежде такое приветливое и сияющее, все неистово заросло бородой и напоминало грозовую тучу.

— Ваши, — он подчеркнул это, — ваши солдаты всю ночь буянили. Что они праздновали? Свадьбу? Крестины?

Авдеев уже нагло смеялся.

— Скажите, а вы, гражданин полковник, никогда, в армейскую свою бытность, не веселились, не гуляли, не... кутили? Или вы хотите сказать, вы никогда в жизни не пили водки? С мужчинами такое бывает.

Царица так и стояла около зеркала. Вертела в руках пузырек с духами «Shypre» Франсуа Коти. Потом поставила духи на зеркальную тумбу, они зелено, алмазно отразились в зеркале; схватила кисти своего шелкового капота и стала нервно щипать их.

— Почему же нет. Я веселился. Но в тех местах, где рядом за стеной не спали.

— Ничего! Ведь перетерпели же? — весело крикнул Авдеев.

Авдеев понимал, что издевается над царями. И это доставляло ему ни с чем не сравнимую радость, даже счастье. Слесарь, он теперь распоряжался царской семьей! Вот как вознесла его жизнь! Да каждый день с царями — как день рождения; какое удовольствие их топтать, видеть, как глаза бывшей императрицы темнеют от ярости!

Царица бросила вертеть шелковые кисти халата. Сказала себе: Аликс, успокойся. Это всего лишь человек; и ты всего лишь человек. Вас жизнь поставила на одну доску. Но ведь и одесную Христа висел разбойник, и ошуюю висел; и один Его поносил и проклинал, а другой смиренно, нежно попросил его: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем!» — и Он ответил живой и любящей душе: «Ныне же будешь со Мною в Раю».

...А этот, этот — неужели с тобою в Раю будет?..

...Боже, не надо мне такого соседства... и Рая тогда — не надо...

Сделала шаг к Авдееву. Очень важный, трудный шаг.

— Я бы хотела вас попросить.

— Ну?

Авдеев опять улыбался. Он не мог скрыть радости и довольства.

— Я бы хотела, чтобы рояль... которую, не знаю по чьему приказу, сегодня ночью перенесли в караульную комнату... была возвращена на прежнее место. В гостиную. Моя дочь Мария... она любит играть на рояли. И другие дети тоже. Пожалуйста! Прошу вас!

Авдеев прищурился. Все, кто побывал в Москве, рассказывали, что их вождь, Ленин, любит прищуриваться; и теперь Авдеев пытался копировать Ленина. И все время шурился тоже. Как будто плохо видел.

— Идите вы к черту!

Аликс изо всех сил попыталась не отшатнуться.

— Господь вам судья.

Она тяжело, через силу подняла тяжелую, растолстевшую руку и медленно, скорбно перекрестила коменданта. Комендант плюнул царице под ноги, победно поглядел на царя, на царицу и вышел. Нарочно громко хлопнул дверью. Аликс растерянно обернулась к мужу.

— Зачем тогда он приходил?

— Ты так и не поняла? — Николай смотрел на жену печально, еще немного — и глаза его превратятся в круглые, полные невылитых слез, огромные, мрачно-светлые очи византийской иконы. — Поглумиться.

— Но ведь глум... — Она искала русское слово. — Глум... насмешка... издевательство... это... ему же будет хуже, его же жалко! Ему все это вернется... все, все...

Жена уже плакала. Муж подошел к ней, взял за плечи и стал покрывать влажное, дряблое, нежное, востроносое лицо мелкими, быстрыми поцелуями.

— Да, да. Конечно. Вернется. И его жалко. Ты права. За него надо молиться. Ты будешь за него молиться? Будешь?

— Буду... Буду...

Она всхлипывала, как набедакурившая девочка. Крепко обняла его за шею. Шея царя стала слабая, он весь был истощен, слаб и хил, еле стоял на ногах. А ему всего пятьдесят лет. А ей? А ей — три тысячи.

— Мальчик мой, — сказала царица и сильно, больно притиснула его голову к своему седому виску, к зареванной щеке.

* * *

...Мошкин подждал Авдеева в комендантской комнате. Авдеев вошел со слишком радостным, неудержимо радостным лицом.

— Ночное дежурство прошло спокойно, товарищ...

— Да уж понял! — Авдеев уселся за комендантский стол. Озирал его. Чувствовал себя начальником. И правда — чуточку — царем. — Приберите как следует караульную!

— Приберем.

— Пустые бутылки повыкиньте! Подметите. Баб заставьте. Пашку вашу и эту ихнюю девицу, Нюту.

— Я сам прослежу.

— Да, и вот еще... Слушай-ка, что расскажу! Забавное дельце. Царьки наши просили меня услужить им.

— У... служить?.. это как...

— А так! Приказы задумали раздавать! Старуха прицепилась ко мне, как баный лист: перенеси да перенеси рояль опять в гостиную. Дочь ее, видите ли, будет на той рояли брякать! Чай, перебьется дочь!

— Перебьется, товарищ...

— И что ты думаешь, я ей ответил?

Мошкин сделал личико масленое, хитрющее.

— Думаю, вы ответили как надо, товарищ комендант!

— Точнехонько думаешь. Я их — к черту послал!

У Мошкина округлились глаза.

— Как? Царей — к черту? У-ха-ха-ха!

Выходка Авдеева ему понравилась; до того понравилась, что он утирал глаза, и махал рукой, и тряс головой, и опять заливался, заходиллся смехом:

— О-ха-ха-ха, ха, ха! К черту! К черту, это же надо, а!

— Красноармеец Мошкин, молчать!

Мошкин замолк.

— Раскочегарился. Где охранник Украинцев?

— На посту.

— Где именно?

— У забора. Уличная охрана.

— Позови его ко мне. Дело к нему есть.

— Может, Лямина позвать? Вот Лямин — дельный. Он вам любое дело провернет.

Авдеев задумался.

— Нет. Лямина не надо. Украинцев попроворней.

...У стрелка Украинцева были кривые, торчащие в разные стороны передние зубы; так выросли, никто не виноват, и такие уродливые, хоть в пьяной драке выбивай; а у его закадычного дружка, стрелка Арсения Васильева, из далекого города Хабаровска родом, были ужасно выпученные глаза. Глаза выкатывались из орбит, как два крутых яйца, лезли, выпирали, и Васильев ими чудовищно, ради шутки, вращал, пугая и веселя солдат. Все его так и звали — Лупоглазый.

А Украинцева — Кривоzubый. Два сапога пара.

— Ты вот что, Криво... Украинцев! — Авдеев долго смотрел на бойца, потом крепко ударил его по плечу, и Украинцев слегка подогнул ноги. — Поручение к тебе. Интересного свойства. Получится, не получится у тебя — не знаю. Но вперед! А вдруг?

— Что за поручение, товарищ комендант?

Из-за кривых зубов Украинцев шепелявил, и получалось что-то вроде: «Сто за полусение, товарищ коменнант».

— Деликатное же, говорю. Подкатись шаром к царю. Подружись с ним!

— Подружиться?.. Ого...

— Да, да-да! Мне это надо. Не только мне, как ты понимаешь. Войди в доверие. Кури с ним. Болтай. Сиди напротив. Я тебя для начала поставлю у его дверей на караул.

— Опять?.. Но вы же отменили караул на втором этаже, товарищ Авдеев!

— Отменил, да. А теперь опять назначаю.

— И о чем... мне с царем-то... балясничать?

— Расспрашивай его. О разных разностях. О том, кто ему пишет. По ком он тоскует. О чем думает. Да, да, не пьясь на меня так изумленно!

— Но я простой мужик...

— Да. Ты простой. И это хорошо. Пусть царь говорит с простым мужиком. Тебе больше доверия. И запоминай, хорошенько запоминай, что он тебе будет вещать.

— Зачем? Вы скажите, а то я чё-то не понял ничё.

— Нам надо, — Авдеев щелкнул пальцами, — улики добыть. Ну, что они бежать замышляют.

— А, понял.

— А твой дружок? Лупоглазый?

— Что — Лупоглазый?

— Он сообразительный?

— Да вроде не блаженный.

— Отлично. И его подключим. Ты ему все тихонько только разъясни. Если охрана узнает о нашей разведке — до царя дойдет все очень быстро.

Авдеев откинулся на спинку стула. Мошкин сидел у окна. Напевал тихо и злобно:

— Пускай в гостиной... муж простодушный... жену гулящую... под утро ждет... Любownik знает: она, послушная... смеясь и пла-а-ача!.. к нему придет...

Встрял в разговор:

— Вот это верно. Это верно. Надо с царя начать. Его прощупать.

— Товарищ Мошкин! Одобряете?

— Еще как!

Мошкин уже где-то успел раздобыть на опохмел. Щеки порозовели, носик задорно торчал. Кукольная его мордочка чуть опухла после попойки, но глаза уже блестели, зыркали остро, внимательно.

— А может, ты за это дело возьмешься?

— Не-ет, товарищ Авдеев. Лучше я — при вас!

— При мне, ну да, кто-то же должен быть при мне... да...

Тоскливо, косо посмотрел.

— У тебя глоточка нет?

Оглянулся на Украинцева.

— Солдат Украинцев! Все поняли?

— Все! Разрешите идти?

— Идите!

Кривоzubый шарахнулся за порог.

— Есть глоточек, товарищ комендант. Извольте.

Мошкин вытащил из кармана козушку, как ящерицу за хвост.

Авдеев хлебнул и закрыл глаза.

* * *

Они сидели втроем на лавке во дворе: царь, Боткин и солдат Арсений Васильев, Лупоглазый. Вечерело. Странная, хитрая, как дикий зверь в тайге, уральская весна. То оттаает на пригорках и почки готовы вот-вот взорваться, то опять завернут холода и на робко вылезшую в оврагах и на проталинах травку посыплет из туч отчаянный, вражеский снег.

Арсений курил «козью ногу». Свернул ее из старой газеты. Царь близоруко вглядывался. Он делал на газету собачью, охотничью стойку.

— Простите, товарищ Арсений, а у вас осталась газета?

— Какая? — Зенки Васильева еще более округлились, выкатились почти наружу, на щеки.

— Ну, вот эта. — Царь указал на самокрутку. — Ведь вы же кусок только оторвали. А газета, газета-то сама осталась?

— На черта вам газета, гражданин Романов? — Лупоглазый искуривал «козью ногу» быстро, будто жадно обцеловывал или голодно отгрызал от нее клочки, как белка от шишки. — Ить она рваная.

— Да вот... почитать хочу. Новости.

Лупоглазый кинул окурок на землю и придавил сапогом.

— Так ить она старая.

— Старая? А за какое число?

— За невесть какое уже. Прошло, проехало.

Николай судорожно вздохнул.

— Понимаете, мне здесь не носят газет. А в Тобольске носили. Мальчишка с почты всякий раз приносил.

— Ну, здесь у нас ить такого парнишки нету.

Табачно, горячо выдохнул. Боткин в тоске чертил на дворовой земле неясный рисунок весенней, с надутыми почками, веткой.

Лупоглазый сощурился и задал, как ему казалось, лукавый и умный вопрос:

— Газеты-то газетами, а черта ли в них. А вот письма-то вы ить получаете. А хто вам пишет послания? Цари, короли? Жалко им вас?

Николай опустил голову и смотрел, как доктор возит веткой по свежей мокрой земле, перемешанной с песком и мелкими камнями.

— Жалко.

— А вы — жалитесь, да?

— Нет. Не жалеюсь. Господь заповедал принимать смиренно, что выпадает на долю.

— Доля, доля! — Лупоглазый потер переносье. — Доля, судьба! А вот хто мне разъяснит, что ж такое судьба! И слово-то какое, не вразумлю никак. Суть-ба. Суть нашей жисти, или как? И почему говорят: у каждого своя судьба? Жисть, это я понимаю. Живешь-живешь и в одночасье помрешь. Живет кошка, живет и собака. И волк в тайге — живет. А — судьба? С какого боку к ней подобраться?

Боткин бросил рисовать на земле скорбный иероглиф. Царь и доктор переглянулись.

— Не объяснишь... — беззвучно шепнули губы Боткина.

— Судьба, — раздумчиво повторил царь. И, словно его гнали, подгоняли плетями, батогами, будто бежал он, уворачиваясь от ударов, бежал, и задыхался, и чуть не плакал, и пытался крикнуть, докричаться, достучаться, быстро заговорил:

— Да ведь судьба — это и есть Бог! Бог всем нам дает — выбор! И вы думаете, выбор сделать просто?! Бывает, человек и ошибается! И тогда он... кается... просит прощения у Бога! Просит: вразуми, Господи! И я... исправлюсь... А — не побегу вместе с толпами кого-то убить! Вот вы все разрушили! И хотите наново построить! А вы знаете, какую вы себе судьбу выбрали?! Знаете, чью судьбу?!

Встал с лавки. Боткин впервые видел царя таким: одновременно и смиренным, и яростным.

— Это и есть дьявол. Он всегда рядом с Богом. Дьявол с Богом борются... и люди друг с другом борются, думая, что это они друг с другом воюют!.. а на самом деле...

Боткин тоже встал. Обхватил рукой царя чуть выше кисти, за обшлаг кителя.

— Ваше величество, успокойтесь. Не стоят они ваших...

Царь не слушал, не слышал.

— На самом деле — в одних дьявол, в других Бог. Бог с дьяволом воюет! А не люди! Вот и ваши все дела... могут умереть... однажды... вся ваша революция!.. все, за что вы боролись... за что проливаете свою кровь и кровь братьев... ваших...

Уже дрожал, мелко тряся. Из окон, любопытствуя, выглядывали солдаты вечернего караула. Боткин торопливо снял с себя плащ и накинул царю на жесткие, деревянно торчащие плечи.

— Бог — вот основа жизни! А вы Бога...

Закашлялся. И кашлял долго, с надрывом. Боткин хлопал его по спине. Лупоглазый сидел как каменный.

Царь выдохнул и утер рот кулаком.

— Убили...

Доктор подхватил царя под мышки.

— Идемте домой, ваше величество. Бросьте. Не стоят они все ваших... проповедей...

Повел царя, как больного. Осторожно, медленно. Лупоглазый смотрел им вслед. Просунул пальцы под фуражку и почесал затылок. Чесал долго. Потом опустил руку и выругался.

Одиноко, сам себе, сказал, зло глядя на опустелую лавку:

— Ить как он завернул. Нас, дескать, Бог покарает. За революцию. За то, что мы, мать-перемать, мы, народ!.. лучшей жисти захотели. А он про Бога: Бог, Бо-о-о-ог! Ну, и кого Он покарал? Вас же и покарал. Вот так оно!

...В окне стоял Лямин. Он не столько слышал, сколько видел все. Человеческие фигурки двигались, махали руками, кричали, кутались в плащи, курили, топтали сапогами окурки, выпускали изо ртов то, что выпускать безнаказанно нельзя.

Царь шел и трясся.

— Вы не заболели, ваше величество? У вас не лихорадка? Надо беречься инфлюэнцы... здесь Урал, весенние холода...

Внезапно царь обнял Боткина и крепко, крепко прижался к нему.

— Простите меня, Евгений Сергеевич. Я сорвался. Я не должен был себе этого позволять... с ними. Ведь это мой народ! Мои солдаты! Мои люди! И они меня предали. Они — отреклись от меня! Это не я отрекся: они отреклись!

— Успокойтесь, успокойтесь...

— Меня утешает то... — зуб на зуб у царя не попадал. — Что Спаситель... тоже был предан... однако я ни в коем случае, никогда!.. не сравню себя с Ним... Но каждый из нас, слышите, каждый!.. должен держать в сердце Его путь... и по возможности — повторить его...

— Сейчас горячего чаю, ах, жаль, лимона нет, варенья нет...

— И если мы сейчас Его Голгофский путь повторим — я не удивлюсь, слышите меня, нисколько, нисколько...

— Слышу, ваше величество, как не слышать...

Вел по лестнице так же медленно, и царь с трудом одолевал ступени. Поднялись. Боткин провел царя в спальню. Царица метнулась к нему.

— Что такое! Досиделись во дворе! На нем же лица нет, доктор! Что случилось?!

— Ничего особенного, ваше величество. Просто на дворе похолодало. Вечерний ветерок. А простуда застарелая. Ведь его величество кашляет уже давно? Давно. Но я, как мог, тот кашель снял. А нынче... да там разговор такой вышел, с охраной...

— С охраной?!

Николай уже лег. Аликс сама стаскивала с него сапоги, разматывала портянки.

— С охранником одним. Знаете, такой лупоглазый. Он стал расспрашивать его величество о письмах, что он получает... и сам пишет. А его величество свел разговор на Бога... и — переволновался, это бывает...

Крупные слезы старухи быстро капали на царские сапоги и скатывались на плахи пола.

— Аликс, душка, — тихо и медленно, стуча зубами, сказал царь. — Я умею молчать. Я долго молчал. Я раньше беседовал и правда с принцами, с королями. А теперь я беседую с Кривоzubым... с Лупоглазым. Это мои собеседники. На колченогой лавке... в тюремном дворе...

— Молчи! Выпей, прощу тебя!

Она держала его голову. Николай привстал с подушки и выглотал из мензурки самодельную микстуру доктора Боткина.

— И я беседую с ними... про замазанные окна, про то, почему на рынке сушеный чебак... про то, где покупают хороший табак... и почему рояль перенесли в караульную... и про то, почему мне не приносят свежих газет... и про наши жуткие, дырявые одеяла... и про мышей, они часто приходят в кухню и даже пробираются к нам в спальню... и про клопов, как удачно перед отъездом инженера их поморили... Аликс! Я — про клопов! Аликс...

— Сейчас он успокоится, — синими губами вытиснул выдох Боткин.

Царица наваливала на мужа одеяла, какие под руку подвернулись; распахнула шкаф и вытащила свою шубу; и тоже на него бросила. Он переставал стучать зубами. Взгляд прояснялся. Брови подвинулись вверх, размахнулись седыми дугами под высоким, в морщинах, лбом.

— Ты похож на святителя Николая, — прошептала царица.

И погладила царя по руке, лежавшей поверх серого, мышинового, вытертого одеяла.

— Ну, я пойду? — так же шепотом спросил Боткин.

— Идите, Евгений Сергеевич. И... вот что...

Старуха поманила доктора пальцем. Он нагнулся низко, они едва не столкнулись лбами.

— Держите язык за зубами.

— О да. Да.

...Поздно вечером, уже около полуночи, царь и царица, сидя за столом в осиротевшей, без рояля, гостиной, открыли огромную, ветхую, в коричневом кожаном переплете с потертым тиснением, пахнущую воском и ладаном книгу. Ветхий и Новый Завет под одним переплетом; книгу принесла царице девица Демидова, а ей дала эта их красная повариха, Прасковья Бочарова, а Бочаровой дал неизвестно кто — и неизвестно на сколько: попользоваться, на время, или навсегда подарили — они не знали. Книгу Аликс страстно желала оставить себе: их родовую, еще Александра Второго, Библию у них украли в Тобольске, когда они отправились в церковь на литургию к архиепископу Гермогену. Пришли, теплые, светлые, расслабленные. Аликс хватилась книги в тот же вечер. И кому из солдат она понадобилась? Они все теперь красные, и Бог для них — мусор: вымести из избы, забыть навек.

Библия, книга книг, вот она. Старуха нежно гладила телячий древний переплет.

— Давай раскрою наугад, — прошептала Николаю.

Раскрыла. По обыкновению, закрыла глаза и слепо повела указательным пальцем по странице.

— Ну что там?

— Седьмая строчка сверху.

— Читай... ты...

Николай набрал в грудь воздуху и радостно прочитал:

— Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся.

Счастье высветилось и на оплывшем лице царицы. Оно даже стало моложе, глаже. И глаза — глубже и яснее. Будто умылась колодезной водой.

— Читай все блаженства, — тихо сказала она.

— А около гостиной сейчас ведь караула нет?

— Нет, — Александра Федоровна задумалась. — Хотя все может быть. Мы это узнаем, если выглянем за дверь.

Царь, с тем же счастливым выражением лица, будто сидел на лужайке в царском парке, беспечно махнул рукой.

— Они только этого и ждут.

— А ты правда прощаешь им? Ну, как Христос нам заповедал?

Он тяжело вздохнул.

— Правда.
 — Начинай.
 — Блажени нищие духом, яко тех... есть Царствие Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся...

Они попеременно читали главные слова их жизни, и жизни каждого, и даже жиней этих, кто, крича и глумясь или молча, ненавидяще, их сторожил.

И ведь все они, вся охрана дома инженера Ипатьева, все солдаты, до единого, все родились и воспитались в простых русских семьях: крестьянских, рабочих, разночинских, мастеровых, — и в тех семьях, в тех домах на стене в красном углу всегда висела икона, и Святая Библия лежала на видном месте, на самой верхней полке этажерки или дряхлого, сто раз чиненного комода, и ее читали в двенадцатые праздники, и по ней молились, и у изголовья покойника читали псалмы и кафизмы из Псалтыри, и по воскресеньям — с детьми — по пыльной или зимней хрусткой дороге — да непременно — в храм, и как же случилось так, что все эти дети, все эти люди, выросшие с Богом и под Богом, резво, кроваво втоптали Его в грязь?

— Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
 — Блажени... блажени...

...Мария лежала в постели, свернувшись в комочек, и думала: вот так белки сворачиваются в дупле, когда зима. Она не слышала, как читают Евангелие родители в гостинной. Она знала. Она часто видела то, чего нельзя увидеть глазами; и ее это не пугало, она понимала это в себе, лелеяла, никому не говорила. Даже мамá. А что мамá? Она может огорчиться. А сейчас мамá нельзя огорчать. Сейчас им всем тяжело, а мамá — тяжелей всех.

Били часы. Мария загибала пальцы. Двенадцать. Полночь. Слеза вытекла из угла глаза быстро, стыдливо, стремительно и затекла в складку ужасной, громадной и плоской, как плаха, чужой вонючей подушки.

* * *

...Медленно тянулись дни. В темпе Adagio. Или даже Largo. Или даже еще медленнее — Grave. Царь сидел за столом и медленно, трудно писал дневник. Две-три фразы — а сгибался над ними целый час. И ведь такие простые слова. Он не любил много слов. Он ведь военный: шагом марш! И маршируют солдаты, а полковник стоит и глядит на них. На тех, кто России служит.

А сейчас солдаты — кому служат? Красным владыкам?

Он раздумывал, и жизнь становилась медленным, тоскливым размышлением. А мысли вдруг превращались в медленных змей. Подползали к ногам, взбирались на колени, ползли по груди, обвивали шею. Душили. Он рвал их с шеи слабыми руками. Руки и вправду ослабели — здесь, в Ипатьевском доме, не было ни турника, ни гантелей; мышцы одрябли, и единственное, чем он спасал тело, это английская гимнастика по утрам. Вставал с постели, если была в Доме вода, принимал холодную ванну, крепко растирался — ложился на пол — и начинал отжимания. От двадцати доходил до ста. Поднимался с пола весь мокрый и красный, как после бани. Аликс стаскивала с него исподнее и обтирала его сухим полотенцем.

«Аликс, я агнец», — однажды сказал он ей. Хотел смешливо, а вышло серьезно. «А я тогда овечка?» — тоже серьезно спросила жена. «Не бойся, нас не зарежут и не сварят. А что если Лупоглазый прав, и мы действительно заговорщики? Я же написал Элле, что мы ждем любых хороших новостей из Петрограда. Любых! Это слово можно истолковать по-разному». Аликс напяливала на него свежую сорочку, целовала в затылок. «Я была бы только рада, если бы нас освободили.

Я верю, есть офицеры... может, они ходят рядом... Но как представлю Мурманск, и английские корабли, и льды Баренцева моря, и...» — «Что?» — «Я не хочу уезжать из России. Не могу. Все главное происходит здесь».

Набросив полотенце ему на шею, она садилась в спальне в кресло-качалку. Очень любила она это кресло; мерно и тихо качаясь, она впадала в странное и блаженное равнодушие. Ей в кресле-качалке было все равно. Она скользила зрачками по замазанным известью окнам и все считала их: раз, два, три, четыре окна. Четыре стороны света. Четыре времени года. Четыре стороны креста. А православный крест восьмиконечный. Почему восемь? Перевернутая восьмерка — бесконечность. Восемь — это, наверное, семь таинств и восьмое, самое главное — Воскресение.

Четыре окна, белая мгла. Серый, мутный туман. Светлый мрак. Живая смерть. Смерть при жизни. Она такая спокойная, мутная, белесая. Она — малярная кисть, обмакнутая в ведро с известью. Кресло, качайся, я еще раз толкну тебя ногами. Под ногами — деревянные салазочки, кресло качается, а ноги на салазочках стоят; очень удобно. Не затекают. Bravo тому, кто придумал качалку. Чувствуешь себя в колыбели. Она забыла себя ребенком. Какой она была ребенок? Бойкий? Угрюмый? Послушный? Строптивный? Не помнит. Качалка, туман и грезы. Она мечтает. Сегодня — опять мечтает. О чем? Голова обвязана мокрым платком. Голова опять болит, но это теперь все равно. Она будет болеть всегда. Надо полюбить свое страдание, тогда оно перестанет быть страданием.

Раз, два, три, четыре окна. Четыре сестры, ее дочери. И пятый — ее мальчик. Он болен гемофилией, она подарила ему его смерть. Все врачи, и Боткин тоже, говорят, что мальчик не доживет и до шестнадцати. Мигрень, она прокалывает насквозь виски. Болит поясница, стреляет в коленные чашечки, и черный осьминог из глубины всплывает, и поднимается к голове, и плотно обхватывает ее щупальцами, и присасывается, и тянет из нее жизнь. Качалка качается, и она вместе с ней, и она уже не боится сидящего на голове осьминога. А он вовсе не черный, а красный. Он насосался ее крови. Сколько крови она промакивала стерильной ватой, когда ухаживала за ранеными! Сколько крови — в операционной — подтирала мокрой тряпкой! А потом опять тщательно мыла, терла руки под мраморным больничным рукомойником и вставала к операционному столу. И снова текла эта кровь. Река крови. Она властно приучила себя не терять чувств при виде крови. Серdito говорила себе: это просто кровь, и в тебе она течет — точно такая же!

Качаясь, она берет в руки книгу. Житие преподобного Серафима Саровского. Он все сказал ей. Все предсказал. Так что волноваться? Назначенное да сбудется. Качайся и читай вслух, у тебя это хорошо получается. Ты даже писать умеешь по-церковнославянски; и хоть это трудно, невозможно, но ты делаешь это. Ты всегда любила делать невозможное; делать то, что выше твоих сил. А теперь силы растаяли. Они исчезли в белом тумане.

Белый туман. Вот и кончилась святая книга. А теперь что мы будем делать, мигрень? Мигрень, мы будем вышивать. А вот и пальцы. Она на Пасху начала новое рукоделие. Синяя птица, и в хвосте — золотые глаза, и на голове корона из перьев; это павлин, он сидит, вцепился в ветку, а на ветке расцветает большая алая роза. Вышивает гладью, и плотно, густо ложатся стежки. Нить превращается в царскую птицу. Нет, ну его, вышиванье! Глаза утомляются и болят. Мигрень, давай-ка лучше порисуем! Не вставая с качалки, взять с тумбочки маленький рисунок. Он не закончен. На нем — голова ее сына.

Их сторожат. Но все равно не устерегут. Она грезит о побеге. Ей чудятся кони, храпящие у крыльца; и возок; и офицеры в плащах. Охрана выбегает и палит им вслед, да поздно — кони скачут во весь опор. Они думают, они такие простые! Наивные!

О нет, они очень умные, мудрые. Они все тщательно продумают. Никто ничего никогда не узнает. Соберутся, сложат вещи. Перекрестятся, когда услышат свист за окном.

Они говорят, она слышала: царь на царя не похож, вроде как наш, мужик, солдат бородатый, даром что полковник. И рожа такая простецкая. И бороду не подстригает. А про нее так шепчут: злая, жестокая! Не злая и не жестокая, а строгая. Дисциплины нет. Все развалили. И армию тоже. Разве это солдаты? Это же не солдаты. Это слюнтяи. Курят, пьют, сквернословят. Солдатушки, бравы ребяташки, где же ваша слава?

Качалась. Напевала. Прижимала руку ко лбу и стонала от боли.

Наша слава... русская держава... вот где наша... слава...

Друг Григорий, приди, спаси, защити. Покачай меня в колыбели. Утешь сына моего. Избави от боли, страданий, печали и воздыханий, но даруй жизнь бесконечную. Это моя молитва? Я сама сочинила? Нет, это вечная молитва. Так все русские люди молятся. И я русская. Я всегда была русской. Я русская, и я люблю Россию, и вот она горит, горит ее север, горит юг, пылает запад, в огне восток, а я все равно люблю ее. Все равно. <...>

* * *

...Глубокой ночью в Тобольске, в Губернаторском доме, творилось священнодействие. А впрочем, обычнейшее из обычных дел. Женщины шили.

Со стороны — распахни дверь — сидят девицы и шьют; но отчего посреди ночи? А им так захотелось. Днем выпались.

Лифы и буфы. Струятся складки. То холстина, то шерсть, то шелк. А вот даже бархат подвертывается под руку. Сам так и лезет. Пришей меня!

А если охрана спросит, что они тут делают? Можно быстро ответить: мы хотим завтра одеться во все новое, нам старое надоело. А можно и так: Насте приснился сон, а он вещий, ведь нынче ночь с четверга на пятницу; и сон такой: мы все сидим и шьем. И иголки мелькают в руках. Узкие стальные молнии во мгле.

Какая мгла, мы же вон — на столе — свечку жжем! При свечке не увидишь, куда иглу втыкаешь. Эй, охрана, зажечь свет!

Настенька, что ты так кричишь-то, тебе привиделась охрана. Они ночью не придут. Спокойно шей. Я спокойно шью, Таточка. Я только не знаю, куда... вот этот...

А, этот! Вот сюда. Давай покажу. Вот так.

А эту... пуговицу куда, Тата?

Олечка, думаю, вот сюда. И к ней... рядом... давай еще одну...

...Ночь только кажется огромной. На самом деле она идет и проходит уже. И они должны успеть. Они нынешней ночью, впятером — Лиза, нянька Саша, Тата, Настя и Ольга — зашивают все драгоценности, что они увезли с собой из Петрограда, в одежды великих княжон. Работы много. Бриллианты, сапфиры, изумруды, жемчуга, золото надо спрятать искусно. Зашить под подкладки, вшить в лифы платьев, с испода корсетов, обшить камни холстиной, превратив их в пуговицы.

Татьяна дирижирует этой ночью. Ночь — оркестр. Драгоценности — ноты. Иглы и нитки — скрипки и виолончели. И поют, вздрагивают голоса, исполняя не разученные никогда еще партии.

— Прячь лучше... все видно...

— Вот прекрасный лиф. Давай... вот тебе подкладка... я сама вырезала...

— Бери скорей. Самый крупный...

Огромный алмаз перетек из дрожащих пальцев Насти в пальцы Лизы Эрсберг.

- А сами не можете, ваше высочество?.. Ладно, давайте...
- Ольга. Держи. Не вырони.
- Ваше высочество, дайте я.
- Сашенька!.. какая ты добрая.
- Тут была пуговица зеленая... зеленая...
- Изумруд, что ли?.. Это папа подарил мама на свадьбу...
- Тихо... не ори...
- Я разве ору...

Руки ходят, передают друг другу камни, золото высверкивает яркой спинкой ящерицы. Камни холодные. Их только что достали со дна реки. Со дна жизни. Их обтекала кровь, как вода. Их целовали и ранили себе губы; да все в прошлом. Девочки, а что с нами было в прошлом? Кто помнит? Не будем про прошлое. Давай лучше про будущее. Давай! Нас скоро освободят. Вот там, куда мы едем. Мама сказала, есть отряд верных офицеров. Тата, Таточка, а ты правда веришь в это? Тише!

Нянечка Саша Теглева сидит спиной к закрытой двери. У Сашеньки очень широкая спина, и стул к двери стоит слишком близко. Когда, не дай бог, будут открывать — наткнутся на стул и открыть не смогут. Пока будут возиться со стулом — девочки все успеют спрятать. А если они захотят обыскать?

- Душки, а может, запереться?
- Настя, Родионов же позавчера сбил с двери зашелку.
- А ты делай так: бери холщовый лиф... вот... камни насыпай в лиф платья... вот так... накладывай холст... и зашивай, вот так, аккуратненько, по бокам... а потом пройшей насквозь, простегай, ну, как одеяло...
- Вот так?..
- Да, миленькая, именно так... У тебя получается...

Ветер, ветер. Стекла в окне трясутся. Души трясутся. Но души — не зайцы. И не должны подгибать лапки. Их мама смелая. Смелыми станут и они. Да уже стали. Цесаревич в своей комнатке спит спокойно, не стонет. Сегодня воистину спокойная ночь.

- Лиза!.. кажется, кто-то идет. Шаги по коридору!
- Никого... тебе почудилось...

Опять шьют, кладут, обкладывают тканью, зашивают по краю, по краю. Игла прокалывает жизнь по краю. По краю. И они, вместе с иглой, тоже идут по краю. Они — живые иглы и тянут за собой черную нить времени.

В окно, как в зеркало, глядится густо-синее небо с крупными сибирскими звездами. Небо само себе нравится. Анастасия поднимает от шитья лицо. Лицо цвета гимназического мела, нехорошо девочке не спать в это время; если не спишь в два часа ночи, то и не заснешь до утра, говорит мама. Но сегодня такая ночь. Она слишком важная. Мама все правильно решила. Это драгоценности короны. Скоро комиссаров прогонят чудесные белогвардейские отряды, великие герои, и снова наступит... на земле мир, в человецех... благоволение...

- Лиза! Поддай мне вон то ожерелье.
- Длинное, жемчужное?..
- Да... в нем мама была... на коронации...
- Господи, какое красивое...
- Мама сказала: кто из вас первой будет выходить замуж — той и подарю жемчуга...
- Ой, тогда я — первой выйду!..
- Настенька, сначала жениха заведи...
- Саша! Знаешь что... встань... и пересядь на кровать, к нам... а сама ножку стула — в ручку двери воткни... так надежнее...

Нянька Теглева встала и послушно исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную ручку. Осторожно присела на край кровати.

— Нас всех здесь много... я кровать продавлю...

— Не бойся, ты худенькая. Не продавишь...

Рубины. Вот этот — из Индии. Подарок английского короля Георга. Колье королевы Виктории. Ожерелье покойной матери Аликс, их бабушки, ее они никогда не знали — она в могиле. Жемчуга, розовые, черные и желтые, добытые со дна моря, это папа привез из Японии, какая сказочная страна, там женщины ходят в деревянных сандалиях и в кимоно и на спине завязывают огромный бант, они похожи на тропических бабочек. А вот и золотая бабочка, в размах крыльев вставлены крупные и мелкие сапфиры. Тоже Индия? А может, Африка? Драгоценности — это весь мир. Вот он, весь на ладони, перед тобой.

И рассыпался, раскидывался вдоль по кровати, по смятым простыням, весь мир — алмазы и рубины, кровь и слезы, крики задыхающихся от газов на военных полях, ругань в окопах, тусклый стальной блеск угрюмых танков, медленно падающий с брестера офицер, солдаты в грязи, стонущие, тянущие руки: больно! больно! спасите! — жемчуга стерильных бинтов, опалы марли, хрустальные друзья госпитальной ваты, парча хирургических повязок, и вот, страшно улыбаясь, обливаясь кровью рубинов и яшмы, турмалинов и кораллов, встает убитый человек, а у него вместо сердца — сквозь решетки, прутья ребер — горит свеча, и огонь падает на непролазную грязь, на столбовую дорогу, на стонущих, умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву, — драгоценности, вот они — свечи уже в руках людей, их толпа, они идут, да не в храм, а мимо храма, за сумасшедшим человеком, он так страшно, надсадно кричит, вопит: за мной! я дам вам счастье! а всех, кто не с нами, мы уьем! — и лысая его голова сверкает гладко обточенным кабашоном, и внутри чудовищной лысины, в ее бледном опале, перекачивается огонь красной крови, ее несгораемый, непалимый сгусток, — умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают все, все до одной, золотые свечи на гигантском небесном паникадиле, оно размахнулось во все звездное весеннее небо, это пасхальное золото, и это кровью красят яйца, это не яйца искусника Фаберже — это то алое яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голой ладони надменному императору Тиберию, поцеловала и поднесла, — это все было еще до раскола, еще до Иоанна Грозного, еще до князя Олега и княгини Ольги, еще до скорбных бездонных икон Византии, — так давно, что люди уже забыли, как это было, а драгоценности вот не забыли, они, живые, весь путь прошли, катились по земле и катились, и переступали босыми, в мозолях, ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунными, и захлестывали живые шеи золотыми веревками, они лишь притворялись пеньковыми, — а соковища все вспыхивали, все обжигали руки и сердца, блестели во ртах вместо зубов, торчали подо лбами вместо глаз, бросали их в печь вместо черного древнего угля, лопатой гребли из отхожего места, грузили на телеги и выкидывали на свалку вместе с робронами на китовом усе и фламандскими кружевами, — а они все катились и катились из тьмы, из смерти, из прошлого, и над ними впору было стоять со свечой и петь ирмосы и тропари, а Кто там стоит, улыбаясь во все драгоценное лицо?.. воскрес из мертвых, смертью смерть поправ... и сущим во гробех... живот даровав...

Да это не человек! Это свеча! Это... драгоценность...

— Таточка, у тебя нитка порвалась... и запуталась... давай я вставлю.

— Спасибо, душка, я сама.

— Тебе плохо видно. Свеча догорает.

- Свеча?.. Да, и правда...
- Правда?..
- Все, все правда...
- И то, что мы сидим и шьем здесь, тоже правда?
- Да.
- А я думала, мне все это снится...

Катится круглый теплый жемчуг под их еще детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.

Под столом перевернулся и во сне взлаял их любимый спаниель.

- А рубин похож на кровь, Тата.
- Настя, что ты болтаешь.
- Девочки... девочки... умоляю, тише...

<...>

* * *

...Мебель стояла твердо на своих дубовых ногах: прочная, на века. Все было вроде бы на века; и вдруг шкапы снялись с мест и поплыли вдоль стен, роули накренились, как черные лодки, столы скакали чудовищными деревянными конями. И птицами с хрустальными хвостами летели люстры, опаляя голые головы.

Все стало зыбко, ненадежно. Полетно, призрачно, сонно. Никто не мог бы достоверно сказать: сон нынче или явь.

- Во сне такое не приснится, что творится с Россией.
- А может, сейчас проснемся?

Татьяна часто сидела на широком подоконнике. Смотрела на улицу. В окно виден страшный островерхий забор, зубья досок вгрызаются в ветер и облака. За забором — дымы. Трубы, дымы, гарь, голоса. Люди спешат: с работы, на работу. А вот они никуда не спешат. Им некуда спешить.

- Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить-и-и-ить!
- Тата, слезь с окна! Тебя подстрелят! Как воробья!
- Как утку, ты хочешь сказать.

Подмигивала младшенькой, но с подоконника слезала и подходила к шкапу. Коричневым рядом, как соты в улье, стояли книги. Татьяна открывала створку и нежно, чуть прикасаясь, гладила корешки.

- Читай, любопытствуй!
- Это чужое.

Все вещи слуги инженера Ипатьева, когда тот отъезжал, снесли в кладовую; кладовая размещалась в полуподвале, и ключ от нее носил с собой комендант Юровский.

- Мама, а грустно, наверное, инженеру было отсюда уезжать. Из родного дома.
- А он разве тут родился?
- Господи, Стася, всегда прощаться грустно. Что ты плачешь?
- Как из Царского Села уезжали, вспомнила.

Мать подходила к дочери и притискивала ее голову к своей груди: вместо носового платка — материнский кружевной воротник, сырое теплое тесто родной плоти.

- А когда мы отсюда уедем?
- Старуха больно сжимала клещами крепких пальцев дочкино плечо. Молчала.
- Значит, не уедем.

Морщины текли, как слезы.

— Нет, уедем, уедем! Мама, не надо!
 Царь уже бежал с мензуркой, и капли пустырника в ней.
 — Лелечка, а ты знаешь, в кладовой стопкой лежат иконы.
 Ольга медленно оборачивалась к Анастасии.
 — Анастази, ну и что из этого? Это чужие иконы.
 — Но почему их сняли? Их надо повесить. Вернуть на места. Они же святые!
 Ольга обхватывала себя за плечи, будто мерзла. В жару — обматывалась черной ажурной шалью. Под тощей зад, когда играла на рояле, подкладывала подушечку. На подушке вышит вензель: «ОР».

- Это не нашего ума дело.
- Ой, ну можно я хоть одну повешу?
- Когда ты успела их разглядеть?
- Я вместе... с Прасковьей...
- А, у нее ключ?
- Комендант ей дал. Чтобы Прасковья оттуда еще один самовар взяла.
- Она брала самовар, а ты копалась в иконах?
- Я не копалась. Я сверху увидала! Одну. Божию Матерь Утоли моя печали!

Вещи, вещи. Они мотались и качались маятниками. Они мерцали и гасли. Уходили в туман. Все вещи убьют и сожгут. Дом разломают и на кирпичи растащат. И потом из этих битых кирпичей где-нибудь кому-нибудь сложат печь в бане.

Вещи человеческие, такие привычные. Стулья, подушки, кастрюли. Бумаги и книги. Подумай, Мария, этого всего через каких-то пятьдесят лет не будет. Залезь в будущее и погляди: что увидишь? Ничего. Ни печных этих изразцов, ни полосатых обоев, ни стула с обивкой в мелкий цветочек. Ни чернильницы на столе, ни ручки с вечным пером. Вечное? Какое вечное? Где здесь вечность?

- Машка, нас охраняют, будто мы вещи.
- Брось. Перекрестись и помолись. Это наваждение. Бесы.
- Мы вещи! Вещи!
- Настя, ну я тебя прошу.
- Проси не проси! Все равно вещи!

«Вещи, все равно», — Мариины губы без мысли, без чувства повторяли слова сестры. Повтор, музыкальная реприза. Еще раз. Как говорит мама по-немецки: *noch einmal*.

- Нох айнмаль!
- Машка, ты что?!
- Форвэртс!
- Ты что, на плацу в Гатчине?!

Мария по-военному повернулась, подняла ногу, не сгибая ее в колене, и стала маршировать по гостиной. На столе звякнула чернильница: Мария тяжело наступила на скошенную половицу.

- Машка! А когда мы уедем отсюда — инженеру вернут особняк?

Мария встала: ать, два.

- Нет. Народ тут сам поселится.
- Народ? Какой народ?

Волосы текли с затылка на плечи Марии густым тяжелым медом.

— Разный. Солдаты, торговки с рынка... может, рабочие. Здесь же много заводов и фабрик.

— Рабочие, — Анастасия накручивала прядь на палец. — Но ведь рабочие живут в своих домах! Им есть где жить!

- Они живут в бараках.

— Что такое барак?
— Это такой... большой сарай. Грязный. Там клопы и вши.
— Фу. Откуда ты все это знаешь? Ты там была? В бараках?
— Да.
— Не ври!
— Я ездила с подарками в рабочие бараки, когда мы были в Костроме. Вместе с тетей Эллой.

— Это когда мы были в Костроме?
— В тринадцатом году. На празднество юбилея династии.
Анастасия смотрела прямо, жестко и тяжело дышала, будто бежала. Приоткрыла рот.

— И как там? В этих бараках? Страшно?
— Страшно. Как там люди живут? Я не понимаю. Там такие большие комнаты, и в каждой комнате по многу человек. Иные спят на полу, и даже без матрацев, на тряпках. На своей одежде. Есть комнаты получше. Там женщины с детьми. Дети орут, запахи... — Мария повела плечом, склонила голову к плечу, смотрела косо и снизу, как птица. — Дети тощие. Страшно худые. Нам одного развернули, вынули из пеленок. Пеленки — ветошь. Такими тряпками на кухне столы вытирают. Матери плачут: нам детей нечем кормить, у нас молока нет, пришлите хоть молока, каши! Хлеба пришлите! Стася, я стояла и смотрела, и мне стало плохо. Просто плохо. Но я крепилась.

Сестра опустила глаза. Мяла в пальцах край фартука.

— Зачем тогда... поехала?
— Тетя Элла сказала: повезем подарки...
— А какие... подарки? Бусы? Игрушки?

Рот Марии дрогнул и сжался. Так сжимаются створки перловицы, когда ее изловят в реке.

— Что ты. Какие бусы. Хлеб... буханки... Крупа, пакеты, коробки... Рис... гречка... горох... Мясо, консервы... Лекарства, мешки с лекарствами... и надписи, где какое... Детские одеяльца... одежды ворох...

«Гороховые бусы», — неслышно прошептали, сами, ее губы.

Мария покосилась на спину Лямина. Он сидел спиной к девочкам, около изразцовой печи, близ рояля. За поднятым черным Люциферовым крылом рояльной крышки его почти не было видно.

— А иконы? Вы им привезли иконы?
— Нет, — с трудом сказала Мария.

Она смотрела на Лямина, видела из-за рояля его голову, и ей казалось — его уши шевелятся.

— А почему нет?

Мария вытянулась и поднялась на цыпочки. Гляделась в рояльную крышку, в черное деревянное зеркало. На самом деле она пыталась рассмотреть лицо Михаила. Он не поворачивал головы. Так тупо и глядел в стену, на печь, на павлинью радугу изразцов.

— Не знаю.

* * *

...Кладовая была вся обложена цементом. Там всегда стоял холод, покрепче, чем в погребе. Пашка иной раз ставила там корзину с яйцами и крынки с молоком. А од-

нажды подвесила к крюку тушку копченого поросенка. Поросенка закупили не на деньги, выдаваемые царям: у кровопийц свое довольствие, у солдат — свое. Деньги на поросятину выдал Голошекин из своего кармана. Погрозил Пашке: выбери самого крупненького, да если отрежешь кусок себе и заховаешь — я тебя сам закопчу!

Когда спрятавшийся на чердаке дома у Исети белогвардейский прапорщик подранил Жорку Исупова и Жорка добрых десять дней метался в жару, качал на подушке красную, как спелая морковь, пылающую голову, Ваня Логинов догадался на время положить Жорку в кладовую, в прохладу. Жорка дышал тяжело и глубоко. Пахло блаженной сыростью и копченой поросятиной. Наутро Жорке полегчало. Его отнесли в столовую и положили на диван, где спала девица Демидова, а девице составили вместе четыре жестких стула: здесь спи! Демидова, со скорбным личиком, приседала. Книксены ее делать научила Анета Вырубова.

А теперь Лямин, войдя в кладовую, стоял один посреди этого пыльного и кем-то любимого, то сложенного в аккуратные пирамиды, то сваленного в кучи, уже переворошенного чужими руками чужого добра. Он, любопытствуя, смотрел, как человеческая жизнь неуклонно обращается в хлам.

«Каким-то вещам повезет, они останутся среди людей надолго. Какие-то — сожгут к едрене матери. Что такое вещь? Ее сработал человек. А человека кто сработал? Бог? Не верю я уже в эти сказки. Откажутся люди от Бога. Не нужен он будет им. И теперь уже — не нужен».

Мороз подрал по спине, будто вместо кожи на хребте и лопатках у него была натянута диванная обивка, и ее царапали кошки.

«Что я болтаю! Боже, прости!»

«Что ты дрейфишь. Тебя никто не слышит. Здесь, в этой кладовой. Как под крышкой гроба».

И дома вдруг представились ему гробами; они медленно восставали из земли, раздвигали деревянными квадратными головами влажную землю, слезалое пшено пска, и вставали вертикально, и шли, безного, безруко, по улицам, и коротким и длинным. Короткая или длинная жизнь, а человек погребает себя при жизни в домах.

«А раньше что, жил на воле, как волк? Да, и волен был, и дик, и счастлив».

«Какое счастлив. Мерз, в холоде, в голоде, брюхо подведет, выл на луну. Убивал сородичей и ел, чтобы выжить».

«Сородичей. А сейчас мы кого убиваем? Разве не сородичей? Так где же этот чертов Бог? В какой норе прячется? Все орут в уши: будешь, будешь держать ответ за то, что содеял! и Бог накажет! Нас-то Он сто раз уже наказал. Тыщу. А вот Он — если есть! — перед кем ответ держит? Перед самим собой?»

Взял икону, лежащую на самом верху начинающейся у половиц горки из икон и старинных церковных книг. Всмотрелся. Ну и дела! Божья Матерь, и опять без младенца. Ох, черт. Ребенка-то он и не заметил. Женщина подняла руки, а ребенок нарисован у нее на животе. В странном круге. Лямин обвел круг пальцем. Ребенок глядел ему прямо в глаза.

«Черт, у этого Бога всегда такой взгляд, душу вынимает. Да нет, просто богомаз искусный! Умеет нарисовать печаль».

Палец обвел и глаза, и брови скорбного мальчика.

Лямину почудилось: он похож на больного царенка.

Он хотел осторожно и беззвучно положить икону Божией Матери Знамение поверх стопки, но за его спиной комарино пискнула дверь, и он бессознательно швырнул икону прочь от себя, даже брезгливо.

За ним молчали, но он уже прекрасно знал, кто это. Все в нем захолонуло.

— Зачем ты тут?

Пашка сделала шуршащий шаг. Будто что-то секретное прошептала сминаемая бумага.

— А тебе-то что?

— Мне? Мне всегда до тебя... что.

Говорил, но не оборачивался. «Ну, подвали поближе. Ну, еще ближе. Ну».

Но шаги больше не шуршали. Оборвались.

Лямин погладил книжку, как кошку. От корешков книг пахло мышами и ладаном. Он выпростал книгу из развала, как березовое полешко из кривой-косой поленицы, книги посыпались ну точно как дрова. Он сердито рассмеялся над самим собой. Книгу развернул. Страницы пахли сладким воском и отчего-то мылом. «Книги можно нюхать, а не читать. И все через запахи узнаешь. И читать не надо».

Вслух, с трудом, останавливаясь после каждого слова, он не прочитал — проковылял по буквам, как охотник за зверем — по наметенным сугробам:

— Не придет... к тебе... зло... и рана... не... приближи-ца телеси... твоему. Яко Ангелом... Своим... за-по-весть... о тебе... сохранить тя... во всех... путех твоих.

— Путех твоих, — эхом, жестко, отозвалось от двери.

— Пашка. Ну что ты какая?

Не поворачивался. Терпел.

Что-то плохое чувствовал: от Пашки, стоявшей за его спиной, исходило непонятное, тихо страшщее его излучение печали и злобы.

«Довлеет дневи злоба его...» — вспомнилось ему невпопад, ни к чему. Пашка дышала, и он слышал этот хрипящий легочный ритм, и подлаживался к нему, и дышал уже в этом ритме. Будто они на лыжах шли в тайге, с ружьями за спиной, охотиться на росомаху. Или на рысь.

И за ними бежал широкий темно-синий лыжный след, вдавленный в солнечный, ярко-голубой снег. Где и когда это было? Во сне или по правде?

— Пашка, а мы с тобой...

Он хотел спросить: «охотились когда-нибудь», но она быстро и жестоко перебила его. Как торговка в бакалее, за прилавком, среди чаев и кофиев.

— Прячешься.

Она сказала это слишком властно. Он этого не смог уже вынести.

Развернулся, как мотор, и чуть не загудел — руганью, выдохом, воем. Шагнул к ней через навалы книг, старых багетов, дырявых самоваров, ушастых кастрюль, медных тазов и чайников. Все это стало рушиться, падать со звоном, почти церковным, с заводским, будто в горячем цехе, грохотом и стрекотом. Лямин старался схватить ее и заткнуть ей рот своими губами — а может, что другое с ней сделать, еще не знал, — но наткнулся грудью, ребрами на истекающие из Пашкиной, застегнутой на все медные пуговицы аккуратной гимнастерки пугающие твердые лучи высокой и крепкой груди. И застыл. Глупо, унижительно.

Оба молчали. В тишине сверху кучи малы свалилась последняя кастрюля: маленькая, с очень длинной ручкой. Что в ней варили? Яйца?

— С... Что ты делаешь!

Он не понимал, почему все так.

Пашка еще немного постояла такой — жесткой, слишком горячей даже на расстоянии. Этот ее жар жег его изнутри.

Он протянул руку, и сквозь плотный воздух боли и ненависти, ревности, ужаса, прожитых убийств, порохового дыма, Бог знает чего ему удалось все-таки вцепиться в ее руку, висящую вдоль ее потешных галифе.

— Пашка! — крикнул он живым, но уже насмерть раненным шепотом. — Пашка, да ты что?! Какая муха тебя... Ты чё, умирать собралась?! Или... меня убить?!

И тогда она разинула рот. Во рту блестели ровные, ненаглядные зубы. Она подстриглась, и волосы опять непослушно вились и клали новые кольца на высокую, обветренную и сильно загорелую шею. «Она похожа на рысь! Скулы, уши...»

— Зачем мне тебя убивать, Миша, — она не вырывала руку из его потного сумасшедшего кулака. — Мы тут одни.

— Наедине и убивают, — плохо пошутил он. Голос сам куда-то уходил.

— Ну что ты такой? — теперь она упрекала его. — Я давно тебе хотела...

Это она уже держала его руку. Пожимала ее. Смотрела себе под ноги. Около ее ноги валялась эта самая иконка, что он рассматривал минуты назад. Мать и ребенок в круге, в выпуклом шаре живота.

— Не тяни!

Он вмиг, даже без ее слов, догадался, что она скажет.

Пашка шагнула и наступила ногой в сапоге на иконку. Богоматерь лежала ликом вверх, и Пашкин сапог пришелся на ее живот. На этот красивый, небесный, лунный шар.

Доска треснула под подошвой. Сапог крепче вдавил икону в цементный пол.

— Ребенка жду, Мишка.

«Говори, говори, ты быстро должен что-то отвечать. Говорить! Не молчать».

— Ну и... кто отец-то?

Лизнул сначала верхнюю губу, потом нижнюю. Глаз не отводил.

Раздавленная сапогом Богородица кротко смотрела на них обоих снизу вверх. И не могла достать до них глазами. Слишком высоко, недосыгаемо стояли и молчали они.

Пашка сжала его пальцы до хруста, как мужик. И — оттолкнула его руку.

Теперь они были разъединены. Ни нити, ни паутины.

— Тебе сказать?

— Я сам знаю.

Он нес невесть что. Не слышал своего голоса.

Смотрел на ее сапог, твердо стоящий на иконе.

— Что ты знаешь?! Ну, что?!

«И правда, может, она не об том».

Спокойно попытался выдохнуть, усмирить себя, усмирить ее. Как бешеную лошадь.

«Да ведь так было всегда. Я всегда ее усмирял. Всегда воевал с ней. Есть конец этой войне?»

Пашка села на корточки. Будто хотела покурить. Будто бы за ней не цементная стена кладовой тускло, похоронно светилась, а высился забор — около него всегда курили на корточках охранники. А потом сапогами окурки втапывали в землю.

— Уймись. Прошу. Услышат.

Но она уже кричала в голос.

— Ты! Дрянь! Всезнайка! Истязатель! Пес!

Забил себе рот ладонью, кулаком, будто пыталась съесть, отгрызть, как собака, себе руку.

И — тихо, скучно и буднично выковыряла изо рта, будто щепкой, застрявшие в зубах волокна вареного мяса, будто и не вопила на весь Дом миг назад:

— Ты.

Опять их обволокло жгучей горчицей мучительное молчание.

Она поднялась с корточек. Все еще стояла сапогом на иконе. Икона хрустела под сапогом, раскалывалась, расщеплялась, и Михаил потрясенно следил, как отломки разлетались в разные стороны из-под тяжелой подошвы. И летели в воздухе, святы птицы, деревянные голуби.

«Я спятил. Я схожу с ума! Что это?»

Бесполезно было сейчас думать, жмуриться, трясти головой, останавливать небыль. Надо стоять, безропотно глядеть, терпеть.

Пашка сама обняла его. И вместо Пашки была Богородица, ее светлое, чистое, без единого пятнышка, лицо. А расколотое летящее дерево уже горело в огне неба, в его цементной угрюмой, безбрежной печи. И Богородица накладывала свой лик на ужаснувшееся лицо Лямина, покосившееся, как фасад старого, на слом, дома: доски поехали, косяки подломились, как колени, дом тоже хочет помолиться и не может, он умирает.

И некому его хоронить. <...>

...Он плакал во сне. Слезы затекали ему под щеку. Он лежал в кладовой посреди убитых вещей, а на нем лежали упавшие книги. Из перевернутой кастрюли рассыпались старые сухие ягоды рябины. Из таких девки в Буяне низали бусы. Сильно пахло луком. За его затылком валялась связка сухого репчатого лука, луковички горели в полутьме рыжими, золотыми лисьими огнями. Лямин пошевелился. Встал, отряхнулся. Выпростал гимнастерку из-под ремня и ее краем вытер мокрое лицо.

Вышел во двор. Вечерело. Нет, я не пьян, я не пил, сказал он себе. Долго курил у забора. Затушил самокрутку о ладонь. Нарочно хотел руку ожечь. Ничего не почувствовал.

«Если встречу — спрошу. Никак, мне все причудилось?»

...Он увидел Пашку, когда солдаты сели вечером за столом во дворе. Пашка громыхнула об стол огромной сковородой с жареной картошкой. Мускулы вздулись выше локтей у нее под рукавами гимнастерки, когда она водружала тяжеленную сковороду на узорную чугунную подставку. Охранники ели безо всяких тарелок, да не вилками никакими, а ложками; скребли по сковородке, отдирая прижарки. Сковорода быстро пустела.

— Пашке, Пашке оставьте!

— Ох, спаси Бог, повариха. Уважила.

— Да, картовь што надо.

Пашка холодно посмотрела на жалкую горстку картошки, прижавшуюся к краю сковородки, как нищенка к церковной стене. Усмехнулась. Подтерла ржаной коркой масло, ложкой быстро загребла картошку и отправила в рот.

— Вот и весь мой ужин. Отдай врагу, — прошептала.

Захотела тихо. Солдаты смотрели на веснушки, ползающие по загорелому, покрасневшему бабьему лицу, на выцветшие под солнцем пряди — она то и дело заправляла их за уши, мешали они ей.

— Хороша Глаша... да... не наша...

— А чья? — беззастенчиво, по-детски спросил Антон Бабич. Обшлагом начищал голенище.

Ваня Логинов смущенно, осторожничая, глянул на Лямина. Лямин вытирал от масла рот. Бабич проследил за взглядом Логинова. Логинов подмигнул Антону.

— Такие делишки... У них все уж давно утыпано...

Пашка встала и держала сковороду за деревянную длинную и толстую ручку, хотела уже в кухню нести, когда Лямин, взяв по пыли сапогами, подошел к ней.

Он видел, как ее пальцы сильнее впились в деревяшку. Посинели.

Хотел взять ее за плечо. Не взял.

Не смог убить расстояние.

— Паша, мы с тобой сегодня в кладовой... видались?

Молчала. Вертела сковородой туда-сюда, будто карасей на ней жарила.

— Паша. Брось цирк. — Положил пальцы на ее пальцы, вынул сковороду из ее руки, поставил на стол. Ему было все равно, услышит его кто, не услышит. — Ты мне о ребенке говорила?

И вот тогда она повернула к нему все свое широкое, солнцем опаленное, веснушчатое, красное, краснее флага, обветренное, грубое лицо. Да, грубое, а ему оно всегда казалось нежным. Раскрылись грубые губы, и грубые легкие вытолкнули из себя прочь:

— Уйди. <...>

* * *

— Сашка, ты, главное, пей. Отличный самогон. Я такого никогда не пивал.

— Я пью, ты не гоношись.

Люкин взял бутылку и отхлебнул из горла. Глоток вышел громкий, захлебный. Лямин аж отшатнулся.

«Ишь жадный какой. Так и все выхлебает».

Смутно подумалось о большой прозрачной четверти, что стояла в коридоре за сундуком. Четверть странного стекла, не голубого, не зеленого, а будто в стекло, когда выдували бутылку, подмешали опал или перламутровую крошку: туманная и переливалась радугой.

И внутри — радуга. Радость, счастье. Вот дано же это счастье мужику — выпивка. В любом горе про горе забудешь. А может, его и избудешь. Пьяным, говорят, море по колено.

«Море. Море крови».

— И вот, значитца, Мишка, потащили мы эти дурные чемоданищи на пристань. Я два ташу. Думаю: и зачем, ну зачем людям столько барахла? И с собой возить. За собой этот воз тянуть. Ну правильно, сами не тянут, тянут другие! На этом, брат, вся ихняя радость и построена. Лакеи за креслами стоят: што вам подать такого-энтакого? Горничные с подносами бегут, спотыкаяюцца: не изволите ли блян... тьфу!.. блянманже? На кухне — повара над блюдами потеют. А за ними надсматривают: то ли в супчик положили, то ли мясо стушили! Так ли мелко капустку порезали, как надо, штоб ихние царские зубки легко ту капустку прожевали! И не дай-то Бог в котел бросить не тую косточку. Али — на сковороду — тухлый кусочек. Ешкин кот! Да тебя самого с потрохами съедят! На тую самую сковородку — и бросют! И даже не разрежут! Не оциплют! Так и сжарят, в одежке!

Захотел хрипло, простуженно.

— Ты пей, пей. Согреешься.

— Да вроде б весна на дворе. А меня знобит. И верно, на пароходе меня просвистало, на палубе. С тех пор и дохаю.

Лямин подвинул к себе стакан и налил. Люкин издал короткий смешок.

— Ты, ешки, прямо как культурный таперича. Из стакашка пьешь. А я вот прямо из ее, из родимой. — Еще раз припал к горлу синебокой бутылки, глотнул мутную, похожую на пахту жидкость. — Дотащили мы барские энти проклятые чемоданы. Прощай, Тобольск! Когда ишо свидимся!

— Ну не зарекайся.

— Да свидимся, конешно; куды мы без Сибири-матушки? Скольки лет по морю плавал, моря дна не доставал, пил я водку, ел селедку, по матане тосковал! Эх, Сибирь моя, да реки рыбные! Полюби меня, матаня, парня видного!

Люкин знал неимоверное количество частушек. Вот и теперь заблажил на весь коридор, зачастил.

«Цари проснутся и не уснут. А пускай их слушают! Народ поет».

— Я любила Ленина, я любила Троцкого, а теперь буду любить Васятку Тобольского!

Лямин хохотал уже. Обнимал обеими ладонями бутылку, будто грел об нее руки.

— Ты погоди... Сашк... ты давай — про пароход...

Люкин перевел дух.

— Уф. Про пароход? Про па-ра-ход?! А што-о-о-о... Да ништо. Пароход — «Русь» называцца. Чуешь, энто гордо звучит! Русь! А я смерти не боюсь!

— Хватит ты.

— Не злися, злун. Реки наши огромные, могучие. По реке плывешь, а будто по морю! Все думаю: какое оно, море? Ты вот видал?

— Видал.

— А игде?

— В Питере.

— Счастливец ты! В Питере побывал.

— Я недолго там поплясал. На одной ножке.

— А море, море-то все одно видал. Наш Тобол все лучше моря. Ширше. Говорят вот, Байкал славное озеро. Ну чисто море. Не бывал.

— Еще побываешь.

— Да какие наши годы. Конешно, поеду! Вот война закончицца... все энти смерти, ешки... и женюся, детей нарожу и с ими — на Байкал поеду. Озеро-море глядеть!

— Ты давай про княжон.

— Ну и вот мы по сходням валим на пароход. Кучи нас, народу-то. Во-первых, энти. Приоделись, как на парад! Платица в рюшечках, в руках зонтики несут, раскрытые, а дождя нет. Я, дурак, таких не видал никогда; а энто оказались от солнца. Штобы щеки не напекло. За ими семят слуги. Ну, вся энта... свита. Все, кого из Питера в Тобольск вместе с ими привезли. Энтот, матросик, Нагорный ему фамилие, на руках мальчонку несет.

— Цесаревича?

— Ну кого же! Мальчишка матроса за шею руками крепко обхватил. Сидит. Как на коне, сидит и с матроса сверху вниз — на нас, на скот — смотрит. Глаза большие, по площадке. И в глазах такое... и жалко ему нас, и видно: презириат он нас. Мы для его все одно скот. Мы для всех их — скот! Скот, Мишка!

Лямин отпил из стакана. Самогон был скорее сладкий, чем горький, и пах яблоком. «Ябллок натолкали, а еще, может, зверобоя. Зверобоем несет».

— Ты спокойней. Не блажи.

— А што?! Их перебудим?! Так разбудитесь, жги вашу мать! — заорал Люкин.

Лямин усмехнулся и еще выпил. Занюхал ржаной коркой. Хлеб уже исчез, незаметно.

— Тогда ори сильней. Чтобы сюда прибежали и твой рассказ слушали.

— Ладно ругаться-то, чай, не поп за грехи. — Люкин пьяно подмигнул Михаилу. — Я все, я смиренный. Я просто иногда хулиганю. Распояшусь... и опять подпояшусь. Ну и вот, они все хлынули на палубы, по трапу, с трапа чуть в воду не попадали, неловки дак. А за ими — мы. Охрана, ешки! Впереди нас Родионов. Вот странный мужик: то, знашь, наглый такой, то смиреней козьявки. И нашим и вашим, што ли, на дудке играт? Не пойму я его.

— Да черт с ним.

— Черт с одним, черт с другим! Со всеми у нас черти! — Люкин зубасто захохотал, и Лямин видел: у него во рту все зубы прочернели — от недоедания, от цинги. — Родионов машет руками направо, налево. Кричит: табе сюды, а табе сюды!

Всех по каютам растолкал, быстро управился. Не, Родионов, ежели надо, сообразительный. Ухватистый такой... Вижу, перед им энти мотающца: дядька-матрос и парнишка у его на руках. Пароход качат... и они качающца. Как вот самогонка в бутылки. — Люкин взял в нетвердую руку бутылку и покачал туда-сюда, маятником. — Нагорный мрачно так глазами Родионова сверлит! Белки навывкате! Мальчонка, вижу, дремлет. Сморился. А нам, вопрошат энтот злыдень матрос, куды подацца прикажете, вашество? А вам, бьет его голосишком в щеку Родионов... а вам, вам... да ко мне в каюту! Вот куды! К вам, тянет матрос, к ва-а-ам?! Да ваши не пляшут. Энто — приказ! Командир приказал — ты, моряк, не смей ослушацца! И пошел матрос, волокет спящего мальчонку, и у его от затылка такие, знашь, сквозь бескозырку бешеные лучи хлещут. Аж мне жарко стало.

Дом инженера Ипатьева нежданно обратился в пароход. И плюхал, как пароход, и хлопал плицами, и погудывал, и мелко дрожал, повторяя вибрацию страшных, с железными челюстями и стальными клешнями, машин в трюме, и разрезал носом тугую, теплую, темную волну майской ночи.

— День как прошел? Не помню особо. Ну так себе прошел. Мы ели, пили... песни играли... Вечер сошел. Все угомонилися. Челядь в своих каютенках притихла. А што им. Они в услужении ведь, все для хозяев привыкли робить. А тут им и робить запретили. В каютах позакрывали. Родионов самолично с ключами ходил по коридору и всех замыкал. А штоб не убегли! Правильно. Острастка нужна. В любом деле острастка нужна! Правильно я говорю-у-у-у... Мишка-а-а?..

Михаил не был так пьян, как Люкин; Сашка пьянел быстро, за ним это водилось.

— И царенка с дядькой взял да замкнул у себя в каюте. А сам, думашь, куды спать пошел? Ну, угадай с трех раз? Не угадашь ни за какие коврижки. Пошел — не спать! Всю ночь на палубе просидел, простоял... Аккурат напротив каюты княжон. То у поручня стоит, то в белое кресло сядет. Сидит. Голову чешет. Думат головой Родионов. Мыслит, што будет. У нас на селе один татарин ходил и кричал: думай, думай, голова, шапка новый купим!

За окнами шумело. Ветер? Листва? Вода?

— А княжнам — ах-ах-ах-аха! — Смех забулькал у Люкина в глотке, как самогон. Он проглотил его. — Княжнам командир запретил на ночь запирацца! Ходил коло их каюты и кричал: я вам ключ не даю, изнутри не запретесь, снаружи тоже не запру, штобы я, значитца, мог к вам в любое время ночи зайтить и проверить, на месте ли вы! А то вдруг вы к едрене матери сбежите, в воду попрыгаете да уплывете, и поминай как звали! А мене потом ответ держать! Ах-ха... — Руки Люкина уже блуждали, бегали, брали и роняли, уже блудили по столу, пальцы порочно шевелились — сбондить, проткнуть, смахнуть бутылку со стола, как слезу со щек. — Да прав он, хитрец! А што хитрец? Кажный из нас... перед властью... хитрый...

В окно постучали. «Ветки», — вздрогнул Лямин и засмеялся своему детскому страху.

— Коло дверей часовых поставил. И кого, думашь? — Люкин помотал головой, смешно, по-утиному. — Бронницкого, Куряшкина, Шляхтина... и меня! Охо-хоха! Ну, скажу я тебе... Скажу я тебе, Мишка, энто собла-а-азн... Куряшкин шуточки отпускат! Мы грохочем. Ночь-полночь! Мы не спим, и они не спят! Де-е-евушки!

Лямина как кипятком обдало. «Неужели — покусилсь? Обнаглели?»

Боялся спросить. И — хотел.

— Знаю, зна-а-аю, об чем интересуеся! — Опять это подмигивание, хитрое, сальное. — Знаю, да не скажу! Так тебе все и выдай, держи карман ширше! Ой, и весело нам было! Ухо к двери прислоняли, слушали. Как они там копошацца. Как божьи коровки в кулаке. Эх бы, в кулак бы косу взять... головунку отогнуть... всяко мы

там себе представляли! Слышим из каюты Родионова крики. Стуки. Это Нагорный в стену, в дверь барабанит. И чем брякал? Сапогом? Чайником?

— Пустой бутылкой?

— Ах-ха-ха! Слышим, матрос орет благим матом: эй вы, негодяи, што за наглецы, игде такое только видано, мальчонка болен, а если ему лекарство какое понадобится, а если его на воздух надо вынести, а если он в уборную захочет?! Мы ему — через весь коридор — кричим: если ты, матрос, в гальюн захочешь — ссы в золотой царский кувшин! Га-а-а-а! А он в ответ кричит: не боюсь я ни вашего командира, ни вас всех, гады! Идите к бесу! Вы сами первые бесы и есть! Мы ему орем: а ты заткнись, полосатая гнида, царский костыль! Тебя ищо пулечка найдет! Пулечка-дулечка... дурочка-курочка... А он нам: плевал я на вас! Вы меня все равно убьете, так я ж смерти не боюсь, я моряк, я в волну глядел и смерть на дне моря видал! А у вас у всех рожи такие, такие рожи! Не рожи, а рыла! Вы ж не знаете, што такое человек, потому што вы звери! Потом тихо стало. И у княжон тишина, и у матроса тишина. Все. Как умерли все. Мы уши наострили. Винтовки ближе к себе придвинули. Револьверы на боках шупам. Ну, думаю, а вдруг на пароход какой шпиен пробралси, и в окно к княжнам залез, и щас они на нас — из оружия — как лупанут?! Да хоть из пулемета!

Михаил улыбнулся углом рта.

— Лупанули?

— Игде там! Ночь она и есть ночь. Тихо, темно... Пароход шлепат себе. Безветрие. Ровно идет, как нож по маслу. Мы караулим. Веки слипающца, едрить их... Бронницкий вздохнул да и лег на пол у дверей. Руки под скулу подложил. И через миг захрапел! Во, думаю, тоже нахал! А мы с Куряшкиным и Шляхтиным ка-ак переглянулись... как зыркнули друг на друга — враз все глазами сказали... и друг друга хорошо поняли. Хар-ра-шо-о-о-о!

Лямин тоже понял. Самогон больше не пьянил. Он вцепился пятерней в длинную гусиную шею бутылки.

— Ну, поняли.

— И ты ведь понял?! Да-а-а! Понял! Не отпирайся!

— Да. Понял.

— Глаза глазами, а языки-то языками. Развязали мы их. Первым шепчет Куряшкин: ну чё, ребята, рискнем? Такие курочки! Как из сдобного теста слеплены! В царской печке пекли... — Люкин сглотнул. Показал шербатые зубы. — Мы руки протянули, сплели. Вроде как поклялися молчать... Стоим. Ой, стоим! Так стоим... ха-а-а... што мочи нет... Опять глазами друг друга шпыням. Шляхтин бормочет: ну, што ж? Што медлим? Руку — на медную ручку дверную положил. Рука волосатая. Я на волосы энти гляжу. И представил, как он энттой самой рукой... шарит по вороту, по шее, лямки разрывает... кружево рвет... и лапат, и царапат — энти грудки девичьи, нежные, белое мяско куриное... а другой рукой рот вопящий зажимат... эх-х-х...

Замолк. Тяжело, надолго.

Лямин завозился на стуле.

— Ну так...

— А, вошли мы али не вошли? Ишь, быстрый какой! Мы сперва захотели энтто дело сбрызнуть. Ну, и для храбрости. Шляхтин из-за пазухи бутылешку тащит. Вот, говорит, моя мене на дорогу всунула, а я ищо, дурачила, отказывался. Без закуски? Без закуски. Так оно ищо боле жжет. Каждый приложился. По первому кругу. По второму. Без закуски, Мишка, сам знашь, оно быстрей идет... но и пьяней, однако. И што мозгуешь? Пялисса што?!

Посмотрел с сомнением на бутылку.

— Больше половины... или меньше половины?... Как знать... Плевать... Три их там, три. За дверями. За стенкой. Так и вижу их. Сорочки их ночные. Не спят небось; сидят каждая на своей койке, а то и сбились в кучку, обнимаюцца. Трусят! И мы — трусим. Ну шутка ли. Их же все же нам приказали — охранять. А не... — Грубое, дикое слово вывалил Сашка; и Лямин вздрогнул кожей всей спины, так вздыбливается и встает из травы лежащий зверь, почуяв охотника. — Три девчонки. И хороши собой. Особенно хороша энта, гордая. Татьяна. Нас трое, и их трое! Ну, тут мы разве-селились. И ишо глотнули! И стали, Мишка... их делить. Ну да! Делить! А што тут та-кого! Все честь по чести!

Волосы у Михаила превратились в ползучих змей, и растопырились, и потекли с затылка, с темени — по вискам, по щекам, вдоль лица. А может, это тек пьяный пот.

— Судим-рядим. Я кричу: тебе, Шляхтин, я знаю, Анастасия по душе! Он башкой мотат: нет, не-е-е-ет, я б Ольгу взял! Младшая, грит, слишком неуклюжа! Неуклюжа, ешки... Да зато царская дочь! На всю жизнь — детям, внукам — рассказов! Куряш-кин ишо хлебнул, крикнул и шипит: бросьте спорить, Анастасия — мне! Ну все тут ясно. Куряшкину — младшенькая, Шляхтину — старшая, а мене, выходит так, Татьяна?! Ну все как я мечтал! О-хо-хо-ха-ха-а-а!

Лямин глядел на носки своих сапог. «Снять бы сейчас сапоги. Ноги болят. Прито-мились. Упрели».

— Татъя-а-а-ана... До того горделива, зла на нас... Оборачивалась — глядела — как из глаз огонь швыряла... И штобы мы дотла сожглись в энтот огне, ешкин кот... А тут я шас буду ее мять, крутить... в тепленькой пароходной постельке, ешкин кот... Дро-жим. Озверели. Водка все не кончацца, мать ее! А што, бутылку за борт выкидывать?! Бутылку ж нужно допить! По последнему кругу пустили. Но мы уж и были хороши: нас вечерком — наливкой, целой четвертью — Агафон Шиндяйкин угостил... он на-ливку тую у вдовы Гермогена с кухни украл... когда попы поминки делали...

Дом Ипатьева молчал и дрожал. И все внутри Лямина дрожало противно, скользко.

Внутри ползали скользкие жабы и длинные ящерицы, высывывали раздвоен-ные языки. Перед ним из ночи вышел призрак Марии; Мария укоризненно, но не гневно, а тихо, печально глядела на него уплывающими во тьму глазами, и ее губы шевелились, ему показалось, он различил: «Что сделали вы с моими сестрами? Зачем?»

— Я Татъяну энту — там, в Губернаторском доме — завсегда подстерегал. Она идет, а я тут как тут, под ноги ей суюсь. Ух и ненавидела она меня! Я ей, наверное, хуже жабы кажусь. А мене начхать, жаба я али какое чудище. А она — подо мной. А я — над ей! И энто, слухай, Мишка, так сладко! энто слаще всего, оказывацца!

— Даже слаще случки?

— Случка — што! раз, и кончилася. А вот энто — когда чуешь себя все время над ими — высоко над ими! чуешь себя над царями — царем!.. вот оно, торжество-то, игде... вот — счастье...

Скуластое лицо Люкина замаслилось, скулы блестели, глаза сочились пьяным со-ком, и масляный рот обнажал промасленные самогоном зубы, и масляные пальцы жирными рыбами двигались в темном прокуренном воздухе, плыли.

— Дочки кровопивца... деспота... вырастут — и станут точно такими же... Ты по-гляди на старуху! Ведь она ведьма!

— Ты...

Слова кончились. Остался один слух, каторжный, бесконечный.

— И вот стоим мы и думам: как же оно лучше вперецца-то в каюту? Как — войти? Ворвацца? В воздух стрелять? Всех перебудим. Тайное дельце-то затеяли. Тихо вползти? Мол, штобы поглядеть, как они спят? По головам счесть? Растеря-лись. Опять переглядываемся. Шляхтин весь колыхацца. Как в падучей. Руку на

ручку положил. Ручка забавная. В виде птичьей башки. То ли павлин, а то ли орел. Орел! Царская, значитца, ручка. Медно, красно блестит в ночи... Кровь, Мишка, везде кро-о-о-овь...

Бормотал все тяжелей, все тише. Стискивал бутылку кулаками. Дышал в нее, как в чей-то чужой женский рот перед поцелуем.

— А пароход, едрить его, все идет... Тарахтит... Машины скрежешут... Маслом машинным пахнет... Чую, горячо, жар там, внутри, в железном брюхе... Идет... Живет... А мы щас снасильничам этих девок, голубую кровь энту — и што?.. они назавтра все — вот те крест — с палубы в темную воду попрыгают... на дно, к ракам... Э-э-э-э, думаешь, я спужался?! Да ништо! Никогда еще Сашка Люкин не пужался! И другим не советовал! Я руку Шляхтина... с медного орла стряхнул... как крошку... и сам руку... на энту ручку... положил...

Лямин уже слышал голос, будто сквозь печную заслонку.

— И нажал... Повернул...

Лямин будто спал уже, а и не спал.

Глаза открыты, а разум улетел.

— Слышу: сопят за мной... Войти хочут... Меня вперед толкают... плечом напирают... Энто Куряшкин, плечом-то... И вдруг... хлобысь!.. валицца будто мешок с камнями... бух на пол... и звон, трезвон... бутылка по полу катицца... Пуста-а-ая... Я ничо не понимаю, а стрямко мене... Выгнул шею-то — а сзади... Шляхтин — без почуха свалилсь... И бутылка по пароходу катицца... прочь...

Обоими кулаками крепко сжав, поднял бутылку и допил остатки. Глотал быстро и крупно. Пил, как воду в жару.

— Куряшкин меня в скулу кулаком сунул: ну, ты... войдешь?! Оттиснул от двери... сам шагнул... и за порог сапогом зацепился... и тоже растянулся... ругается скверно... я ему — сапогом — на хребет наступил... давлю: ты, хватит!.. поигрались... попрыгали в кроватках с царевнами...

И вдруг вскинул голову и громко, отчетливо, как и не опьянел в доску, прокричал, будто с трибуны народу:

— В бога! Душу! Мать!

Голова Лямина отделилась от шеи и поплыла в мрачном прокуренном воздухе сама по себе. Смотрела на все сверху сизыми, цвета водки, глазами. Все наблюдала. Примечала.

Голова видела сама свой затылок, без надоевшей фуражки, мокрый от ужаса лоб, и как Сашка допивает водку, и бутылка выпадает у него из рук стеклянным клубком и катится, а кошки нет, чтобы поймать; а где-то рядом, в комнатах, лежит этот мальчишка, истекает вечной кровью, а может, не лежит, а плывет, и вокруг него спасательные круги на стенах каюты, и скрипит зубами матрос Нагорный, скрипят винты в пазах, трещит обшивка, лязгают железные кишки в трюме. И эти девочки. Они плачут, обнявшись, но так, чтобы никто не услышал.

— Шаги... Рядом... Командир... Он же не спал... На ветру стоял... Так вашу так! Товарищ Родионов, виноват! Расстреляйте! Ты... хрипит... тащи его... за ноги... а он уже?.. али ишо... А я ему: не знаю, товарищ командир... откуда я знаю...

Ветки плыли мимо. Ночь плыла и плескала в лицо, охлаждала волной плывущую голову. Пьяным соловьем шелкало, заливалось сердце. Вот-вот тоже выйдет из груди, рассмеется и поплывет.

— Мы — пьяные... пья-а-а-аные... нам все прощают... потому что мы-и-и-и... пья-а-аные... И нет на нас управы... а зачем управа?.. кто ее выдумал?.. мы сами себе управа... и так отныне будет всегда... во веки веков... аминь!.. к лешему... надрался я...

Икнул.

— Я оттащил... в угол... сперва Шляхтина... потом Куряшкина... а може, наоборот... а какая разница?.. оттащил — и свалился на их... сам упал... Командир меня обкостерил сверху донизу... голосом отхлестал... а я только вздрагивал... блаженно... И засыпал... — Люкин упал носом в свою блевотину. Поднял чугунную голову и стряхивал грязь ладонью, как кот, умывался лапой.

— А утром... што утром?.. утро как утро... Обычное утро... Водичка под солнцем блестит... Весело идем, ходко... Чайки выюцца за кормой... Мы винтовки вынули... пулеметы на палубу выкатили... и давай в птиц стрелять!.. Охота же... Любо... Ну, любо... Мужики же мы... али кто... нам только дай пострелять... хлебом не корми... напутал я... к лешему-кикиморе!.. Прицеливался, в чайку попадал точно, в грудку ей... она падала... крылья сложит и камнем вниз... в волны... а волны — трупик несут... Кричат они противно!.. Противные птицы!.. Гадкие!.. Из пулеметов — по чайкам... пли!.. Всех перестрелям!.. всех!.. все-е-е-е-ех... И никто нам не указ... На виселицу нас тащите... на плаху... к стенке... а мы все равно — вас всех — перестрелям... вас!.. кто посягат на нашу свободу... на нашу!..

Голова Лямина, ее уши внезапно услышали донесшееся из глубокой глубины, из дальней дали: «Эх, эх... без креста... Тра-та-та...»

...Это в Губернаторском доме, в зале, на маленькой нищей сцене, заезжий артист из Петрограда читал царям новомодные стихи. Как его пропустили к пленникам? А может, он шпион? Обыскали тщательно. Лямин сам обыскивал. Оружия нет при себе? А тайных писем? А режущих и колющих предметов? Правда ничего нет? Ну, мы проверим...

Сашка Люкин окончательно уронил башку на стол. Щекой лежа на столе, бормотал последнее, бредовое:

— Дочки убийцы... Убийцы... Распять их... вытрепать... и убить... А ключ-то в замке трещит!.. Кто закрывает каюту?.. кто приказал?.. кто... на ночь?.. до утра?.. Но утро, утро уже... утро... утро...

За окнами светлело. Холодное снятое молоко майского рассвета лилось в комнату. Лямин выдыхал перегар и страх. Ему стало беспричинно весело. А голова? Опять приросла к шее как ни в чем не бывало. Вернулась.

Только плицы, эти чертовы пароходные плицы, зачем они все шлепают по воде?

* * *

— Начальник охраны Павел Еремин!

— Я.

— Отобрать у всех, у кого имеются, револьверы системы «наган»!

— Есть отобрать.

Еремин двинулся выполнять приказ.

Он его выполнил.

Револьверы он собирал в большой кожаный ягдташ.

Притащил их в комендантскую. Юровский, подняв плечи, будто мерз, стоял около рояля. На нем была неизменная тужурка, застегнутая на все до единой пуговицы.

— Холодно, — поехался Юровский, — на улице пятнадцать градусов.

— А разве это холодно? — удивился Еремин.

— Давай сюда наганы.

Юровский указал на письменный стол.

— Но тут же документы! Как бы не попортить, товарищ комендант.

— Тогда давай сюда.

Кивнул на роляь.

Господская игрушка, музыкальная забава. Тоже попортит, но кто об этом теперь думает! Пальчики великих княжон не будут бегать по черным, белым этим костяшкам.

— Павел. Ты все понял?

— Да. Все.

Еремин стоял — мрачнее только туча грозовая.

— Сегодня!

— Я понял.

— Сейчас! Скоро!

— Всех?

Голос Еремина железом царапнул по лицу, по груди Юровского.

— Да. Всех! Всю семью.

— А доктор? Слуги?

— Всех, я сказал.

— Понял.

— Пойди предупреди солдат, чтобы не паниковали, когда выстрелы раздадутся.

— Сказать, что будем расстреливать?

— Сказать, что это мы, мы будем стрелять. Охранник Стрекотин на посту?

— Так точно.

— Стрекотина — ко мне!

Еремин отлучился. Привел Стрекотина. Юровский кинул на приведенного быстрый взгляд.

— Ты ведь пулеметчик.

— Так точно, товарищ комендант.

— Ты все помнишь, о чем я тебе говорил?

— Так точно.

— Твой пулемет где?

— На окне стоит. Я при нем.

— Молодец. Ступай.

...Пулемет излучал холод. Андрей Стрекотин стоял рядом с пулеметом навтыжку, как на параде. Напряженно слушал звуки Дома. Разные звуки, то хилые и слабые, то резкие и страшные. Он не мог сложить звуки воедино, кубики звуков распались, и со дна мешанины звуков вдруг поднялись и совсем рядом раздались шаги. Человек быстро сбежал по лестнице. В руке зажат револьвер.

Еремин подбежал к Стрекотину и всунул ему револьвер в потную ладонь.

— Наган? Зачем? У меня ж пулемет.

Стрекотин заглянул в лицо Еремину. Зачем он это сделал!

— Расстрел... скоро.

Повернулся. Ушел. Стрекотин ошалело глядел Еремину вслед.

Быстро положил револьвер на подоконник. Пристально, долго на него смотрел.

Положил руку на пулемет. Потом другую. Обеими руками обнимал пулемет, как женщину.

Опять топот по лестнице. Еще идут. Еремин, Медведев и с ними Никулин. И Лямин. И за ними — люди. Высокие, широкоплечие, сивые. С холодными лицами. Среди них — такой же холоднолицый, да только малорослый. Сивые пряди лезут на глаза из-под фуражки. Меж собой говорят по-чужому.

Стрекотин считает людей: пять, шесть, семь, восемь. Никулин отворяет дверь комнаты, около которой Стрекотин обнимает пулемет. Комната, что в ней? Пустая.

Латыши, Еремин, Никулин, Лямин и Медведев входят в нее и плотно закрывают дверь за собой. Стой, сиротливый Стрекотин, обнимай пулемет. У каждого этого силового коня в руке — наган.

Облизнуть сухие губы. Водки бы выпить!

Не водки — воды. Целый жбан.

Пить и пить, пока не лопнешь.

Дверь наверху хлопнула, а Стрекотин так вздрогнул, будто в него выстрелили.

...Латыши осматривались в подвальной комнате. Мало места. Наползают друг на дружку стены. Гром сапог поутих. Кто-то сел на пол. Курить тут комендант запретил.

У всех латышей были имена: Ян, Витольд, Генрих и еще такие же заковыристые для русского слуха; и они окликали друг друга по именам. Лишь одного почему-то кликали прозвищем, по-русски: Латыш.

Все рослые, а этот плюгавый. Недорослый, и слишком тощий. Такая тощая маленькая собака, до старости щенок. Шея вытянутая и хрупкая, как у девчонки. А руки неожиданно, устрашающе большие и сильные. Такие руки — быка задушат. Зло просвечивало во всем его остром, испитом лице, в сивых жирных прядях, торчащих из-под обода фуражки; он наводил неясный страх. Белые пряди, будто седые. А может, и поседел; мудрено, видя столько смертей и самому убивая, остаться молодым и веселым.

Беловолосый, четкий, жесткий. Рослые к нему, малявке, оборачивались и перед ним вытягивались, как перед командиром.

Латыши перекинулись парой слов и замолчали. Револьверы, нагие, у них в руках. Только у Латыша на боку, в кобуре. Огромные руки стащили с головы фуражку, растерли шею и пригладили, прилизали белые спутанные волосенки.

Латыш обвел всех белыми глазами. Улыбнулся щербато. Длинные зубы, длинные и резцы, и клыки. Веснушки на птичьем носу-клюве собрались в грязный комок.

— Что примолкли? Бойтесь?

Стрелок, сидевший на полу, покачал головой.

— Разве можно так спрашивать. Глупый ты.

— А я никогда и не был умным, — блеснул глазами Латыш.

Так в забое мигает свет шахтерского фонаря.

— Какая пустая комната! — воскликнул молодой латыш, держа наган на раскрытой ладони, как мертвую черную птицу. — Все вещи, что ли, отсюда вынесли?

Сидящий стрелок рассматривал револьвер у себя в руках.

— Хорошее оружие. Как у нас его много! Мы победим.

Латыш усмехнулся, а сидящий отвернулся, чтобы не видеть его усмешку.

— Ты в этом уверен, Роберт?

— Вот расстреляем сейчас русских владык, и все как по маслу пойдет.

Латыш прищурился.

— Как по маслу? А масло не прогоркло?

— Что за разговоры, — вмешался длинный, журавлем стоявший на смешно вытянутых ногах, до потолка головой достающий чекист. — Не сейте в публике панику.

Хрипло засмеялся.

— Эх, жаль, нельзя курить.

— В публике? В палачах, ты хочешь сказать?

Молчание обхватило всех крепко, как после разлуки. Губы на крючок, зубы на замок.

И молчали, темно и страшно, уже все: и Латыш, и Роберт, и длинный журавль, и все эти рослые крепкие люди, заброшенные в чужую страну, большую и странную, для того, чтобы ее ненавидеть, вспахать, убить и перековать.

И чтобы никто никогда не узнал, что тут была Россия; это будет иное государство, с иной властью и иными, лучшими и чистейшими, людьми.

А может, власть будет другая, а люди все те же: подлецы, предатели.

...Старуха приподнялась на локте и нежно смотрела на лицо спящего мужа. Он спал крепко и сладко. Быстро засыпал, как всегда, а если разбудить — по-военному быстро открывал глаза и стремглав вскакивал с постели. И первым криком всегда было: «Солнце мое! Ну что, проспали? С добрым утром!»

До утра далеко.

И далеко, очень далеко отсюда стреляют; это артиллерия. Скорее бы. Скорей.

Легла навзничь на тошую подушку, а сон не шел. Может, и не придет сегодня. У нее часто бессонница.

За слепым стеклом окна затарахтела машина. Тяжелый грохот; видать, грузовая. Может, это им дрова привезли? Лето уральское странное, то жара, то холода, а ведь осень грядет. Через месяц-полтора здесь, говорят, уже первые заморозки.

Сердце билось ровно, но странные боли вот здесь, в подреберье. Как доктор Боткин говорит: шалит верхушка. Почему верхушка у сердца — внизу? Когда она сдавала экзамены на сестру милосердия, она досконально изучила книгу Дмитрия Зернова «Анатомия человека». Она все прекрасно помнила: правое предсердие, левое, правый и левый желудочки. Желудочковая аритмия самая опасная. Фибрилляция предсердий — с ней еще можно жить. Но, как смешно говорит ее Ники, мужлан и солдафон, хрен редьки не слаще.

Улыбка сморщила губы. Милый! Как он спит. Как сын на него похож.

Легкие, лепестки в тысяче кровавых пузырьков, полные воздухом. Трубка трахеи, бальные роскошные веера бронхов. Бронхит — это вылечивается, а бронхоаденит — не всегда. Она перевернулась на живот. Постель грела слишком сильно и странно, она лежала как на углях. Опять легла на спину. Пружины трещали. Суставы, сочленения костей, двуглавая мышца бедра, бицепсы и трицепсы. <...>

...Кожа и кости, нервы и мясо. Раненые в ее госпиталях, как стонали они на койках своих. И она подходила и клала им руку на лоб, и они просили ее: вот так поддержи, сестричка. Сестричка! Они не знали, что она — царица. И ей было все равно. Ей даже радостно было, что они этого не знали. Не все человеку надо знать. Вот никто не знает часа своего; и это правильно.

Забинтовать рану. Наложить сначала марлю, пропитанную спиртовым раствором, потом вату, потом обмотать стерильным бинтом. Витки бинта ложатся, белая живая спираль вьется, успокаивает. Это как гипноз. Больной верит, что он выздоровеет; а ты веришь в то, что вылечишь его.

А ты помнишь, как они умирали? В тех твоих палатах бессонных, слишком чистых, тобой же и вымытых, — помнишь?

Стонали. Выгибались. Кусали, рвали зубами простыни. Орала, не стерпя мучений. Хрипели. Отходили. Ты садилась к изголовью, брала уже покрытые липким чужим потом руки, отирала мокрые виски. Шептала: да примет Господь с миром чистую, безгрешную душу твою. Ты сама им грехи отпускала. Священник уже не успевал, да и не успел бы. Смерти приходили внезапно, их нельзя было уследить, рассчитать. И ты была одна за всех. За батюшку. За врача. За сиделку. За мать, — ее умирающий звал искусанным, вспухшим, запекшимся ртом.

Мама! Мама! Ты где? Мне больно!

Я тут, шептала ты, я тут.

И наклонялась, и целовала умирающего бойца так, как целовала живого, любимого Ники.

Ники, прости мне! Я их всех целовала. Но я же целовала их души! Предсердия и желудочки упустили ритм, а душа-то жила, и она все видела и радовалась: вот он, последний поцелуй, последняя чистая любовь.

А ей кто даст такой последний поцелуй, когда она будет умирать? Кто? Ники? Дети? Нельзя об этом думать. Воображать, где и как ты умрешь. Это запрещено. *Verboten*.

Муж простонал во сне. Она провела ладонью по его лбу. Боже, и он вспотел. Кто так щедро натопил печь? Теперь, летом? Эта кухонная баба, Прасковья? Но почему ее вдруг трясет, будто в лихорадке, в инфлюэнце, и больно и трудно глотать, и бежит к ней ее вечная мигрень, вот она, боль, рядом, и дня без нее не прожила, соскучилась!

Старуха положила руку себе на лоб. Закрыла глаза. Мы не знаем, отчего глаза видят, а уши слышат; тело — такая же загадка, как и душа, и жизнь — загадка, и время — загадка. Что там будет с нами после смерти? Господи, Ты один о том знаешь.

Опять грозно зарычал мотор и смолк. Во дворе не спали. Ну, у них, у охранных, свое хозяйство. Они их, убивая и мучая, берегут. Это так трудно совместить.

...Ермаков, со всклокоченными адскими волосами и взглядом обезумевшего от одиночества филина, глядел сквозь стекло кабины грузовика. Подъехали к Дому. Окна горят в первом этаже. Во втором — темень, спят.

— Кто идет? — давленно крикнул у ворот караульный.

Ермаков грубо распахнул дверцу.

— Трубочист!

Караульный загремел цепями и задвижками и открыл ворота.

— Въезжай!

Шофер подрулил к темной стене, мотор встал.

— Выходи, — сказал Ермаков шоферу тихо и жестко, — иди прочь и не оглядывайся.

Шофер, смерив Ермакова потрясенным взглядом, вывалился из кабины, как куль с мякиной. Потрусил к воротам. Исчез за ними.

Ермаков выпрыгнул из кабины и подошел к кузову.

— Эй ты! — Задрал патлатую башку. — Кудрин! Ты тут жив или нет?

— Жив.

Через борт кузова перекинул ногу человек. Ловко спрыгнул на землю, присел, спружинив ногами.

— Вот он я.

— Как настроение?

Ермаков жег Кудрина зрачками.

— Боевое. Какое ж еще?

— Это славно. У меня тоже!

Оба враз хлопнули друг друга по плечам.

— Сегодня великая ночь. О ней потом напишут в учебниках истории. Наши дети и внуки будут про эту ночь читать. А мы с тобой, ха, ее делаем. Вот этими руками.

— Да. Этими.

Кудрин поглядел на свои руки. Руки как руки. Плоские живые лопаты.

— Чур, царь мой, — сказал Ермаков.

Воздух со свистом выходил сквозь его зубы и ощеренный рот.

...Юровский шагнул в комнату, где ждали латыши. С Юровским вошли Петр Ермаков, Григорий Никулин, Павел Медведев, Михаил Кудрин и еще один — пулеметчик Алексей Кабанов. Все держали в руках оружие. У всех лица были чернее земли.

— Все в сборе?

Хриплый голос Юровского хлестнул воздух над головами.

— Все, — спокойно, даже лениво ответил Латыш.

— Хорошо. Готовы?

— Да.

— Нет!

Вперед шагнул сначала один рослый сивый латыш в фуражке, за ним другой, с голой соломенной головой.

— Это что еще?!

Тот, что впереди стоял, наклонился и положил на пол наган.

— Не буду стрелять в женщину и детей, — сказал, ломая язык.

Тот, что сзади, тоже вперед вышагнул и тоже револьвер на пол бросил. Железо лязгнуло.

— И я не буду... стрелять... в русских царьей.

Юровский сжал кулаки до побеления. Он не был готов к такому повороту. Но вот он, поворот; и срочно надо развернуть это авто и погнать туда, куда надо. Иначе все рухнет. И костей не соберешь.

— Йимах шмо вз-зихро! — Он выругался по-еврейски. И еще раз, по-русски, выхрипнул: — Проклятие!

Не двинулся с места. Сейчас главное — не заварить кашу паники. Бунт на корабле?! Ну это мы еще поглядим.

— Идите вон.

Старался быть спокойным. Латыши четко, жестко пропечатали шаг к двери. Вышли.

После них в комнате остался сложный запах махорки, пороха, пота и свежей васы. И кваса. И отчего-то — аптечной ромашки. Дверь моталась чуть приоткрытой, и в щель из коридора дул сквозняк. Шевелил безумную волосяную поросьль на голове Ермакова.

— Возьми быстро из охраны! — крикнул Ермаков.

— Сам знаю. Никулин! Быстро приведи сюда, — соображал на ходу, — Люкина... и...
Лямина.

— Сейчас.

Никулин скрылся. Слышен был детский, медвежий топоток его сапог. Потом шаг замедлился, отяжелел. Половицы скрипели.

...Лямин стоял на посту. Пост номер три. Он все помнил, но как будто ничего не помнил. Так разуму было легче: знать, но не помнить. Или наоборот: помнить, но не знать.

Топот. Чьи-то тяжелые сапоги. Или тяжелый человек так тяжело, грузно идет. Никулин.

— Привет, Григорий, — холодными губами сказал Лямин.

Никулин злобно глядел на его красно-рыжую, без фуражки, голову.

— Идем, — загреб воздух согнутой рукой.

Лямин нагнулся, повернулся и поднял фуражку с пола. Нацепил на огонь волос. Пошли оба. Быстро, молча. Лямину винтовка стучала о лопатку.

«Что случилось? А что-то уже случилось».

Старался дышать не шумно, размеренно. Однако внутри все заколыхалось — так ураганный ветер гнет и трясет деревья, стремясь вывернуть с корнями.

Вошли в подвальную комнату с полосатыми обоями. Лямин увидел людей, и у всех в руках — наганы.

«Так вот как оно все это будет-то».

Сил не было даже слюну проглотить. Дышал носом, потом ртом. Легкие словно слиплись, так с трудом раздвигались при вдохе. Зачем-то здесь стоял еще и Сашка

Люкин. Сашка был лицом белый, будто щеки ему вымазали известью. Закрасили, как царское окно.

Юровский шагнул к Лямину и вложил в его руку наган.

— Держи. Будешь казнить.

Михаил зажал револьвер в холодной и потной руке. Ермаков стоял рядом с Юровским и держал два револьвера, в каждой руке — по нагану.

«А два-то зачем?» Внезапно понял. Сашка глядел на Михаила загнанным зайцем. «Сашка, какая я тебе сейчас помощь! Мне бы кто нынче самому помог». Все крепче, бесповоротней сжимал наган. Старался стоять на раздвинутых ногах крепко, влитом, чтобы не упасть. А пол ходил под ногами палубой в непогоду. Еще сильнее сжал — и решился. Как трудно было это произнести! Но он произнес. Каждое слово выдавливал отдельно и, сказав, ждал. Чтобы сил для другого хватило.

— Я. Не буду. Стрелять.

Наган сам вывалился из руки и грохнулся об пол. Мишке показалось — пол сейчас разверзнется, аки земля на Страшном суде, и в трещину провалятся все они, тут стоящие, и адские гады и огонь подземный весело, торжествуя, их пожрут.

Юровский неожиданно ловко и быстро наклонился и поднял наган с половиц. И опять терпеливо, будто втемяшивал дитенку трудный урок, втиснул оружие обратно в руку Лямина и сам загнул, чтобы держали крепче, и зло сжал его бесчувственные пальцы. По лицу Юровского сначала бродила, потом застыла ледком ночного заморозка дикая усмешка.

— Нам не нужны труссы.

Мишка хотел крикнуть: нет! — и увидел, как Юровский расстегивает кобуру.

«Все. Мне конец».

Наган обжигал ладонь то льдом, то пламенем. Это уже не оружие было. Что он держал? Он не знал. И лиц этих людей он не знал. Он их только мучительно вспоминал и вспомнить не мог.

Юровский уже вынул свой револьвер из кобуры. Не сводил глаз с Лямина.

— Я не трус, — сказал Лямин чужим, не своим голосом.

— Ну вот и отлично, — Юровский засунул револьвер обратно в кобуру.

«Поговорили».

Безумный Ермаков, волосы у него на голове шевелились черными змеями, а глаза выпучивались чудовищно, совсем уж страхолюдно, подступил к Сашке Люкину и тоже вложил ему наган в ладонь.

— Все понял?!

— Нет! — закричал Сашка и вправду как в тайге подранок.

— Ну так сейчас поймешь!

Теперь Ермаков выхватил из кобуры наган и прислонил ствол ко лбу Люкина.

— Или ты, или они!

— Выбора нет, — на ломаном русском неожиданно, тихо и скрипуче, сказал Латыш из угла комнаты, там он на корточках сидел у стены, — это приказ! Жить хочешь? Будешь стрелять!

Сашка заплакал, как ребенок, и тихо, медленно согнул колени и тоже опустил ся на корточки. Так сидел, и плач был, а слез не было. Только трясся. Со стороны поглядеть — человек смеется: то ли над собой, то ли кто удачно пошутил.

...Михаил не знал, что полчаса назад тут, в этой же самой комнате с полосатыми обоями, на стол положили пистолеты и револьверы Павел Еремин, еще три стрелка и Пашка Бочарова. Еремин, глядя раскосо и жестко, медленно выговаривая слова по слогам, отчеканил: каз-нить не бу-ду. Выковырял наган из кобуры и брякнул об

стол. Пашке всучили маузер, она долго вертела его, разглядывала длинный ствол и черную коробку магазина. Усмехнулась. Стерла усмешку с лица, шагнула к столу. Швырнула маузер. Что она сказала тогда, глядя глаза в глаза Юровскому, — Лямин никогда не узнал.

* * *

Лямин косился на Алексея Кабанова. Меж солдат ходил слухок: Кабанов когда-то царским гвардейцем служил. Лямин однажды пристал к Кабанову: скажи да скажи, в каком полку у царя состоял. Кабанов нехотя ответил: в Конном, только ты больше никому из наших не брещи, ладно? Лады, ответил Мишка и сдержал слово.

Кабанов тоже косил глазом, как конь, на Михаила.

«Он видел мою трусость. Черт, да это ж разве трусость! Я — и царей казню! Непредставимо».

«Да ты же сам согласился... там, в гостинице... на сговоре...»

«Лучше бы тогда не согласился. Лучше бы тогда убили».

«Не ври себе!»

Кабанов вертел револьвер в руках. Рассматривал его, потом опять взглядывал на Лямина. Шагнул к Мишке.

— Ты не дрожи.

— Я не дрожу.

— Дрожишь, я же вижу.

— Ты по-прежнему с пулеметами? Начальником?

— Да. Стрекотин под моим началом.

— Видишь, как все... — Лямин сжимал наган и уже не чувствовал его в онемелой руке. Ни железа, ни механики; ни тяжести; призрак один. — Вышло.

Кабанов повел головой вбок, как цапля на пруду.

— Да еще ничего не вышло.

— Разговоры отставить! — крикнул Юровский.

И придавило, как падающий неотвратимо потолок, молчание.

— Я пошел будить их!

Юровский прошагал к двери. Они, все двенадцать, смотрели, как он выходит.

Смотрели на дверь, как в церкви люди смотрят на икону.

Через минуту они услышали по всему Дому электрические звонки.

— Будит, — бесслышно выдавил Сашка.

«Сейчас встанут и оденутся. Это еще минут пятнадцать. Еще долго».

Минуты стали растягиваться в месяцы, в года, и это было прекрасно.

...Звонки гремели, человеческий твердый, костяной кулак настойчиво стучал в дверь.

За дверью — шаги. Почти неслышные, мягкие. Тот, кто шел к двери, шел в домашних тапочках. Дверь отворилась.

Доктор Боткин на пороге стоял отнюдь не заспанный. Да, в домашних туфлях, но не в шлафроке — в легком пиджаке, в летних светлых чесучовых штанах. Будто посидеть собрался на пляже, под белым полотняным зонтом.

— Доброй ночи, товарищ комендант. Однако поздно!

Ни удивления, ни радости на лице. Спокойно лицо и бестрепетно.

Фельдшер стоял перед доктором и вдруг испытал громадной силы унижение и дикий, нечеловеческий гнев: он все равно выше! Все равно! А я, я — ниже!

Унизить. Мордой — да в навоз. Хорош их навоз, смерть! Навознее не придумать кучи.

— Срочное дело.

— Какое?

За спиной доктора виднелся неубранный стол, и на столе — свеча и лист бумаги.

— В городе волнения. Ждем с минуты на минуту военных действий. Вас всех необходимо переселить из ваших комнат вниз. В подвал. Там вам будет безопаснее. Быстро одевайтесь и пойдете.

Боткин оглянулся на недоконченное письмо.

— Хорошо. Я сейчас разбуду всех. Сладко все спят, ведь глубокая ночь.

И опять ни трепета, ни испуга, ни изумления на вежливом, добром и спокойном лице.

Как великолепно владеет собой, обозленно думал Юровский.

Боткин постучал в спальню царей. Распахнул дверь и вошел.

Царица лежала на спине, с закрытыми глазами. Боткин подошел к кровати и осторожно потряс ее за плечо.

— Ваше величество. Проснитесь. Проснитесь.

А проснулся царь. Он уже глядел на доктора глазами крупными, плывущими, водяными, бессонными.

— Доктор. Милый. Что стряслось?

Боткин прерывисто, как ребенок после плача, вздохнул.

— Ничего страшного. Ждут входа войск в город. И боятся. Нас приказали перевести в нижний этаж. Приготовили комнату. Придется встать и одеться.

— Среди ночи, какая жестокость.

— Это не жестокость, ваше величество, а необходимость военного времени.

Царица охнула, перевернулась на бок и открыла глаза.

— Где я?

— Дома, родная, дома.

Царь поцеловал ее в лоб.

...У Лямина слух обострился неимоверно. Он стоял около открытой двери, глядел на полосатые обои. Слышал, как наверху Боткин громко говорит: «Ну вот и хорошо, и все проснулись!»

...Ему казалось — он слышит шорох ее снимаемой, сдергиваемой с груди и плеч ночной сорочки. Слышит, как волосы, увязанные на ночь, выползают из-под повязки, текут на плечи. Слышит, как она тихо и стыдливо зевает и тут же закрывает рот.

Слышит, как она говорит какой-то из сестер: «Завяжи мне здесь!»

Кому? Ольге? Татьяне?

«Где? Где тебе завязать? А лучше б развязать».

Почему-то не только слух обострился. Он ярко и ужасно понял — сейчас ее не будет, скоро, вот уже через час, через полчаса, — и понял, что этой потери не возместит ему никто: ни Господь Бог, ни революция, ни светлое будущее, до которого — палкой не добросить; никто из людей, известных ему или еще неизвестных.

«И ни обнять. И ничего уже не сказать».

Он ощутил проклятие мужчины, проклятие летучего, беглого зачатия и потом — одиночества; проклятие расплаты за несколько секунд великой боли-радости — а платить надо всем самым дорогим и тяжелым: сердцем, разлукой, жизнью. А жизнь, она и есть время. Где оно сейчас? «Эй, время, где ты?» Не идет. Встало.

«А я даже с ней не переспал. Не сумел».

...Вдруг ясно, остро понял: и это даже хорошо, что не переспал, и понял еще: спанье это людское, это совместное колыханье в койке — это не самое важное;

что-то еще должно быть сверху этого, над этим, какой-то ясный негасимый свет, и если этого верхнего света — над людскою случкой — нет, значит, и ничего нет, никакой любви и никакой памяти.

Не слухом — нутром, печенками всеми слышал, как одеваются все они. Толпятся живой ночной мошкаррой, людским комарьем. «И то правда, человеки — те же мошки, пчелы, муравьи. И приходит время-великан, и наступает ногой на все наши людские выдумки, дома, любви, и рушит все, и растаптывает».

Зашептал невнятно, бредово:

— А я заяц, ухо с палец... А я волк, зубами щелк... А я мышь, из угла в угол кыш...
А я медведь, вам всем пригнетыш...

— Полчаса уж вожжаются, — вспыхнул рядом махорочный огонек Сашкиного голоса. Лямин шатнулся.

— Эй, друг, ты што?.. уже принял?

— Уйди ты.

— Э, не клацай зубенками. Уж поздно. Нету назад дорожки.

Лямин услышал голос Юровского:

— Ну все? Оделись? Ступайте к лестнице!

— Глаза бояцца, руки делают, — тоскливо, серо сказал Сашка.

Они спускались. Он слышал шаги. Шагов много. Нестройные. Шли тихо, а Лямину казалось — бьют в барабаны. Это бились внутри него его потроха. Вся революция сделалась странно маленькой, померкла, гляделась козявкой, ничтожным дельцем, ради которого не стоило и огород городить. Малой дитячьей забавкой — рядом с тем огромным и страшным, что им предстояло сейчас совершить. Еще было время уйти от этого; не совершать этого. А как? Было несколько выходов, и все эти выходы Лямин живо прокручивал подо лбом. Лоб соображал туго, словно с натугой и скрипом двигалась старая, век простоявшая в конюшне телега.

Выход первый: убежать. «Куда? Все ходы перекрыты. Через забор буду сигать — меня на постах увидят, моментом подстрелят. Посты-то ведь никуда не делись». Выход второй: уже наотрез отказаться, встать перед Юровским и бросить наган на пол. И ждать, пока он вынет свой и застрелит его. Еще третий выход был: застрелиться самому. Вот, пожалуй, и все, и все три выхода — под пули. Ни одного — под жизнь и воздух. «Проклятие. Чепуха какая. А как все это случилось?»

Жизнь внезапно и резко отмоталась, как пленка в синематографе, назад, и он увидел себя — в Буяне; себя на фронте; себя в рядах Красной гвардии; себя — в Тобольске, и вот здесь. Рядом призраком моталась Пашка. Ее лицо вдруг засветилось и взорвалось прямо перед ним, и он зажмурился от вспышки. Пашка! Она где-то рядом. Сколько с ней пройдено всего! С виду немного, но каждый из этих дней с ней за год сойдет. Но как же он оказался здесь, вот именно тут, в Доме? «Последний их Дом. А может, и для меня последний». Думал о себе холодно, отстраненно. Как не о себе.

Да, он не знал, как все это получилось. Не понимал. Дороги сплетались и перегибались, схлестывались. Разбегались. Делали петлю и снова возвращались к старому. Нет, это новое искусно притворялось старым. Ничего нет того, что повторилось бы.

Он не понимал, где он ошибся, куда неверно ступил; везде было болото, и везде, куда ни сунься, было только с виду бодро и радостно, а копни — там гниль, измена, предательство. Обман. Ложь. Много он видал лжи. И она все никак не умирала. Умирили люди, их убивали, и чем дальше, тем свободней и бестрепетней, — а вот ложь — оставалась. Живучая. Наглая. И люди друг перед другом изошрялись, чтобы обмануть повыгодней, чтобы приукрасить серое, гадкое и дохлое. «Боже! Господи!»

Шаги, смешиваясь и дробно переплетаясь, раздавались совсем близко. Голос Юровского крикнул:

— Стойте здесь! Ждите! Я сейчас!

И раздались только одни шаги. Юровский шел.

...Латыши стояли густым высоким лесом и правда смахивали на мачтовые корабельные сосны. Сапоги Юровского подгрохотали к двери. Лямин еще не видел у него такого лица: глаза и губы узкие, почти татарские, скулы каменные, как у памятника.

— Всем перейти в соседнюю комнату, — сказал Юровский быстро, тихо и хрипло. — Только тихо. Сапогами не греметь. Оружие на пол не ронять.

Сначала латыши, потом Никулин и Ермаков, потом Кабанов и Медведев пошли к двери. Последними вышли Сашка и Лямин. Сашка воровато сунулся к Михаилу и еле слышно шепнул:

— Вот бы сейчас бы!

«Сбежать. О том же думает, о чем и я».

Соседняя комната — это была кладовая. Там, где Пашка сказала ему о ребенке. Ребенок — это же бред и сон. Это тоже наглая ложь. Живот у нее не растет, и пятен на роже нет, и вертит она задом перед мужиками. Ему казалось: ребенок — это что-то святое, и женщина тут же должна сделаться и чистой, и важной, и спокойной и двигаться не в мире, а над миром. Ведь она носит жизнь. А тут — все та же Пашка; и все то же ее тайное, он только знает какое, бесстыдство, распутство.

Они все ввалились в кладовую, и латыши — они шли первыми — тут же наступили на иконы. Дерево хрустело под подошвами, под каблуками. Латыш, тот, белый и плюгавый, нагнулся, выдернул из-под сапога треснувшую пополам икону святителя Николая.

— А! Николка!

Повертел икону в руках. Притворился, что хочет зашвырнуть в угол. Сашка в ужасе схватил его за руку.

— Дурак ты! — зашипел. — Велено же тише!

— Сам дурак, — сказал Латыш и показал желтые, длинные, лошадиные зубы.

Одинокие шаги стихли, и послышался опять хор шагов. И хор голосов. Они шли и переговаривались меж собой — тихо, по-ночному. Кто по-русски, а кто и по-татарбарскому.

Никулин сел на пол кладовой. Рядом с ним тускло светился кирпично-темной медью баташовский самовар. На бок самовара падал луч света из дверной щели. Никулин пощелкал ногтем по погнутой старой меди, испещренной ямками и клеймами.

— Ишь ты... с медалями... тульский...

— А вот на Урал залетел.

Павел Медведев тоже звонко щелкнул ногтем по медному выгибу.

— Эй, кончайте стучать.

Кабанов сделал грозное лицо. Никулин погладил самовар, как кота.

— Да ладно тебе.

Лямин и Сашка стояли у двери. Не садились ни на пол, ни на старые стулья и кресла. Иные стулья были перевернуты, ножки торчали вверх. «Это не стулья. Это мертвые козы, свиньи, лошади. Телята. Валяются. Это мы их убили».

Латыш шагнул к Лямину и сказал, вроде как не Лямину, вроде в пространство:

— Там перегородка деревянная. Хорошо. Не будут пули отскакивать.

Лямин глядел ему в лицо, не понимая ни слова. Латыш ухмыльнулся и стал еще противнее.

— Рикошетов не будет.

Лямин сделал вид, что не понял, хотя теперь он понял все. Латыш говорил по-русски с ужасающим акцентом.

...Они шли — так идут вокруг церкви крестным ходом.

Впереди шел царь. Он нес Алексея на руках. Царь в гимнастерке, и сын тоже. На головах военные фуражки. Мальчик так любил военную одежду. Он воображал себя полковником, подобно отцу; и все свое детство проиграл в войну, в солдатики.

Два оживших солдатика из его старинной царской игры. Оба в военной болотной амуниции; оба воины. Но зачем они так смиренно идут? Воин должен сражаться. О, иногда воин и молится. Например, перед дальней дорогой. Или перед тяжелым боем.

Аликс и девочки — что они могли надеть спросонья? Только платья, без кофт, жакетов и плащей; их же никуда не везли, им просто приказали перейти в нижнюю комнату, и все.

— Евгений Сергеич, я не поняла, что сказал комендант?

— Он сказал, что всем нам надлежит сфотографироваться. На всякий случай, ваше величество. Мало ли что.

От этого «мало ли» у нее заалели щеки. Царь обернулся и даже в тусклом коридорном свете увидел эту краску на щеках. Из-за плеча сына послал жене ласковый взгляд. Взглядом можно погладить и воскресить; а можно и убить.

— Солнце, тебе не тяжело?

— Папа, я сам пойду! — возмущенно и громко сказал Алексей.

Царь плотнее прижал к груди сына. Они спустились по лестнице и вышли во двор. Тата глубоко вдохнула свежий летний воздух.

— У меня легкие, наверное, стали на тряпки похожи... я хочу плавать, купаться...

— И я!

Анастасия задрала голову и смотрела на звезды. Мария смотрела в лицо Ольге. Ольга молчала. Мария поглядела на мать. Она шла рядом с ними, с матерью и старшей сестрой.

— Какие крупные звезды, — беззвучно сказала Мария. — Какая ночь.

— Эти звезды на миг, — так же неслышно отозвалась Ольга.

Мать шла между ними и молчала. Они обе слышали только ее дыхание. И обе, с разных сторон, смотрели на ее профиль: тонкий, светлый, намалеванный чьей-то безумно влюбленной кистью на старой доске, истлевшей за старым шкапом, за занавесями паутины.

Открылась дверь в нижний этаж. Они переступили порог. Царь и цесаревич, Тата, Настя, Ольга, царица, Мария. Боткин, девица Демидова, повар Иван Харитонов, лакей Трупп. Все несли в руках подушечки, любимые вещицы; подушки — чтобы сесть мягче, голые стулья холодят зад и хребет, а безделушки — чтобы с ними навек сфотографироваться. Мария вошла последней и закрыла за собой дверь.

Не плакали. Не рыдали. А что плакать, наоборот, радоваться надо. Сейчас будет битва. В город войдут светлые, царские войска. И Россия вернется. Россия не может умереть. Она не может умереть так просто, бесславно. Если умирать, то со славой. А комната-то угловая; а говорили, что кладовую опечатали, а на ней не висит никакого замка. Полосатые обои стекали вниз темными и светлыми ручьями. Под толчком горела электрическая лампа, внутри нее мигала и опять разгоралась красная тонкая спираль.

Царица огляделась и грустно спросила:

— Что же, все голое? И стульев нет? Разве и сесть тут нельзя?

Юровский крикнул в коридор:

— Эй! Принести два стула!

Стрекотин — он стоял на посту — тут же отозвался:

— Есть принести два стула!

Стрекотин подошел к кладовой. Засунул голову в дверь.

— Эй вы, кто-нибудь, стулья принесите. Я на посту.

Никулин поднялся с пола. В зубах у него торчала сухая травинка. Он сосредоточенно грыз ее.

— Я принесу. Сидите все спокойно.

Лямин отодвинулся от двери, пропуская Никулина.

«До чего он спокойный. До чего тут все спокойные. Особенно латыши. Я-то что же зуб на зуб не попадаю?»

«Да никто тут не спокойный. Все просто притворяются спокойными. На самом деле все трясутся, как заячьи хвосты. Сколько ни убивай человек, убийца перед новым убийством сокрушается. Или это я один такой? У меня тут у одного — сердце? А все остальные тогда кто? Машины? Камни? Вот Латыш — он камень, да?»

— Кресло, видишь ли, понадобилось царенку. В кресле хочет умереть.

Никулин исчез.

Лямин хотел плюнуть ему в спину.

Никулин принес два стула и внес их в комнату, где ждали все они. Зло, со стуком поставил стулья посреди комнаты.

— Кресел нет, уж извините.

Мария положила на сиденье стула подушечку. Николай очень осторожно посадил сына на стул. Он сажал его так, будто роды принимал; будто — на руки — новорожденного брал.

— Удобно тебе, сынок?

Цесаревич обернул к нему бледное лицо.

— Удобно, папа.

Распухшее колено выпирало под брючиной.

Александра Федоровна, подстелив под себя вышитую думку, села на стул рядом. Села тяжело, грузно, но тут же выпрямилась, подала вперед гордую грудь, вытянула и выпрямила шею — и сразу сделалась другой, светлой: царицей. А не усталой старой женщиной, разбуженной посреди ночи. Мешки под глазами. Вечная мигрень. Солнышко, как твоя голова? Милый, я все перетерплю, лишь бы ты был радостен и спокоен. Они все были на удивление спокойны.

— Встаньте в ряд! — крикнул Юровский.

Они спокойно, плавно, без паники и суеты, стали сами себя в этой подвальной комнате по местам расставлять. По тем местам, которых они не знали, но о которых догадывались в самый последний миг. И вставали там и тогда, где и когда их эти половицы, эти стены и косяки ждали. Им что-то говорил комендант, куда-то приказывал становиться, велел то, велел се, — они слышали и не слышали; они двигались так, будто их кто-то великий и сильный водил сверху, будто у каждого под мышками была продета веревка, и за эту веревку тянут, — ведут, направляют.

В комнате — арка. Арка — это красиво и торжественно. На фотографии все красиво получится.

Царица села на стул ближе к окну. Три дочери встали за ее спиной. Царь стоял в центре комнаты. Рядом с ним на стуле сидел сын. За стулом Алексея встал доктор Боткин. Боткин, невысокий, всегда чуть привставал на цыпочки, когда фотографировался в ателье, чтобы быть выше и выглядеть значительней. Девушка Демидова застыла у дверного косяка. Эта дверь вела в кладовую. Рядом с Нютой Демидовой встала Анастасия. Она отчего-то нашла и крепко пожала холодную Нютину руку. В другой руке Нюта держала подушку. Когда Анастасия выпустила ее руку, Нюта обняла подушку обеими руками. Анастасии показалось: Демидова хочет уткнуться лицом в подушку и разревется.

Юровский стоял в кладовой. Он грыз ногти. Никулин двинул его локтем в бок.

— Брось, товарищ. Ты не ребенок.

Юровский обернулся и посмотрел на Никулина взглядом злого ребенка.

— Замолчи.

Замолчали.

Дверь приоткрыли, и латыши столпились в проходе, шупая, оглядывая револьверы. За громадными, как гранитные плиты, черными кожаными плечами латышской топтался Павел Медведев.

— Все всё помнят, кто в кого стреляет?

«Проверяет. Страхуется».

— Да все, все.

— Кончай уже эту веревку вить.

— Устали все уже.

— Я будто не устал, — Юровский показал зубы, как загнанный волк. — Цельтесь прямо в сердце, чтобы меньше крови!

— Мы поняли.

Люкин глядел кругло, по-детски, его будто насильно вынули из теплой постели и сунули головой в огонь, в пожарища. Лямин размалывал молчание зубами, оно скрипело и крошилось.

Юровский тихо и отчетливо бросил в духоту кладовой, и слова отскочили от стен и зазвенели:

— Иду к ним. За мной в комнату входит Никулин. Это фотограф.

— Я фотограф, — сказал Никулин и коротко, лающе хохотнул.

...Юровский вошел в полосатую комнату и сказал спокойно и веско:

— Так, хорошо! За царями — их слуги! Хорошо!

Они все молчали. И смотрели вперед. Их лица были спокойны.

Спокойны? Может быть, Юровскому так казалось?

...— Мама, когда же внесут фотографическую камеру?

Татьяна спросила это тихо, но голос разнесся по тишей комнате, оттолкнулся от тесных углов, прополз пауком по обоям. Мать молчала.

Они стояли, и Юровский обвел их всех пронизывающим потроха взглядом; а может, глазами слепыми и деревянными. Он сам не знал, видит он или не видит их лица, фигуры, юбки, гимнастерки; ему все чудилось, и видение тут же становилось громадным, грубым настоящим.

— Фотографический аппарат, — прошептал наследник, — у нас они его украли.

Это шепот слышал только он сам. Больше никто. Отец видел, как шевелятся губы мальчика.

...Лямин стоял за Медведевым. Хрипло, воспаленной гортанью дышал Кабанов. Сашка Люкин так зажал в руке наган, что костяшки пальцев стали синие. Латыши шагнули вон из кладовой. За ними из коридора пошел постовой Стрекотин. Сапоги не стучали — издавали шорох, будто по половицам ползли черви.

«Змеи. Вот они, змеи-то. Это — мы». Он разгадал свой сон про гостиницу и стовор. Поздно. «Это был не сон. И вот это — тоже не сон».

«А вдруг сон! А вдруг!» — «Ты этого уже никогда не узнаешь. Жизнь, может, это тоже сон».

Двустворчатые двери комнаты распахнулись. Для одной двери слишком много народу. Всем в дверях не уместиться. Кто-то будет стрелять впереди. Кто-то — сзади. «Я сзади. В кого бы из наших не попасть ненароком». Ужас внезапно провалился в подпол. Остался один холод и ледяные четкие мысли в нем.

Ермаков резанул воздух двумя словами:

— Я сейчас.

...Он, патлатый более обычного, уже настоящий ужас наводящий полоумной рожей, подбежал во дворе к грузовику и закричал шоферу:

— Давай!

Люханов включил мотор, он загудел неистово, оглушительно.

* * *

Юровский обернулся через плечо.

Крикнул:

— Входи!

А они все уже и так вошли. «Латыши первые. Зачем латыши? И этот, плюгавый, вон он, в первых рядах». Он видел его затылок. Его плохо выбритую шею под черной фуражкой. Сивые волосы торчали, как жесткая конская грива.

— Мотор как тархтит, — пробормотал Сашка.

Латыши стоят в комнате. Никулин, Медведев и Кудрин — в дверях. За ними — Лямин и Люкин. Вперед протолкался Ермаков. У него было глиняное лицо. Встал рядом с Юровским. Вплотную. Ермаков ощущал, как Юровский дрожит. Очень мелко, будто стоит в трюме корабля, а вокруг вибрируют машины: ходят рычаги, крутятся колеса и шестерни. Машина работает, грохочет, лязгает, колеса вращаются, шестерни зацепляют зубьями плотный, промасленный воздух, черную гарь. Лязг и вздрог. Лязг и стук. Лязг и вопль. Железо бьет о железо, машина работает, она запущена, и ее не остановить.

Наган в руке Лямина превратился в мертвый сгусток. Он состоял не из стали. Из косной, навек умершей материи, имени которой на земле не слышали.

...Лямин едва дышал. А ему казалось, он дышит хрипло, громко, оглушительно, на весь подвал слышать, на весь дом, — он ловил ртом воздух и все никак не мог поймать, воздух утекал и ускользал у него из ноздрей, из губ, у него голова перестала рождать мысли, а вместо головы что-то такое тяжелое, горячее, черное стало думать внутри него: может, это было голодное чрево, а может, сердце или то, что еще осталось, застряло у него меж ребер вместо сердца, — он не знал. Это черное, и тяжелое, и пылающее головней, этот странный черно-красный, горячий сгусток думал вспышками боли, и эти вспышки странно слагались в отрывочные, разорванные, оторванные от прежней жизни слова.

Боль. Скоро. Подлые. Нет. Пуля. Прежде. Уйти. Убежать. Убить. Кого? Здесь. Везде. Всегда. Зачем? Надо. Горько. Ложь. Правда. Будет? Было! Есть. Да. Нет!

Нутро взорвалось и закричало: нет! — и Лямин чуть приподнял над ногой наган, ствол его был как живой, он вертелся сам по себе и вздрагивал сам, Лямин обернулся, и навстречу ему из тьмы полетело странно яркое, красно горящее и вместе с тем черное, угольное лицо Юровского.

Дыхания двенадцати смешались. Людская машина работала не хуже железной. Жила, дышала, двигалась. Шестерни и рычаги. Руки и головы. И ноги, ноги. В сапогах.

Юровский шагнул вперед. Правая его рука уткнулась и утонула в кармане брюк. В левой он держал бумагу. Бумага мелко дрожала.

Лямин услышал скрип половицы под его сапогом. «Будто чайка над рекой прокричала».

— Ввиду того, что ваши родственники продолжают наступление на Советскую Россию, Уралсовет постановил вас расстрелять!

Николай стоял лицом к этим вошедшим в комнату, чернокожаным людям. Он даже не успел рассмотреть и осознать, что у них в руках — револьверы. Зато Александра рассмотрела. И — не дрогнула ни лицевой мышцей, ни кожей, ни пальцами. Дышать чаще не стала. Только сердце, голубь, взлетело и ухнуло куда-то в синюю жаркую бездну.

...это Ной выпустил из ковчега голубя на землю.

...повернулся к чекистам спиной. Глядел на всю семью свою, любимую.

...глаза Ольги, честные, печальные.

...затылок сына. Как спокойно мальчик сидит! Не шелохнется.

...Тата руки в кулаки сжала. Детка! Держись!

...Настя напугана. Кажется, она поняла.

...пу Sunny, а ты?

...глаза Маши. Машка! Вот и все.

...Юровский, читая эти слова, а он их все уже выучил наизусть, не дрогнул ни умом, ни душой, ни телом, ничем; он здесь, в подвале, был странно заморожен — будто мороженая рыба, будто твердое бревно огромного осетра зимой, у проруби, убитого багром по голове осетра. И вот этот мерзлый осетр внезапно воскрес, и умеет читать, и потешно стоит стоймя, и держит в плавниках важную бумагу, и читает по бумаге, шевеля круглым усатым ртом, приговор этим людям — отжившим свое, отплевывая свое на золотых балах, никчемным людям. Да хватит, одергивал он себя, читая приговор, да люди ли они? это они — люди? это он — человек, проклятый царь, уничтоживший столько народу в своих войнах, на виселицах и в застенках, это она-то — человек, гадкая царица, она путалась с Распутиным, путалась с кем угодно, она продавала и предавала, и это ей — на свете жить? нет, ей — не надо, ей на свете, такой гадине, жить — запрещено! И читал дальше, и дочитал до конца, а когда настала тишина, он почему-то подумал про цесаревен: и эти, эти — тоже нелюди, жрали и пили с золота, дрыхли на серебре, выдали бы их замуж за иноземных царей-королей, и они так же, как все ее предки, мордовали бы, истязали, изводили, убивали народ. Свой? Чужой? Все равно. Все равно? Нет, этого нельзя. Этого нельзя, шептал он сам себе, нельзя никогда этого допустить, мы лучше убьем их всех здесь и сейчас, здесь и сейчас. И делу конец. Ай, молодец. Это я молодец.

Часы тикали в тишине. Серьги с поддельными алмазами и броши с поддельными сапфирами сверкали в тишине. Коричневые, как крепко заваренный чай, фотографии с виньетками красовались в витрине ателье в тишине. Лекарство капало в мензурку в тишине. Хирургические скальпели блестели в тишине. Страницы великих книг про революцию, кровь и слезы шуршали в тишине. Патроны падали в магазин маузера в тишине.

Вся его жизнь прошла в тишине, а вот теперь можно и погрохотать.

Он слушал тишину и радовался: они, гады, услышали, они все поняли. Они готовятся.

Он стал искать глазами лицо царя, а когда нашел, стал искать его глаза — и нашел глаза, и воткнул в них свои глаза, нет, он не пытался его испугать или пригвоздить глазами, сейчас это за него успешно и быстро сделают пули, — он просто хотел поглядеть глубоко, очень глубоко в глаза человеку, которого он сейчас убьет, вот сейчас, сей момент, а этот человек был самым первым человеком в России и одним из первых в мире — еще вчера.

Аликс головы не повернула. Смотрела вперед, прямо перед собой.

Повернулся сын. Он повернулся всем корпусом на этом неудобном, жестком стуле и поглядел на отца. Отцу в лицо. В глаза. Ловил его глаза. И не поймал. Царь сделал шаг назад и опять встал лицом к Юровскому, латышам и солдатам.

Голос вылетел из него птицей, птица ударилась грудью сначала об одну стену, потом о другую, потом о потолок.

— Что? Что?!

Лицо Ермакова перекошилось.

— Читай еще раз. Внятно! Не услышали!

Юровский приблизил к лицу бумагу. Он наизусть знал написанное там.

Он хотел заслонить этой бумагой лицо, потому что лицо вдруг стало страшным, и он знал, что оно — страшно. И хотел его закрыть, спрятать, чтобы не видели и не ужасались другие.

Пока еще живые.

— Ваша родня продолжает наступать на молодую Советскую республику! И Урал-исполком! Постановил! Расстрелять... вас!

Царь развел руками и опять повернулся к семье.

— Как? Зачем?!

Кажется, это крикнула Нюта Демидова.

Цесаревич не кричал. Но крепче сжал губы. Но весь странно потянулся, вытянулся, будто хотел встать и не мог. А может, он и вправду не мог.

— Не верю!

Это крикнула Тата.

— Боже... я так и знал...

Доктор Боткин.

— Папа!

Настя.

— Не может быть.

Ольга.

— Мама, родная... это неправда...

Маша.

Аликс подняла к нему лицо.

Он увидел ее глаза.

У них обоих были глаза похожи: у нее водяные, речные и без дна, и у него тоже.

Юровский обернулся к стрелкам и крикнул задуманно:
— Готовься!

...Царь глядел в лицо Юровскому, и он не узнавал это лицо, напротив него стоял не человек, а странная, дикая, черно-красная масса, красный рот двигался, черная куртка дергалась и шевелилась, и царь подумал страшно и быстро: вот и все, — но человеческое тесто напротив вздувалось и вспучивалось, и он еще успевал думать сразу обо всем, обо всей своей жизни, обо всех родных и любимых, обо всей стране, обо всей земле, он обнимал все это последней смертной думой — и хотел молиться, но вместо этого сам обратился в молитву; он стал молитвой, стал словами, что тысячу, сотни тысяч и бесчисленно раз повторяли людские губы, ими, этими словами, бессильно плакали людские сердца, и так хорошо ему было быть молитвой, так сладко и чисто, по-настоящему чисто и правильно, праведно, — и он еще успевал поблагодарить за это чудо, но кого, теперь уж он не знал, потому что в нем, в молитве, которую он стал, таких слов не было; и он молитвой вис в воздухе, растворялся, тек, истаявал, застывал прежде горячим, а теперь зимним свечным воском.

И он, вернее, то, чем он стал сейчас, молитва, — он достиг, пламенея и застывающая, рта, губ жены, достиг ее яремной теплой ямки и нательного креста в ней; и она шептала молитву, шептала бессвязно, торопливо, и горячей слезной молитвой, самим собой, всем собою, он целовал напоследок эти любимые, морщинистые губы.

— Господи!

Царь сжал кулаки. Александра подняла руку. Она хотела коснуться руки царя, но не коснулась.

Улетала, плакала голубка.

— Прости им, ибо...

По глазам цесаревича словно ударила молния, и он зажмурился.

— Не ведают, что творят...

Юровский вырвал кольт из кобуры. Вскинул руку и прицелился в царя.

Пуля ушла сразу. Царь слишком близко стоял. Не попасть было бы смешно. Царь пошатнулся и стал падать. «Как все просто. Боже! Как же все просто у Тебя!»

Все стали стрелять. В комнате раздался грохот, и она стала заволакиваться сильным дымом.

Ермаков сделал к царю огромный шаг. Его рот превратился в пасть, и она, кривая и косая, неожиданно заняла все лицо; поглядеть — так смеется человек захлеб. Ермаков тоже выстрелил в царя. В упор. Когда он уже падал.

За сутулым плечом кособокого Ермакова стоял Михаил Кудрин. И он тоже выпустил пули в царя. Из старого браунинга. Одну, вторую.

Царь лежал на полу. Из его ран текла кровь.

Лямин понял: они тут все, все до единого, сперва стреляли в царя. Так много ран. Много крови. «Юровский же просил, приказывал: чтобы крови не было!» Приказ не исполнен. Все стрелки палили в одного человека.

...Может быть, и хорошо; сразу умер; счастье ему.

...И царица повторяла, все повторяла слова молитвы, и забывала их, и ужасалась этому; она внезапно все забыла, и себя маленькую, в пеленках и распашонках, и себя — невесту, и себя — в родах, и себя — с лицом в морщинах, с опухшими до колен ногами — в этом тряском возке, едущем по ледяной весенней Сибири; она

помнила только одно: дети тут, Бэби тут, и разве это возможно, чтобы их убили? Нет! Это же никак невозможно! Это кто-то страшный, черный, красный, криволицый, придумал, и напрасно он наводит наган, и зачем эти ружья, эти штыки, это и не штыки вовсе, а елочные игрушки блестят; опять вернулось Рождество, опять Новый год, но какое же это отмечают новолетие? — она уже не знает, она забыла; и она разлепила губы, чтобы сказать мужу: родной, я забыла все, все, помоги мне все вспомнить! — и случайно, быстро опустила глаза вниз, и увидела царя, смиренно лежащего на полу без движения; и она повела глазами вбок и увидела сына — он лежал рядом с недвижимым отцом, но он двигался, он шевелился, о счастье, он был жив! Жив!

Мой Бэби жив! мой Бэби жив! мой Бэби жив! — кричала она молча, вздохнув, сама себе, беззвучно, без глотки и рта, — и ее сын услышал ее, а может, и увидел — высоко над собой, крупную, страшную, тяжелую, большую, охотником подбитую птицу, — не мать, не царицу, а древнюю, источенную ветрами гору, — уже такую далекую, что не добросить снежком, не достать слабой, в синяках, больной рукой.

...Царица хотела наложить на себя крест, рука поднялась. Опять взмыла! Пуля опередила знамение.

Ольга тоже хотела перекреститься. И не успела тоже. Кто выстрелил в Ольгу? Никулин?

Кто выстрелил в царицу? Юровский? А может, Ермаков? У Юровского на поясе висели две кобуры. «Два револьвера, второй выхватил и палит». Один у него кольт, другой Лямин не помнил какой; вроде не револьвер, а пистолет, маузер.

Мишка видел, как сначала побелело досиня, потом высветилось изнутри запрокинутое лицо старухи. Как быстро она умирала! Все. Умерла. Грудь не поднималась. Не дышит.

Павел Медведев подшагнул ближе, вот уже вошел в комнату из дверного проема.

Все они палили враз. Вразнобой. Косо, криво. Пули все равно прямо летят.

Палили. Палили теперь уже мощно, зло, как придется. Чем гуще, тем лучше. Яростнее. Скорей бы. Скорей убить. Чтобы эти глаза на тебя не смотрели. Миг один — а запомнится на всю жизнь. Эти глаза девушек. И как они глядят на тебя, и как ты стреляешь им в лицо.

...вот этих глаз боялись те, кто положил револьверы на пол к сапогам Юровского.

...что Юровский сделает потом с ними, с теми, кто отказался? Убьет?

...да их уже убили, голову на отсечение. Они и до постов своих не дошли. И на улице не покурили.

...да кому они нужны. Кому мы все нужны.

Их было тут три ряда расстрельщиков.

Сначала стоял первый ряд. Ермаков. Юровский. Никулин. Медведев. Латыш плюгавый.

За ними — еще латыши, Кабанов.

За ними — Лямин, Люкин и Кудрин.

Руки, держащие револьверы. Руки стреляют, револьверы содрогаются. Руки обжигает выстрел того, кто стоит сзади. Руки в ожогах, пули уходят и уходят.

Комната маленькая. Одиннадцать человек в ней, и их расстреливают, палачи близко от жертв, жертвы глядят в лица палачам. Не спрячешься.

Руки черными живыми палками высовываются из двустворчатой двери. Из рук — в живых — летит смерть, и живые становятся мертвыми.

Не сразу.

Грохот выстрелов. Частокол рук и оружия. Это казнь, и она проста и страшна.

Так надо. «Так надо, ведь мы боремся за наше светлое, светлое будущее! За коммунизм!»

Медведев палил и держался рукой за шею. Отнял руку от шеи. Лямин увидел у него на шее красное пятно. «Ожог. Хорошо, что самого не стрельнули».

Пули отскакивали от тел и рассыпались по комнате. Прыгали, как градины в грозу.

...Цесаревич глядел на мир снизу вверх, и мир ему казался теперь очень большим, странно большим, все было увеличено во много раз, и еще раздувалось, пухло, росло на глазах; лица людей походили на воздушные шары и надувались еще и еще, вот-вот лопнут, волосы их вились змеями и червями, в руках эти огромные дикие люди держали узкие, длинные сколы льда, и эти сколы остро, снежно блестяли во тьме, а тьма все густела, и комната становилась не комнатой, а громадным сундуком, и внутри сундука были не только они все, но и драгоценности всего мира, что его сестры так старательно зашивали в рубахи и корсеты; и мальчик хотел протянуть руки, поднять их над головой и упереться ладонями в крышку сундука, чтобы открыть ее, чтобы впустить воздух в эту тьму и духоту и чтобы они все немедленно вылезли из этого страшного дымного ящика, поглядели друг на друга и рассмеялись: что это такое с нами было! что это случилось! ты знаешь, darling? а ты? а ты? а ты?

И никто не знал, никто бы ему не ответил, и он это вдруг понял — и стало все горько, горько стало во рту, и горько в желудке, и горько в голове, и горько вокруг него, в самом воздухе; трудно было дышать горечью, но он все-таки дышал, а потом в горечь ворвалась невыносимая боль, и он хотел вытолкнуть из себя боль и горечь в одном сильном крике, но не мог. Он даже не смог набрать в грудь воздуха, чтобы закричать.

Скосил глаза, и рядом со щекой своей увидел чью-то ногу в белом башмачке и окровавленном белом чулке, и понял: это сестра, но кто? Настя? Тата? Оля? Маша?

Машка, это Машка, это твой туфелек, я узнал, лепетал он уже не губами, а болью, он весь превратился в боль, он перестал быть, а боль — была, и нога Марии рядом, в этом белом чулке в красных пятнах и белом узком башмаке, тоже — была.

...Мальчик лежал на полу. Он шевелил головой и рукой. Он был жив. Что он говорил? «Боже! Он что-то говорит. Он живой! Черти! Пристрелите! Застрелите его!»

Нюта Демидова истошно кричала. В нее стреляли, а она защищала грудь, голову и живот подушкой; и пули застревали в подушке, и попадали в нее, и она вопила, и визжала, и обливалась кровью, и все равно выставляла вперед эту подушку, последнюю надежду, щит последний.

Почему так скачут, как полоумные, пули?!

— Ай! Яй! Спасите! Люди! Люди!

«Мы не люди, мы кто-то другие». Думал о них, о себе холодно, железно. Повернул голову, глаза бегали, плыли и путались зрачками в сизом, как табачном, дыму, — и увидел Марию.

Жива. Она еще жива. Она стоит у стены. Раскинула руки. Будто собой, телом защищает — то, что за стеной. А что за стеной? Пустота?

«Она представитель старого мира! Чудовище! Она дочь чудовища!»

«Это ты чудовище. Ты чудовище сам».

Мария смотрит на свою лежащую на полу мертвую мать, и ее рот приоткрыт. Она не понимает, все еще не понимает, что с ней и что со всеми ними; она хрипло дышит, у нее прострелены легкие, может, навыйлет, пули застряли в ее нежном теле,

и то, что он так звал и вожделем, оказалось просто мясом, просто — мышцами, кожей, и хрящами, и костями, и сукровицей.

«Кровь. У нее вовсе не голубая кровь. Она не цесаревна!»

«У них у всех кровь красная. Как у всех людей».

— Спасите! На помощь!

Это кричит она? Кого она зовет?

«Боже! Она зовет меня!»

...Растолкать всех. Разбросать и задних, и передних. Выбежать перед всеми.

Подбежать к стене. Ее — на руки. Ногой разбить стекло окна. Выскочить: земля рядом.

Земля. Воздух. Ночь. Давай. Вперед. Она еще жива.

Ольга сползла спиной по стене. Держала в руках подушку. По рукам текла кровь. Ольга смотрела на свою кровь, и глаза ее останавливались. Медленно, тускло — так гаснет керосиновая лампа, когда прикручивают фитиль.

— Мама... мама...

Цесаревич лежал рядом с отцом и с матерью. Он опять пошевелился.

Стрелки палили. Пули рикошетили. Русские бойцы исходили хриплыми матюгами. Латыши стреляли молча.

...Доктор Боткин лежал ничком. Голову повернул и лежал на щеке, будто на диване прикорнул. Лакей Групп мертв. Повар Харитонов мертв. Лежат, задрыв подбородки; в потолок мертвыми глазами глядят, как в небо.

Как орет девица Демидова! Не смолкая! Пули летают от стены к стене. Над головами. Пули живые. А люди мертвые. Демидова испустила дикий визг и метнулась от стены к стене. Как пуля. Ударилась всем телом о стену. Рухнула. В поднятых руках — подушка.

«Она этой подушкой от смерти не заслонится!» В подушку палили пули. Вонзались в нее. И подушка ожила. Стала живой плотью. Подушка стала человеком, а человек превратился в орущую подушку. Это подушка летала по комнате, и в ней застревала медная смерть.

Стрелки ополоумели. Они перезаряжали револьверы и палили опять.

Дым. Всюду дым. Все дым. Едкий... Ожоги...

— Еще заряди! Почему они живы?!

— Чертовщина! Еще! Еще давай! В эту!

Татьяна сидела на корточках рядом с Ольгой. Около стены. Она плакала и кричала. Одна из пущенных латышами пуль попала в Татьяну, ей прямо в грудь. И — не свалила ее. Отскочила и полетела. И ударилась о стену, и отскочила снова.

— Цум тойфель, — белым ртом вылепил Юровский.

Запах пороха разъедал ноздри. В дыму ошалело качалась под потолком еле видная электрическая лампочка.

Мать умерла. Отец умер. Сын здесь. Он еще не умер. Не убит. Он ранен. Тянет руку. Рукой — от пуль — защищается.

«Зачем он все еще жив?!» Лямин с ужасом понял: патроны в его обойме закончились. «Перезарядить? Не буду. Гори все синим пламенем!»

Никулин стоял около мальчика. Мальчик поворачивал голову. Лежал на спине и вертел головой. И стонал. И кусал губы. И опять что-то говорил. «Что он говорит? Боже!»

Лямин звал Бога к себе, не думая и не понимая, кого зовет. А когда понял — содрогнулся.

Никулин стоял над Алексеем. По лицу Никулина гулял ужас. Наследник все еще жив. Непонятно. Отвратительно. Кровь все еще бродит по его худому телу; и у Никулина сама, сама стреляет рука. А эта тонкая рука подростка снова защищает — лицо, глаза, лоб. Душу. Может, такая живучая именно душа? И может есть и Бог и все его святые, и они над ними всеми смеялись, а они — вот они, тут?

Никулин бесполезно палил в мальчика. Царица и царь лежали в лужах крови. Девочки в крови сидели, ползли. Демидова орала. Латыш прицелился в нее. Выругался.

Лицо Никулина обратилось в железный крест: брови — перекладина, нос — столб. Юровский шагнул к нему в дыму и глухо, невнятно бросил:

— Отойди. Мясник.

Фигура Юровского высывалась, торчала из дыма черным огородным пугалом. Лицо дымом заволгло. Над фуражкой дым вился. Везде, всюду, и сверху и снизу — дым. И сам Юровский соткан из дыма; все сон, и сейчас разветится.

Окна! Окна откройте!

Юровский сделал еще шаг и оказался над лицом лежащего мальчика. Поднял руку с кольцом и выпустил две пули ему в ухо. Мальчик лежал навзничь. Голова в красном круге. Не двигался. И больше ничего не говорил.

Лямин напрасно искал глазами глаза Марии. И ее самое не видал в дыму.

...Вот она! На корточках сидит; около стены; и Настя с ней. Головы руками закрыли. Нюта Демидова визгнула в последний раз и повалилась перед княжнами, все так же крепко прижимая к груди подушку, живую, последнюю, теплую, милую. Валялась на полу и дергалась. Жила.

К цесаревнам подскочили Кудрин, Медведев и Люкин. На искаженном, исковерканном отчаянием, дымом и истерикой лице Сашки Люкина читалось еще и ужасающее любопытство: а почему эти чертовы девчонки так долго не гибнут?

— Жалезные, што ли?

Кудрин и Медведев палили в княжон. Люкин вздернул руку и выстрелил тоже. Рука сама повелась вбок и вверх, и он попал в подоконник.

— Мазила! — яростно крикнул, обернувшись, Медведев.

Вбежал Кабанов и заорал, приседая, перекрывая грохот выстрелов:

— Прекратить стрелять! Живых заколоть штыками!

«Почему Кабанов орет приказ? Почему не Юровский?»

«А какая разница! Все равно!»

Демидова и лежа на полу закрыла лицо подушкой. Подушка медленно сползала с лица, и обнажался рот Демидовой, застывающий в вечном, невыносимом вопле.

— Доколи! — как зверь, крикнул Ермаков, оборачиваясь к Лямину.

Мишка поднял винтовку и занес штык над девицей Демидовой.

...Ему казалось — он размахнулся хорошо. И рука у него вроде сильная. И винтовка у него американская, винчестер. Штык, это же огромный нож. Острие вошло в плоть. Плоть подалась и хрустнула. Брызнула кровь. ...Еще нажать, еще, еще.

«Где я? Кто я? Что я делаю? И я ли это?» Тупой штык трудно входил в тело, ломал грудные кости, пробирался к легким. Демидова вцепилась обеими руками в штык, пытаясь выдернуть его из груди. Ее визг пробил потолок, достиг крыши и вышел наружу. «Стекла треснут от такого вопля. Я не могу ее заколоть!»

...Подбежали стрелки. Кто? Он не видел, не понимал. Заблестели штыки. Визг достиг предела и оборвался.

...Кудрин, Латыш, Кабанов и Никулин добивали девицу Демидову прикладами. Били по голове. Лицо в лепешку расквасили. Череп треснул, глаз вытек.

...Поднял голову. Вот сидит голова его на плечах его; и смотрит он глазами; но это не его голова, и не его глаза, и — не его жизнь.

...И ни разу, ни одной мысли в чужой голове — о Пашке. О женщине этой, что делила с ним войну, постель и смерть.

Мария! Где ты! В этом дыму! Мария!

...Ермакову казалось — это он, он один убил царя. А когда ему это показалось — громадная гордость стала его распирать изнутри, и он, дыша дымом и щурясь в дыму, вдруг сам себя увидел в дымном кривом, чудовищном зеркале: он такой большой, больше этой подвальной каморки с полосатыми обоями, больше Ипатьевского дома, и пробивает головой крышу, и ощущает: он, он — царь! Всей этой черной ночной земли, всех орущих и быстро бегущих людей! Всех железных машин, издающих ляг железных костей! Он и правда царь, ведь он царя убил, — и пусть попробует кто-нибудь оспорить у него эту честь; он его убил, он, а не Лямин, не Юровский, не Никулин, не Кудрин! Не Латыши! Не Кабанов! Никто из них! И никогда! А только он, он один, он — царя — прикончил!

Да еще многих, многих тут, в этом чаду и дыму: тела мелькали перед ним, и он бил, и стрелял, и бил все крепче, насмерть, и стрелял все точнее, все жесточе, — а перед ним мотались охвостья белых, измазанных кровью исподних рубах, и хвойно-зеленое сукно гимнастерок, и черные магазины маузеров, и черные стволы наганов, и штыки, похожие на воздетые в снежных дымах морды остроносых стерлядей, — а какая разница, на рыбалке они, на охоте, на бойне, в лесу, в зверинце? Вот она, жизнь! А вот смерть! А вот он, их всеобщий красный царь Ермаков!

...и вдруг стал опять маленьким, и сжимался в комок все сильнее, все быстрее, стал величиной с булавочную головку, и испугался, что вот сейчас кто-то на него невзначай наступит сапогом — и раздавит, и хрустнет он, хрупнет кристаллом поваренной соли, утопнут его в грязь, и — все, как и не было его.

...и только лицо, странное женское лицо, жесткое, жестче железа, с крепкими злыми скулами, с ледяными глазами, мелькало в дыму и опять пряталось в нем, и насилу он вспомнил, что эту девушку зовут Пашка, и что она солдат, и тоже, со всеми вместе, сторожила тут царей; но ведь она отказалась стрелять, так почему же она тут?

...Они подходили к мертвому царю и стреляли в него. Разряжали в царя револьверы. Дым бесился и плясал. Вместо потолка над головами летели тучи. Юровский подскочил к дверям и раскрыв их шире, еще шире.

...Мария! Мишка вопил это надсадно внутри себя, а из его горла выходил рык, собачий, волчий.

Две девчонки в углу у стены. Они еще сидят. Нет. Одна лежит, свернувшись клубком; так спит котенок на чьих-то коленях. Лежит и вздрагивает, и стонет. Другая?

— Мария, — его собственный хрип ожег ему щеки и губы.

Перешагивая через тела, вляпывая сапоги в кровь, он подошел к младшим княжнам. Пальцы Анастасии вздрагивали. Мария сидела. Все еще сидела у стены. И все еще руки — на голове. Из-под живой шапки беспомощных рук Мария смотрела на него. И он слишком близко увидал ее глаза.

...Пашка лежала в кладовой на полу. Под ее животом, под расплющенной тяжестью тела грудью, под раскинутыми ногами в тяжелых грязных сапогах холодели доски, они превращались в лед, в плоскую ледоходную льдину, и Пашка куда-то далеко, в страшное, в неведомое никуда плыла на этой льдине; льдина то кренилась, и тогда Пашка вцеплялась ей в края с острыми зубринами, то опять выпрямлялась,

тогда Пашка переводила дух, вытягивала руки вперед, осязая холодный гладкий крашеный лед, и с трудом соображала — да ведь это она лежит на полу, в кладовой на половицах, — но себе не верила, река опять несла ее быстро, вертя льдину на перекатах, на своей широкой, блестящей под солнцем, холодной и мокрой спине, и Пашка не знала, Енисей это или Волга, Нева или Кама, Урал или Исеть, Иртыш или Тобол, — все равно, ей было все равно, она знала: вот сейчас льдина перевернется, и я перевернусь вместе с ней, и я окажусь в воде, и я захлебнусь и пойду ко дну, — и, задыхаясь, спрашивала себя: Пашка, дура, а может, ты уже тонешь, может, перевернулось уже все давным-давно?

И мира нет, и ледохода нет, и царей нет, и веры нет; и нет церквей, и нет войны, и нет оружия, — она безоружная лежит на земле, и никто не подойдет к ней, не спасет ее. Она одна, совсем одна. И никого рядом.

Где-то далеко, за стеной, стрельба и крики. Зачем? Надо крепче зажать уши. Тогда выстрелы кажутся шелканьем дятла, а крики — комариным писком. Это просто лето и лес, и огромная вырытая яма. Где их закопают? Мишка сказал — в лесу.

Она крикнула: Мишка! Мишка! — и зажала себе рот рукой. И куснула руку.

Он там убивает, а она здесь валяется и себе руки грызет, — разве это хорошо, солдат Бочарова? Мишка, кричала она, катаясь по полу, Мишка, возьми меня с собой туда, ну давай это я, я, давай я всех их застрелю! Я! Я одна!

— Спаси меня.

Это сказала она? Или сказали глаза? Мишка, не помня себя, поднял наган. «Я спасу тебя. Я тебя застрелю. И все кончится». Он зажмурился и стал стрелять. «Упади! Ну упади же! Умри!»

Голова Марии склонилась набок, слишком близко к шее. Рот раскрылся. И ладони раскрылись. Будто приглашали летних бабочек и птиц: садитесь, не трону.

Она оседала на пол. Распластывалась. Ложилась на пол, будто живая. Будто ложилась спать.

Мишка водил невидящими глазами. Нога Марии дернулась, она стала сгибать и разгибать ногу в колене, и ее длинный стон вывернул Мишкину душу наизнанку дырявой солдатской штаниной.

— Мария...

...Подскочили Кудрин и Ермаков. Ермаков всадил в Марию штык. Под ребра. И еще, и еще раз. «У нее там сердце! Не смейте!» Кудрин стрелял. Ей в голову, в грудь, в живот. У Кудрина лицо напоминало морду раненого льва.

— Все! Кончено! Больше не заряжай!

Голос Юровского взмыл над дымом и опять потонул в нем.

Лампу заглатывал дым. Лампа вырывалась, не хотела умирать.

— Выноси трупы!

Лямин не узнавал голоса, отдававшие команды. Сашка Люкин стоял в облаке дыма и махал рукой. По его лицу гуляла сумасшедшая улыбка. С такими оскалами юродивые сидели на рынках, тянули руку за копейкой.

— По До-о-о-ону гуляет... по Дону гуляет!.. по Дону гуляет... ка-азак молодой...

Мишка подшагнул к Люкину и ударил его кулаком по губам. Люкин испуганно вытер губы, заслони ладонью лицо и затрясся головой, спиной, плечами.

Шофер Люханов терпеливо ждал в кабине грузовика. Мотор работал. Юровский, белее снега, поднимал правую руку и, как вождь с трибуны, вытягивал указательный палец.

— Живей! Торопись! Ночь короткая. Надо успеть!

Он ходил меж тел, наклонялся и брал убитых царей за руки. «Что он делает? Господи! Что?» Юровский шупал всем пульс на запястьях. А вдруг кто жив. Прислонял пальцы и к шее. Искал пульс на шее. Бьется ли сонная артерия. Махал рукой: порядок! Убиты!

Медведев крикнул:

— Я сейчас простыни принесу!

Лампа под потолком качалась и мигала. С нее капала кровь. Медленно, раз в минуту.

Медведев взбежал на второй этаж, забежал в спальню царей и стал хватать с полу, с матрацев и кроватей простыни. Вот здесь спали княжны. Здесь — эти проклятые супруги. Медведев вытер испачканные кровью руки о простыню и брезгливо швырнул ее под ноги. С охапкой простыней сбежал в подвал.

— Клади на простыни! Легше нести!

— На простыни! — Юровский обмерил Медведева орущими глазами. — Дурак! Делай носилки! Вон, в кладовой старые оглобли лежат! От саней! Привяжите к ним простынки!

Уже тащили из кладовой оглобли. Негнущимися, после стрельбы, пальцами привязывали простыни к оглоблям. Молчали. Нюхали дым.

Первым на носилки положили труп царя.

...Даже здесь, в смерти, в казни, он оставался — царь; и это было правильно, веско.

И уже носилки с телом царя подхватили латыши и легко, играючи, понесли; буд-то не труп несли, а садовые лейки и лопаты.

— Яков, ты пульс всем проверил?!

Никулин кричал в дыму Юровскому, как в горах, над пропастью. Юровский наклонялся над Марией и ловил ее тонкую руку. Подхватил. Обцепил пальцами. Морда зверя на миг превратилась в сосредоточенное лицо фельдшера.

— Мертва!

«Мертва. Мертва! Мария!»

Трупы несли к грузовому автомобилю. На дне кузова бросили брезент. Брезент этот Кудрин принес из кладовой. Кровь капала, просачиваясь сквозь простыни. Люди несли носилки. Латыш, держа одной рукой оглобли, другой прислонил палец к ноздре и громко сморкнулся. Мишка тоже нес носилки. Он не мог и не хотел видеть, кто там лежит. На этих носилках, что нес он сзади, а впереди — Сашка, лежало два трупа.

— Быстро управились, черта ли лысого, — сказал Сашка косноязычно.

Крышка кузова была откинута. Первым втащили царя. Бросили в кузов с грохотом, как бревно. Мишка и Люкин закинули в грузовик два тела. Кто второй был, Мишка не разобрал. Глаза ночью и кровью застлало. Вернулись в комнату за другими.

...Мишка взялся за ноги великой княжны, Люкин просунул руки ей под мышками. Кто это был? Лишь белые платья и кровь. И косы с голов свисают, в крови вымокшие. Положили на грязные носилки. Она закричала, и Мишкины красные волосы встали ежовыми иглами под фуражкой.

— А! А-а! Больно! Помогите!

Анастасия.

И рядом, вот здесь, совсем близко, только оглянуться, рукой дотронуться, закричала еще одна.

— А-а-а-а-а-а!

«Это смерть. Так кричит смерть. Так не человек кричит».

Он заставил себя оглянуться и увидеть.

...Он даже не мог назвать ее по имени.

...Забыл имя, забыл свое желание и все это ошалелое время, ставшее никому не нужной, убитой вечностью.

— Эй вы! Двери открыты! Стрелять нельзя!

— Почему это?!

— На улице услышат!

Мария, завернутая в окровавленную простыню, медленно встала с пола. Она стояла перед Ляминам и кричала. А он не слышал крика. Видел только раскрытый в крике рот. Он оглох, уши залепило сырой и холодной глиной.

Винтовки кучно стояли у стены и валялись на полу. Юровский вбежал в комнату. Его челюсть прыгала, как у ярмарочного деревянного Петрушки.

— Добить!

На полу шевелились и стонали Анастасия и Ольга. Ольга перекатилась по полу с боку на бок. Из раны в ее боку странно, страшно выкатилась окровавленная крупная жемчужина и покатила по косой половице к раскрытой двери. Жемчужину поймал пулеметчик Стрекотин. Вертел в пальцах, и пальцы кровавились.

— Ах, хороша...

Сунул в карман.

«Из раны... сокровища сыплются...»

Лямин перешагнул через стонущую Ольгу и встал перед Марией.

«Она стоит, и я стою. Но мне же не дадут ее...»

Он не додумал: спасти, добить, украсть.

— Они все живые! Дьявол!

— Мария, — сказал Мишка сухими губами, а ему показалось, они все в крови, и во рту солоно, — Мария...

Она кричала, глядя ему в лицо.

— Живучие! Убейте! Убивайте!

Юровский был страшен. Мишке захотелось его убить.

— Ну добивайте же!

Ермаков бросился вперед, с винтовкой в руках. Толкнул Марию прикладом. Она упала рядом с ногами Лямина.

— А-а-а-а!

Это уже страшно, натужно кричал Ермаков. Он всаживал штык в грудь Марии. Раз, другой, третий. Мария дергалась под штыком. Ее глаза вылезали из глазниц. Ермаков выдернул штык и вонзил его под ребра Марии еще раз. Метил в сердце. Обернулся к стрелкам.

— Что стоите! Давайте — их!

В углу дико кричала Тата.

Стрелки бросились на княжон с винтовками и револьверами. Блистели и вонзались штыки. Мишка закрыл уши руками: он слышал хруст раздираемой плоти, и рвота подкатывала к глотке, ему казалось — на бойне к коровам и быкам люди милосерднее.

Прокалывали штыками, били прикладами. Стреляли в головы. Приставляли стволы к вискам и затылкам. Стреляли в уши, в глаза. Не жалели патронов. Патронами на казнь запаслись — как для великого сражения.

...Юность и танцы, веера и балы. Жемчуг на тонких шеях. Белые перчатки, белопенные кружева. Ледяные брильянты в ушах. Море и розы в Крыму, в любимой Ливадии. Свежий ветер, и север, и пушка палит с Петропавловской крепости, и борт балтийской яхты «Штандарт», и радостный крик цесаревича: «Парус, я вижу парус!»

Красота золота, и бронзы, и радужных фонтанов, и мраморных статуй. Улыбки и вечерние молитвы. Тайны, секреты, детские обиды. Блины с икрой и горячий английский пудинг с черносливом. Крюшон в огромном разрезанном арбузе. Зимой — у камина — глинтвейн с гвоздикой и корицей. Предчувствие любви, страсти, счастья. Как мне больно. Как хочется жить! Как свежа и душиста весна!

...Штык проколол все.

...Все?

— Яков! Я не могу пробить ей грудь! Что у ней под корсажем?

Пьяный, шатающийся шаг Юровского.

— Дай гляну!

Присел. Шарил по телу руками.

— Ого-го... Да тут...

Что «тут», не договорил.

— Пали в башку!

Ермаков выстрелил в голову Ольге.

— Все, бездыханная.

— Петр! На них драгоценности. На всех!

В дыму не различить было, смеется Ермаков или скалится.

— Похоже на то.

— Так что ждем! Обшарить! И все с них снять!

— Опись...

— Какая опись, спятил! Где времени взять! Стрекотин, эй!

Юровский указал на лежащих вповалку княжон.

— Обыскать! Тщательно! Все снять!

— Куда класть, товарищ комендант?

Юровский судорожно обернулся туда, сюда.

— Ни мешка, черти, ни сумки... ни ящика... Да хоть в карманы! Опишем потом!

Стрекотин наклонился над Ольгой. У нее из-под корсажа уже густо сыпались жемчуга и брильянты.

Кудрин прыгнул, как волк, и согнулся над Марией. Вертел ее, мял, общупывал. Вынул из кармана нож и взрезал на Марии лиф. Лямин глядел, как из лифа покатились самоцветы и золотые цепочки и браслеты. Кудрин брал драгоценности в пригоршню и рассыпывал по карманам. Кажется, у него текли слюни.

— С..., — тихо сказал Мишка, не слыша, что и кому говорит.

Никулин и Медведев нагнулись над трупом царицы.

— Ого! Ребята! Часы золотые... а какие перстеньки! Ого перстень! Камень чистый... с голубиное яйцо будет... на себе старуха таскала... не на пальце... знала: дело туго...

Латыш потрошил, как индюшку, Анастасию. Камешки щедро и весело выскочили из разреза на ее лифе и раскатились по полу.

— У, гадство, растеряем...

Кабанов ползал по полу, жадно камни собирал. Тех, кого обчистили, клали на носилки и выносили во двор. Мотор стрекотал. Невозможно было дышать, двор наполнился до краев, как бокал ядом, выхлопными газами.

Носилки несли к грузовику и бросали трупы в кузов. Вот еще. И еще. И еще.

Юровский крикнул:

— Эй! Охрана!

Подбежали трое злоказовцев из наружной охраны.

— Здесь, товарищ комендант!

— Спуститься вниз! Охранять трупы!

— Есть, товарищ комендант!
Юровский обернулся к несущим носилки.
— Вы много чего покрали! Дряни! Все вернуть! Иначе расстреляю!
Мрачно молчали латыши. Кудрин крепко держал оглобли. На носилках лежал доктор Боткин.

— А у Боткина были часы! Хорошие!
Юровский взял руку Боткина и пощупал пульс.
— Кто снял часы?! Дай сюда!
Протянул руку. Ладонью вверх. Шагнул вперед Латыш, пошарил в кармане и выложил на ладонь Юровского докторские часы. Серебряные, с золотыми стрелками, с мелкими алмазами по ободу.

— Ты сволочь!
Латыш показал лошадиные зубы.
Юровский вытаращил глаза.
— Это что еще такое?!
Стрекотин мотался возле входа в Дом в фуражке царя.
— Снять сейчас же! Мародеры!
Стрекотин обиженно, исподлобья глянул.
— Ну уж это-то... Тряпка паршивая... не золото ведь...
Юровский рукой махнул.
— Пес с тобой! Носи! Царя помнить будешь!

Вынесли труп цесаревича. Забросили в кузов. Когда размахнулись, чтобы бросить, тем, кто стоял рядом, почудилось: мальчик открыл глаза. У него просто подглезья были измазаны кровью, и казалось, что глаза — глядят.

Последними вышли Люкин и Мишка. На носилках они несли Анастасию. И им, когда зашвыривали ее в кузов, помстилось: она глядит и шевелится. Когда бросили Анастасию, поверх всех трупов, и закрыли на железные крюки крышку кузова, Люкин жадно и жалобно, украдкой, перекрестился.

А Мишка вынул из кармана газету и дрожащими пальцами свертывал сигарку, и закуривал, и курил, не чувствуя, как табак входит в легкие и терзает их, прожигает и сушит. По его щекам сползали мелкие, медленные слезы. Над их живыми головами горели холодные мертвые звезды.

— Эй! Товарищи! Я собаку нашел!
— Что за собаку?
— Да вот одной из княжон, видать, собачка!
— Живая?
— Труп!
Кудрин взял из рук у Стрекотина трупик болонки Джимми и зашвырнул его в кузов.
— Пусть их охраняет!
Кому надо было, те засмеялись шутке — угодливо, пьяно, хищно.

* * *

Занимался рассвет. Солнце должно было взойти совсем скоро. Небо на востоке налилось розовой, будто разбавленной водой, кровью. Небо само было — простыня в крови, грязная, белесая, захватанная чужими руками, потерявшая белизну девства и веры. Крыши тоже горели, светились розовым, красным. Красным отблескивали оконные стекла.

Грузовик, тарыхтя и фыркая, выезжал со двора и отъезжал от Дома, и шофер Люханов, сцепив зубы, медленно вел его по булыжникам, по тряской мостовой. В кузове

сидели Люкин и Лямин, и еще люди, но Лямин не мог бы сказать, кто они: те, кто вместе с ним расстреливал царей, или знакомые ему охранники, или новые, пришлые. Откуда они взялись, попрыгали в кузов? По приказу Юровского? Он стал равнодушен к приказам. Не слышал голосов, разговоров, вздохов и матерков. В зубах тлела сигарка. Он плюнул ее за борт грузовика. Тряско ехали, и чтобы не упасть, Мишка в борт рукой крепко вцепился. Люкин качался напротив. Он был как пьяный. А может, и правда пьяный был; Лямин раздул ноздри, пытаясь уловить водочный запах. «Юровский вроде нам водки обещал. После казни».

— Эй, Сашка. Выпить есть?

Он не узнал своего голоса.

— Ты уж покурил, будет с тебя.

— Куда едем?

— Гадов хоронить.

Лямин боялся посмотреть вниз, себе под ноги, но все же посмотрел. Близко к его испачканному кровью, липкому сапогу лежала тонкая девичья рука. Лежала вроде бы отдельно от тела. Лямин повел глазами выше и увидел грудь, всю исколотую штыками, и голую закинутую шею. Волосы, слипшиеся от крови. Чистый лоб. Глаза девушки были открыты. Из них сочился ледяной и чистый свет. <...>

* * *

Тучи заволакивали утреннее небо.

Небо после ночи смотрелось словно серая выпуклая линза, наполненная водой; под водой ходили тревожные тени, качались синие и белые водоросли, на поверхности расцветали лилии облаков. Сквозь линзу хотелось увидеть время, особенно — будущее, но его было не видеть. Хмурость утра сполна искупали ходящие по городу волнами запахи садов. Цветы лили нежные запахи в лето, в счастье. Солнце выглянуло к девяти утра.

Вокруг Дома стоял караул. Лямин застыл у забора с винтовкой. Его дико клонило в сон. И он сам себе снился. Иногда охватывал себя за плечи, ощупывал ноги, локти: это он или не он? Себе не верил.

За воротами послышался женский быстрый говор. Постовой открыл ворота. Быстро, ловко подбирая одной рукой юбку, вошла молодая послушница, юбка ее мела дворовую пыль, в другой руке она держала тяжелую корзину — видно было, как корзина оттягивала ей руку и на тонком запястье вздувались толстые синие жилы. Изпод юбки мелькали маленькие темные чоботы. Послушница торопилась к крыльцу. На крыльце стоял Григорий Никулин и устало курил. Он глядел на подходящую к крыльцу послушницу скорбно и чуть брезгливо.

Женщина подошла близко к крыльцу и снизу вверх, как кошка, просящая молока, глянула на Никулина. Лямин опять услышал торопливый говор, но не понял, что же говорит послушница. Она протягивала Никулину корзину.

— ... Сливочки... яички... — донеслось до Михаила.

— Подите с продуктами обратно! И больше ничего не носите! Сами ешьте!

Лямин увидел круглые глаза послушницы под круглыми широкими бровями. Она с минуту смотрела на Никулина. Никулин больше ничего не говорил. Отвернулся и бросил окурочок под крыльцо.

Латыши укатили к себе в ЧеКа. Двое латышей спали в комендантской. Они спали на походных кроватях царских дочерей. Разложили кровати и увалились в одежде. Зычно, на весь Дом, храпели. Имя одного Лямин не помнил. Второй был Латыш.

Еще в комендантской сидели за столом Юровского Гришка Никулин и Павел Медведев. Стол был завален драгоценностями. Иные уже лежали в шкатулках и в ящичках, но брильянты и жемчуга были щедро навалены прямо на столешницу. Стол, прежде голый, благоразумно укрыли скатертью. Никулин и Медведев молча, мрачно складывали золото и камни в шкатулки. Оба молчали. А о чем говорить?

Царский пес, смешной спаниель, стоял перед закрытой дверью царской спальни и нюхал воздух.

Медведев и Никулин, склоняясь над столом, рассматривали брильянты. Вертели в пальцах, и камни играли, испуская чистые и яркие, острые лучи.

...А Пашка в это время, выставив крепкий зад, низко нагнувшись и возя, возя мокрой тряпкой по красным разводам, по плахам половиц, замывала кровь в подвальной комнате с полосатыми обоями, с запахом пороха и гари.

Тряпка напивалась кровью, Пашка разгибалась и терпеливо несла тряпку к ведру, окунала ее в ледяную воду, отжимала, и опять несла к луже крови, и окунала в красную жижу, и возила по полу, и тряпка опять жадно глотала кровь и разбухала. Пашка снова волокла ее к ведру, окунала и выжимала.

Выпрямляясь, мокрым запястьем отводила со лба волосы. Ее не тошнило, она не боялась, и она ни о чем не думала. Пальцы сводило холодом. Ей было холодно, и ей было все равно.

* * *

Совет Народных Комиссаров все увеличивался и увеличивался, рос и рос, маленькие люди, петрушки, гиньоли, буратино, куколки и куклята прибывали, заполняли игрушечную коробку зала, рассаживались, переговаривались, перемигивались, хлопали друг друга по картонным и деревянным рукам, вертели глиняными головами.

На сцене появилась главная кукла — лысый вождь. Он, маленького роста, весело и быстро катился по доскам сцены к своему месту. Нашел кресло и взобрался на него. И замер: он принимал поклонение зала. Вождем, непонятно почему и за что, избрали крошечную куклу все люди; не только все, что собралось в зале, но и те, кто населял огромную черную и светлую, совсем неигрушечную землю. С этой землей игрушки, взявшие власть, играли, как с игрушкой, а ведь эта земля заслуживала большего и лучшего.

Но в Совете Народных Комиссаров так не считали. Они считали, что, захватив эту большую и богатую землю, они освободили ее и очистили от всевозможной грязи, накопившейся на ней. Этой грязью куклы считали всех, кто жил на земле прежде. А жило тут много сословий: кто пахал землю, кто служил требы богу, кто танцевал на балах, кто писал книги, кто строил дома и храмы, кто варил и жарил еду, кто продавал на рынках и в лавках всевозможные вещи, кто рожал и воспитывал детей, а кто все это защищал с оружием в руках. И вот куклы сбились в кучи, у них явился маленький гололобый вождь, он заверещал пронзительно: мир хижинам, война дворцам! — и тут же куклы объявили войну дворцам, и за ними, приняв их за людей, пошел народ.

Народ всегда идет за тем, кто посулит ему лучшее и светлейшее будущее. Кто скажет: настоящего нет, есть только будущее, так давайте умрем за него!

Еще маленький лысый чертенок вопил: мир народам, земля крестьянам, хлеб голодным! — и с восторгом, с упоением и счастьем люди стали на разные лады повторять эти слова. Эти призывы не сбылись: земля, как луна, повисла в воздухе и так висела, ничья, народы вместо того, чтобы обняться и расцеловаться, передрались,

и люди поубивали друг друга в полях, в лесах и в городах; и люди умирали от голода, со вспухшими животами, от бескормицы убивая и съедая детей своих, а потом, от отчаяния, убивая себя, лада петлю в сарае. А то приезжали к людям маленькие черные кожаные куклы, толклись во дворе, входили в избу, искали хлеб в мешках, и находили, и забирали эти мешки, под плач и крики несчастных матерей и младенцев.

Но говорящие куклы с упорством и веселостью повторяли эти призывы, рисовали их огромными буквами на красных знаменах, и под эти знамена вставляли все новые и новые толпы, желая новой, лучшей жизни, желая жизни светлейшей и счастливейшей.

И куклы несли красные знамена впереди, а позади шли люди, размахивая руками и крича об общем благе, о вечности, о любви, о благополучии и изобилии, и гибли под пулями других людей — за лучшую и счастливейшую жизнь, а куклы наблюдали эти бои и были довольны: исполнялся их игрушечный замысел.

А замысел был прост и был таков: куклы должны властвовать над людьми и владеть землей и деньгами, и люди должны верой и правдой служить им. Тогда на земле наступит правильный миропорядок и все будет устроено так, как надо. Как надо — куклам.

...Лысый уселся на свое место и с торжеством, искристыми веселыми глазами, оглядел зал. Зал был полон и слегка, как улей, гудел. Место лысой куклы было — широкое приземистое кресло, обитое старым, уже вытертым красным бархатом. Важно, что бархат был красный. Кресло возвышалось на сцене, за широким, как река, столом, и за столом, на берегу деревянной реки, еще сидели разные куклы. Куклы смотрели на людей, и люди восторгались куклами, выражая восторг неистовым хлопаньем в ладоши. Ярко пылали огни в рампе на краю сцены.

Вышла к рампе живая кукла, лысый залиvisto крикнул: слушаем доклад наркома здравоохранения! Кукла, серьезная, в круглых очках, долго говорила о том, как в стране улучшилась охрана здоровья, и как счастливы люди Советской страны, потому что отступают старые страшные болезни: чума, тиф, холера, оспа, и как увеличилась продолжительность человеческой жизни. Все в зале верили, улыбались и хлопали.

Кукла с всклокоченными, курчавыми черными волосами над ушами, тоже лысая, смуглая и в очках, черная изящная обезьяна, наклонилась сзади к лысому, что-то шепнула ему на ухо. Тот вздрогнул и разулыбался. Потом согнал улыбку с деревянного лица и стал серьезным и важным. И громогласно объявил: товарищ Свердлов просит слова, у него для почтеннейшей публики весьма важное и срочное сообщение!

Черная кукольная обезьяна встала за столом, укрытым красным сукном. Поправила на переносице очки. Очки заманчиво, сладко блеснули. Обезьяна открыла длиннозубый рот и стала складно говорить на человеческом языке. Она сказала людям так: ваш царь собирался удрать, да мы его вовремя поймали, он уже одной ногой был на вражеском корабле, мы раскрыли крупнейший антинародный заговор и предотвратили его! Мы поймали царя (он уже почти убежал) за хвост — и расстреляли его!

Буря поднялась в зале. Люди захопали, закричали «ура!», засвистели, завыли, затопали. Кое-кто даже кричал уткой. Кто-то крикнул: «Слава нашим доблестным красным вождям! Позор немецким марионеткам в царских коронах!» Зашумели еще пуще. Потом шум стих. Черная обезьяна подняла руку. Черная кожанка у нее на теле скрипела при поворотах туловища. Обезьяна отчетливо и весело сказала: «Позор царскому выродку, обманувшему нашу великую страну! Слава нашему великому вождю, ведущему нас за собой к светлому и счастливому будущему!»

И весь зал встал и хлопал в ладоши, пока ладоши не заболели.

А когда шум утих, человек из зала крикнул: а семья? где семья? что случилось с семьей? ее тоже казнили? — и кукольная обезьяна товарищ Свердлов, нимало не расте-

рившись, ответил: нет, семью перевезли в надежное место! Ее судьба, товарищи, целиком в ваших руках!

И опять люди хлопали, не жалея рук. Потом люди из зала один за другим полезли на сцену. Подходили к трибуне и просили слова. И лысый чертенюк и черная обезьяна решали, давать людям слово или не давать. Мерили человека оценивающим взглядом и махали игрушечной рукой, что означало: разрешаю. Или делали запрещающий жест и указывали пальцем: уходи, мол! И человек, пятась, покорно уходил. Так все беспрекословно слушались своих вождей.

Выходящие к трибуне одобряли расстрел их царя. Один одобрил, потом другой, потом третий. И четвертый, и пятый. И из зала тоже слышались выкрики: прекрасно! браво! отлично! так им и надо, кровопийцам! Люди говорили, а лысый чертенюк молчал. Слушал, склонив умную деревянную лысую голову.

Когда люди закончили обсуждать расстрел их царя, лысый вождь встал из-за стола, воздел правую руку и крикнул на весь зал: так им! Поделом! Ответили за все свои злодеяния и преступления против нашего народа!

И все опять захлопали и зашумели, и шумели недолго: вождь махнул рукой, и воцарилась мертвая тишина. И в этой мертвой тишине все глаза обратились на лысого вождя. И он тихо, но очень отчетливо, на весь зал, сказал: это была воля народа. А народ всегда прав. Ура народу! И опять все взорвались криками, как сумасшедшие, и долго кричали «ура».

А потом на сцену стали выходить люди, работающие в больницах. Они громкими и робкими голосами поведали залу о том, как больные живут в советских больницах. В больницах, как выяснилось, живут совсем не так уж плохо, но и не особенно хорошо. Не хватает бинтов, ваты, марли, лекарств от боли, лекарств от кашля, лекарств от живота, горчичников, банок, микстур, шприцев, иголок, грелок. И еще чистого медицинского спирта. Лысый вождь закивал головой: да, да, разумеется, все эти необходимые вещи мы немедленно доставим в советские больницы! Это негоже, чтобы в советских больницах — да спирта не было! И оборачивался к президиуму, и жутко подмигивал сидящим за красным столом куклам. А куклы смущенно улыбались ему.

Потом началось обсуждение доклада о больницах. Люди сидели сначала молча, робко. Потом тихо говорили: ну, ваты нет, оно конечно... ну, бинтов нет, так это ж... а шприцев нет, так это же повсюду... война сейчас... революция... какие шприцы... какие теперь обезболивающие... палку в зубы — и пили ногу... ори не ори, все равно помрешь... ну, живот вздует, быстрее на рундук беги! — и всякое такое говорили, шептали и выкрикивали, а после, охравев, выбегали к сцене и размахивали руками, как флагами, перед лысым чертенюком и его куклами. Бинта! Ваты! Шприцев! Спирта!

На что чертенюк вскакивал, опять поднимал вперед правую руку и весело, топорща усы и воздевая остроугольную бородку, словно бы нагло передразнивая, а может, торжествуя и празднуя, подхватывал, продолжал эти людские крики: спирта! Марли! Киселя! Каши! Рыбы! Мяса! Нефти! Хлеба! Воли! — и бросал эти крики, как огромные булыжники, в людскую гущу, в толпу в зале. И люди ловили эти кричащие булыжники, прижимали к сердцу и блаженно жмурились: нам вождь, сам вождь это сказал! Значит, так будет!

А многие говорили друг другу на ухо: вождь бледен, он не спит ночами, он стоит над картой нашей огромной черной, залитой кровью земли и думает, как лучше ее вспахать и засеять, как лучше перегородить плотинами великие реки и как, самое главное, лучше вырастить нам наших дорогих родных детей, чтобы они наконец и скорей увидели светлое и счастливое будущее.

В зале детей не было. Детей сюда, на заседания кукол, не брали.

...Люди сами себе сделали кукол, из людского непрочного материала — из веры и жажды счастья, — и сами поверили в них, и сами шли за ними, и некого было винить. <...>

* * *

Лямин ходил по Дому. Дом был и мертвым и живым вместе; и Лямин ходил по нему так, как доктор выслушивает опасно больного и боится поставить ему правдивый диагноз, и боится обидеть, и боится убить словом.

Лямин ходил по комнатам, поднимался и спускался по лестницам. Он ходил один. В доме еще была Пашка, она, как обычно, стояла на кухне у плиты.

Охрану постепенно распускали, но не на волю отпускали: оформляли стрелков на фронты. Лямина ждал, скорей всего, ему уж Авдеев намекал, фронт на Урале — красные войска бились на Урале с белыми, и ему уже сказали, что определяют его в сводный Уральский отряд какого-то комиссара Блюхера, под Богоявленск. Это означало — он из Екатеринбурга должен двинуться на юг; там, по слухам, шли жестокие бои, но шанс был, что красные возьмут перевес. «Нас — больше. Красных — больше! Под красное знамя вся страна встает! А эти... недобитки...»

Дом глядел бельмами белых окон. Известку со стекол никто не успел отмыть. Всюду валялся мусор, и усеянный мусором Дом походил на громадную свалку.

Лямин открывал дверь царской спальни. Перешагивал через зубные щетки, еще испачканные в засохлом зубном порошке, и резные изящные гребенки. Переступал через булавки и заколки, через невиданные скребницы с жесткой торчащей щетиной — то ли платяные, то ли для обуви, а может, волосы дамам чесать, — через пустые флакончики; поднимал флаконы с полу, отворачивал пробки и вдыхал запах — нежный, то сирени, то ландыша, то роз. Сапоги хрустко, жестоко наступали на разбросанные фотографии, на деревянные позолоченные рамки.

Подходил к гардеробу. Распахивал двери. Руки любопытствовали, а глаза стыдились и прятались. Но он вскидывал веки, и прямо перед ним на длинных брусках качались пустые вешалки, и он видел, как они превращаются в живые плечи, и плечи одеваются в шинель и кутаются в шубку, как руки влезают в рукава, а ноги торчат из-под обшитых кружевом юбок. Он громко хлопал дверью гардероба и отшагивал от него, и деревянный ящик, как пустой гроб, отзывался смертным эхом.

Отпахивал и дверцы печей. К печам за все это время он успел привыкнуть — ведь сам частенько их топил. Он думал, печи глянут на него пустыми зевами, а он открывал дверцы — и на него вываливались кучи золы: здесь сожгли горы тряпок, утвари, безделушек и, может, писем и книг. И, конечно, нот — все девушки были превосходные музыкантши, он помнил, как Ольга играла и пела, как Татьяна легко и любовно перебирала клавиши.

...На этом рояле бойцы пили водку, в него ссыпали пепел от папирос.

Всякой вещи свое время и свое место под солнцем.

Лямин приседал перед печью, трогал золу. Она была еще теплая. «Я тут ничего не жег. Я ничего не трогал тут! Все сожгла охрана, пока мы ездили их хоронить».

Дверцы скрипели, будто пели. Он шел дальше. Не мог остановиться. Ноги сами его несли. Вот столовая. Сколько раз они ели тут; и сколько раз у царей из-под носа выхватывали недоеденное блюдо, смеялись над ними, тыкали им в нос огрызком ржаного: жри! жри! Кроушку попили, теперь хлебушком закусите!

В камине тоже возвышались горы золы. Здесь тоже много чего пожгли. Возле камина стояло кресло-каталка. В этом кресле выкатывали цесаревича гулять; в нем

иногда сидела царица, ее подкатывали к бельмастому окну, подавали ей книгу, и она читала. С мокрым полотенцем на больной голове. С больными ногами, даже летом укутанными в шерстяные носки.

Лямин шел, и тоска затхлой грязной водой наполняла его легкие, и трудно было дышать. Он хотел туда, дальше, в комнату, где спали царские дочери. Он открывал дверь, и ему в лицо била сухая жесткая пустота. Пустота томила и поражала. Голые стены хохотали над ним. Ему хотелось закрыться от пустоты, как от солнца или пули, рукой. Железная круглая коробка из-под конфет; на коробке написано крупными буквами: «МОНПАНСЬЕ ТОВАРИЩЕСТВО АБРИКОСОВЪ И СЫНОВЬЯ». Вкус лимонных леденцов он остро почувствовал под языком и на губах.

...Вкус ее губ, так и не распробованных.

Под кроватью стояло судно цесаревича. Лямин не понимал, как тяжело он болен и что это за болезнь такая. Ему Пашка сказала — это когда человека ранят, а кровь льется и не остановится. А если ушибется — кровь льется внутрь, и ты можешь умереть оттого, что твои потроха кровью зальет, как река берега заливаает в разлив. Судно! Они все подтыкали эту посудину под мальчишку. И отец, и мать, и сестры, и доктор. И эта сенная их девка, как ее, Нюта. Почему здесь так мрачно? Он огляделся и понял почему. Окно было занавешено клетчатым шерстяным пледом. Он не знал, что это плед, думал — одеяло. Подошел к окну, заморское одеяло сорвал. Кинул на голый матрац.

«А где же их походные кровати? Ведь на них они спали? На такой — она спала?»

Тревога выкрутила нутро. Он выбежал из спальни княжон. Пошел по коридору, твердо, зло распахивая двери — одну, другую, третью. Дошел до комнат, где спала охрана, и до караульной. Толкнул дверь караульной ногой; там стояли эти кровати, длинные, на низких ножках, — настоящие солдатские.

«Да ведь Пашка говорила — их и воспитывали как солдат. Утром царь заставлял их ложиться в холодные ванны, а после растираться жесткими полотенцами, а после делать по пятьдесят приседаний. И они все это проделывали».

Он представил себе Марию — в лифчике и панталонах, с синей пупырчатой, гусяной кожей после ледяной ванны, приседающую перед распахнутым настезь, даже зимой, окном и терпеливо считающую: «...тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать...»

«Ей здесь рождение отмечали. Деятнадцать».

И вспомнил, как добыл ей на день рождения пирог; вкуснейший пирог, с малиновой ягодой, обмазанный яичным белком, облазил все кондитерские — и нашел, и купил на последние деньги, и наврал: мне самолучший, невесте на именины несу, и ему кричали в спину: товарищ, еще теплый! ваша невеста будет довольнешенька! — и он бежал, тащил пирог через весь Екатеринбург, тяжело дыша, хватая воздух небритыми губами, представляя, как она удивится и обрадуется; и она и правда удивилась и обрадовалась, а потом пришли солдаты и Никулин и отняли пирог, Пашка наябедничала, и Мария глядела на него глазами, в которых собралось все смущение и вся радость погибшего мира.

Где же вся их радость? Там, в лесу. Где же вся их жизнь? Там, в глубокой шахте.

Не ври себе. В лесу, под землей их смерть; а их жизнь все равно раскатилась, рассеялась всюду, вот облако в небе, оно так похоже на ее кружевное летнее платье.

Он согнулся и плотно уложил лицо в ладони, будто себя уложил в гроб и прикрыл крышкой. И так долго стоял.

...И по всем комнатам валялись иконы. Множество икон.

Иконы, их красные ненавидели и презирали. Хотя иные солдаты тайком крестились на образа, а на груди носили кресты на гнилых старых гайтанах. Царские иконы

валялись под его ногами, хуже шелухи от семечек; их можно было пнуть, раздавить сапогом, плюнуть на них, пустить на растопку — они бы не сопротивлялись. А как крестилась на них царица! Благоговейно, блаженно. Он никогда не видал, чтобы люди так крестились на иконы, как она.

«Умоленная была. Ей бы — в монастырь... игуменьей...»

Отчего-то подумал: и царю пребыть бы патриархом, а не царем.

Иконы валялись и в отхожем месте за Домом. И у дома Попова, где ночевала охрана; и Лямин знал об этом. Он это видел. Но сейчас он шел по Дому, и он разговаривал с Домом, как с больным другом, и он жаловался Дому на то, что произошло.

«Ты понимаешь, мы их убили. А они — в тебе — жили. Жили! И всюду висели иконы. И они на них молились. И — не вымолили жизни себе».

Он трогал корешки их книг. Пухлая Библия, обтянутая темной кожей, из нее торчали длинные, обшитые атласом закладки. Атлас выцвел и продырявился. Молитвослов. Акафист святой преподобной Ксении Блаженной Петербургской. Акафист Божией Матери. Житие святого Серафима Саровского. «О терпении скорбей». Четьи-Минеи — да, это они читали каждодневно, поминая житие каждого святого, что родился в этот день.

А это что за книги? Лямин наклонялся, шепотом, по слогам читал имена и заглавия. «Лев Тол-стой. „Вой-на и мир“. Антон Чехов. „Рас-сказы“. Сал-ты-ков... ков... Щед-рин. Авер-чен-ко... Миха-ил Лер-мон-тов...» Тезка, улыбнулся он Михаилу Лермонтову и ласково погладил книгу. Поднял с полу еще одну. На обложке стояло: «АЛЕКСАНДРЪ ПУШКИНЪ. СОЧИНЕНІЯ». Развернул. Зрачками выловил сразу и обжигающе:

...если жизнь тебя обманет —
Не печалься, не сердись;
В день уныния смиришь,
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

На голой кровати лежала тщательно оструганная широкая доска. На этой доске ел, пил, играл и читал цесаревич, лежа в постели. Остро и влекуще пахло, но не духами, а чем-то пряным и терпким. Лямин догадался: лекарствами. И верно, по подоконникам, на полках, на тумбочках в изобилии виднелись пузырьки и флакончики, пробирки и чашечки, бутылки и мензурки: в них прозрачно застыли лекарственные пьянящие смеси, которые лишь сутки-двое назад принимали внутрь эти люди.

Лямин шагнул к подоконнику и взял в руки странную бутылочку в форме гитары. На бутылочке была приклеена этикетка. Он прочитал: «СВЯТАЯ ВОДА». Беззастенчиво и бессознательно отвинтил пробку. Что надо сделать? Глотнуть? помазать виски, грудь? Вылить себе на затылок? Хотелось пить. Он, морщась, глотнул. Подносил к губам брезгливо, а глотал чисто, радостно, вкусно. Вода и впрямь оказалась вкуснейшей — холодной в жару, чистой и свежей. «Будто серебра живого глотнул. И правда святая». Думал так, нимало не веря в это.

Вышел в прихожую. Там на лавке стояла приоткрытая коробка. Из коробки торчала шерсть. Он подумал: овечья — и поднял крышку, а под крышкой оказались человечесьи волосы, и он отпрянул. И снова набросил крышку на коробку, и отошел, и выругался шепотом. Это были остриженные волосы девушек; их остригли, когда

они хворали корью, еще давно, там, в своих дворцах. А коробку эту, с волосами княжон, они зачем-то с собой возили, вместо того чтобы выкинуть на помойку.

Лямин потопал сапогами, стряхивая с них налипшую грязь. Повернулся и пошел опять в столовую. Что-то его беспокоило в столовой, а он не знал что. Вошел. За стеклами шкапа виселись сервизные тарелки. Половину из них уже растащили. На полу валялись сухие полевые цветы: гвоздики, ромашки, мышинный горошек, донник. «Донник любят пчелы. Кто сюда цветы приволок? Да и бросил». Вроде как в память... на полу лежат...

Повел глазами. Один из стульев был обтянут чехлом. И на белом чехле, прямо посередине, на спинке стула, отпечаток — красная ладонь — и потеки засохшей крови. «Руку обтерли... после того, как трупы выносили...»

Его прошибла дикая мысль: может быть, это отпечаток его собственной руки.

* * *

...Он закрыл дверь столовой. По Дому ползли съестные запахи. Вошел на кухню. Пашка вздрогнула на стук двери и топот шагов, подняла к затылку руки и привычным ему жестом стянула узел платка, но не обернулась.

Лямин подошел близко и положил тяжелые руки ей на плечи.

— Что, так уж противен?

— Сними руки, — холодно и медленно сказала Пашка, — не видишь, я стряпаю.

На плите булькали две кастрюли. Крышками не были покрыты. Одна с рассольником, другая с чищенной картошкой.

— Рассольник с мясом?

Зачем спросил, не знал. Просто чтобы что-то говорить. Голос от него к ней шел, как человек по канату над пропастью.

— Постный.

— Это ничего.

— Ничего.

Ее спина говорила ему: ты же видишь, нам не о чем говорить.

— Пашка, у тебя что, другой? Честно скажи.

Она возила половником внутри бадьи с рассольником. Поднесла половник ко рту и попробовала на соль, вхлюпнула в себя глоток горячего. Обожглась, махала рукой на открытый рот.

— Ах-ха-ха. Нашел что спрашивать.

— Прости, если что не так.

— А что мне тебя прощать. Ты сам себя прощай.

Вот теперь глянула наконец — остро, колюче, из-за кастрюли.

«Знает. Что — знает? Про Марию? Так я ж никому...»

Михаил попытался пошутить.

— Ты лучше дай мне рассольничку попробовать. Может, рот обожгу... и не потянет к тебе... целоваться.

— Целоваться? — Пашка обернулась к нему всем сильным торсом, стояла рядом, вертела в руках половник, как легкий бабий гребешок. — Целуются, когда любят. А ты меня...

Замолчала. Снова повернулась к плите.

Лямин видел теперь ее профиль, четкий, резкий, будто из дерева срезанный.

— Хочешь сказать — все?

— Что — все? — И голос был вырезанный из дерева и вылитый из чугуна. Как крепкие, закрытые ворота. — Все будет, только когда в могилу положат. А теперь — надо жить и...

Опять молчала. Мешала рассольник. Он ждал.

— И воевать.

— Воевать! На кухне!

— Скоро отправят. Воевать.

Легко вздохнула, будто бабочка у нее с плеча взлетела.

— Куда — тебя?

У него это вырвалось почти криком.

Она куснула губу. Вытерла ее выгибом руки, кистью с набухшими венами.

— Нас с тобой в разные стороны пошлют.

— Это ты постаралась?

— Ничего я не старалась. Мне командиры сказали.

— Командиры?

— Комиссар Ермаков.

— И — Юровский?

— И Юровский.

Зачерпнула полный половник горячего рассольника. Поднесла Лямину.

— Хлебай!

Он отпрянул, как конь.

— Ты что же, дура... горячо же...

— Ага! — Ее глаза блестели двумя сколами разбитого хрусталя. — Горячо! Больно то есть! Боишься, обожжешься! А я — не боялась!

Выплеснула половник в кастрюлю. Суп разбрызгался, и она охнула и вытерла мокрое лицо и грудь ладонью.

— Ну вот, — над собой усмехнулась, — хотела тебя обжечь, а обожглась сама. Так с нами завсегда, с бабами.

— Пашка, — хрипло вытолкнул из себя, последним козырем, — мы же ждем ребенка!

— Мы? Это я жду.

Крепко вытерла руки фартуком, закрыла кастрюлю громадной и тяжелой крышкой. Суп булькал под крышкой тихо и сердито. Сдернула фартук. Он уже подзабыл ее в солдатских штанах, и вот она опять была перед ним в них — в военной своей форме, ни баба, ни мужик, и баба и мужик, и девка и парень, и вместе лошадь, и будто птица, и легкая и тяжелая, и крепкая и слабая, — такая Пашка, какой она была всегда в отряде; и сейчас она отдалилась от него, ее будто осветило отблеском то ли былых, то ли будущих сражений, и эти далекие огни укрупнили ее резкие черты и сделали недостижимым и скорбным ее такое близкое и прежде, в иные редкие минуты, по-бабьи нежное лицо. Он протянул руки, она резко и умело увернулась, отошла, и он глядел на ее сапоги, они отпечатывали по полу кухни мокрый грязный след: она недавно носила воду из колодца и выпачкалась в грязи.

— Пашка! — крикнул он. — Ты меня любишь?

Ее спина. Вся в бликах ясного, яркого пламени.

— Пашка! Ты меня не любишь!

И это было последнее, что он мог ей сказать.

...Опять бродил по комнатам. Один.

Зачем он это делал? Не знал. Дом втягивал его в себя, Дом оставлял его в себе — навсегда. Дом был воронкой, в нее ухало и пропадало в крутящейся черноте все, что мучило его и делало его счастливым: Жигули и буянская Наталья, Западный фронт, Галиция и Польша, Петроград и Москва, Сибирь и Урал, костры и пулеметные очереди, конский храп и запах терпкого женского пота, и Пашкины солдатские штаны, что сушились на голой ветке перед командирской избой, и забытые руки матери, и дикие далекие крики казнимых людей, и звезды, и тучи, и холодные чистые реки —

все исчезало тут, в стенах Дома, под его крышей; и не было сил вырваться, и затагивало сильней, и только по глотку солнца, по глотку неба в огромных глазах этой девочки, царской дочери, и мог затосковать он — перед тем, как все забыть.

Глядел на мебель. Глядел на рисунок на столе: одна из сестер нарисовала акварелью качели меж двух старых деревьев, и листву, и облака, — солнечный день. Под рисунком стояла подпись: «М. Н. Р.». Он глядел на подпись и не понимал, что это — «Мария Николаевна Романова».

Подобрал с полу листок. Красивый почерк. Ровный и строгий. Он все равно плохо разбирает чужие письма: хорошо умел только печатное слово.

— И крест тяжелый и... кро-ва-вый... с твоею... кро... кро-то-стью... встре-чать...

«Из Писания, что ли, стих».

Спустился по лестнице. Вышел во двор. Постоял немного под солнцем; оно и не светило, и не грело — странное пустое солнце. На месте солнца — дыра.

Сад на ветру пошевеливал листьями — что-то нежное бормотал.

Лямин открыл дверь, вошел в Дом и прошел через все комнаты первого этажа. Они были пусты. Вернется ли сюда охрана? Или все уж укатили? Он не знал. «Может, все ютятся в доме напротив, у Поповых. А может, еще сюда придут». «Почему я здесь?» «А кто меня знает. Вот возьму сейчас и сам уйду. Они все... сами боятся и деру дают...»

Его тянуло в ту комнату. Поглядеть. В последний раз. Спустился по лестнице. Глухо бухали по ступеням сапоги. Сапоги замедлили перед порогом. Переступили.

...Слишком темно. Слишком тесно. Как они все здесь уместились?

Окно вело в мир. Единственное. Но в это окно было видно не небо — земля. «Они видели землю. Они уже все здесь были — под землей». Он глядел на толстую чугунную решетку на окне. «Тюрьма, она и есть тюрьма. Даже если это дом — с кухней, столовой... со спальней».

Чуть скрипели половицы. «Как чисто тут вымыли. Всю кровь замыли. Пашка замыла».

Он глядел на тонкую стенку, отделявшую комнату от кладовой. «Там Пашка мне сказала о ребенке». Подошел к стене и потрогал ее. Стена была картонной; по сути, легкая перегородка.

«Если бы Пашка сидела в кладовой — ей бы все было слышно».

«А может, и сидела. Откуда ты знаешь».

«Да ей и так все было слышать. Выстрелы и крики раздавались на весь Дом».

Он глядел на следы от пуль и трогал их. Будто по стене ползли клопы, и надо было их раздавить. Глядел на пол. Что-то его беспокоило. Под карнизами увидел: не всю кровь Пашка отмыла. Следы остались.

«Следы, везде следы. Человек идет и оставляет след. Охотник по зимнему лесу на лыжах идет — за ним след; да по воде лодка проплывет — тоже след, да быстро тает. Эти следы — сотрут, отчистят. И останется только земля. Она все и пожрет. Все наши вопли и все следы. И следа не останется».

Вдруг ясно и горько подумал: забудут. Забудут все! И царей, и тех, кто их убивал. Только произойдет это еще не скоро. «А может, скоро. И оглянуться не успеешь. Скажут: царь Николай! — а вокруг спросят изумленно: а кто ж это был такой?»

Он глядел на стены, и следы от пуль то сбегались к нему, то разбегались черным фейерверком, то сыпались ему в ладони черным зерном, то собирались в страшный черный ком. А потом опять взрывались. И мелькали перед глазами.

Он подошел к стене. По стене бежала кривая надпись. «Это они написали? Но когда? Они бы не успели». Попытался разобрать. Напрасно. «Какие-то каракули. По-ненашему. Может, тайный шифр?» Немецкая строчка бежала, загибалась книзу, косо падала.

Перед глазами встала вся гора кольтов, маузеров и наганов, сваленных на рояле в комендантской. «Мы для казни припасли столько оружия, что можно было бы взять штаб Сибирской армии и генерал-майора Гришина-Алмазова». Сам своей шутке усмехнулся.

Не мог уйти из комнаты: ноги не несли обратно. Так и стоял посреди, глядя то на пол, то на стены, то на потолок с одинокой электрической лампой. «Свет тонул в дыму. Мы света не видели. Вслепую стреляли».

Далеко, на верхнем этаже, раздался резкий стук. Что-то упало. А может, выстрелили. Лямин не шевельнулся. И не вздрогнул. Он стоял и глядел.

* * *

...Город. Он такой мертвый. Он ждет белых. И скоро падет. Город уже знал и ждал, когда он падет; и он хотел, чтобы это произошло скорее, и без особых мучений и без особой крови; но, понятно, без крови никак не могло обойтись, и город, притихнув, молча ждал крови и почти смирился с ее пролитием.

Юровский спешил. Он честно, искренне боялся. Даже паниковал, хотя ему докладывали каждый час о продвижении белых войск. «Уже рядом, рядом», — шептал он сам себе, и счет шел на часы, а час так быстро обращается в минуты, а минуты распадаются на серебряное зерно секунд и толкают вперед тонкую бешеную стрелку на роскошном царском брегете. Царском? Он этот брегет снял с доктора Боткина. Но и Боткину спасибо.

Лошадиные копыта взрыли молчаливый жаркий воздух медным цоканьем. Извозчик подъезжал к его дому, и Юровский стоял на крыльце и видел бороду, гриву, сваленные на подводе мешки. Юровскому показалось: в этих мешках старик повезет его тело, разрубленное на куски. Отогнал видение, улыбнулся вознице. Загодя, сразу, сунул деньги: на вокзале может не хватить времени, кто знает, когда подадут и когда отправят поезд!

Он бросил извозчику: помогай, еще заплачу! — и старик с готовностью прыгнул, как молодой, с козел. Тащили чемоданы и баулы. Слишком тяжелые и слишком много. Что в этих саках и тюках? Извозчик тащил и обливался потом. Юровский заставил старика понадрываться. Сам нес что поменьше: сумку, ящики с серебряной столовой посудой. Боже, какой чемодан! Это всем чемоданам царь! При слове «царь» Юровский почернел и замешкался. Потом опять ногами засеменял. Когда он торопился, он шагал очень мелко, будто ребенок, — маленькими шажками, неловко, неустойчиво. И ноги в коленях кривил.

Громадный чемодан они тащили вдвоем, извозчик и комиссар. Последним взгромодили его на подводу. Чемодан был опечатан сургучными, как на почте, печатями; и старик извозчик немало тому дивился. Тайное, видать, везет; косился на жуткий чемодан. Барин, можно, я покурю? Какой я тебе барин, я товарищ, хотел было оборвать старика Юровский — и осекся. Завтра в город войдут чехи и белые войска, и снова здесь будут бары, господа, светлости и степенства. И не будет его нового мира, их мира, что так жестоко, падая раненой грудью на горы трупов, самозабвенно строят они.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, — шепотом считал багажные места Юровский. Потом прыгнул сверху багажа и крикнул старику: гони!

...Они примчались на вокзал, сгружали багаж на тележку носильщика, и Юровский залился белым молоком ужаса. Что с вами, барин? Он еле разжал зубы. Деньги забыл. Деньги? Ну это вы, барин, поспешили... так я слетаю? Мигом? Он ушами строгими и чуткими, как у пса, слушал выкрики кондукторов: литерный номер сем-

надцать-тридцать два отправляется на Москву через пятнадцать минут! Отправляется на Москву... Нет, друг, не получится у нас ничего. Спасибо, но не надо!

Рука в пустом нагрудном кармане замерла. Дать телеграмму с дороги! Чтобы встретили в Москве и привезли с грузом в гостиницу! Нет, прямо в Кремль!

Где он забыл бумажник? Дома? Нет, в Доме. На столе. В комендантской. А может, его украла Пашка? Эта стерва. Воровская девка. По роже ее видно, что сцапать может, и не охнет, и не застыдится.

Пашка. Он вспомнил комендантскую в ночь перед расстрелом; и стол, застеленный зеленым сукном и прикрытый, для красоты, битой плахой грязного оконного стекла. Под стеклом лежали сухие цветы и исписанные вдоль и поперек бумаги. Еще лежала фотография Ленина — та, где он говорит речь на броневике в Петрограде, и портреты Маркса и Энгельса. Оглядывался. Глаза хватали, будто крали. Серебряные шишечки на никелевой спинке койки. Оторванная медная кнопка на черной кожаной обивке стула. Рояль. Этот чертов рояль. Мошкин все время хотел петь, пить и гулять. Они держали на рояле бутылки с водкой и красным вином. А потом держали оружие. Уже не молотили, веселясь, по клавишам; револьверы валялись внутри рояля, на желтых, стальных и медных струнах. Струны чуть позванивали, когда солдаты лезли в рояль, как в шкаф, за оружием...

Бумажник со всеми купюрами — полбеды. Он забыл дома главное. Он забыл дома свою мать. Ее схватят белые и расстреляют, думал он медленно и спокойно. Расстреляют, ну и что, думал он, и меня тоже схватят в поезде и расстреляют, и теперь что? Всем одна участь. И это та революция, которую ты ждал, которой ты хотел так страстно, что во имя ее бросил все, что тебе было дорого, и ушел за ней — во тьму, в снега и ссылки?

Да, это та самая революция, ответил он себе и сжал зубы, а старик извозчик рядом с ним согнулся весь в три погибели, что-то понял про него — и побежал от него прочь, а может, он просто изменился в лице, и оно у него перекошилось и стало страшным, как у мышиноного царя Щелкунчика из старой немецкой сказки, что мать, старая тетя Эстер, по слогам, запинаясь в русских словах, читала ему на ночь. Носильщик катил тележку быстро, изо всех сил, живот выпирал у него под фартуком и мышцы на руках вздувались, он кричал Юровскому: ништо! Успеем! Вон еще только подали! Еще пыхтит! Запрыгнете на подножку, вам ли впервой, товарищ комиссар! И этот меня знает, в веселом ужасе подумал Юровский, а они с носильщиком уже бежали вдоль состава, и он таращился в билет, ища глазами номер вагона, слеп на ходу, втискивался в первый попавшийся, и носильщик втискивал баулы, сумки и чемоданы вслед за ним, и тот огромный чемодан плыл над головами, как черный Летучий Голландец. Осторожней! — хотелось зареветь ему на весь вокзал, — там же царские сокровища! Но он не закричал так, он еще держал себя в руках, а вокзальная толпа колыхалась и несла его на своих волнах, и он чувствовал себя щепкой, и это было позорное, совсем нецарское чувство.

Они вернутся, они скоро вернутся, думал он о белых с ненавистью, но впереди ждала Москва, и Москва была еще красная. И его это утешало. Он протискался дальше в вагон, подтаскивал свои вещи к себе, продвигаясь с ними, как кучер с обозом, по вагону все дальше, наконец нашел свободное место — это была третья полка, стреха, голубятня. Он забросил на полку все свои баулы и тюки — и тот чемодан тоже. Он не верил в бога, но пробормотал: дай бог добратся.

Поезд тронулся, Юровский закрыл глаза. Сосед напротив, развязав узелок с жареными куриными ногами, помидориной и двумя солеными огурцами, с тяжким вздохом сказал: только бы бандиты на литерный не напали! А так все путем, доберемся, тише едешь — дальше будешь! И стал сосед есть жареную куриную ногу, жадно запу-

ская зубы в мясо, и у Юровского потекли слюнки, но он тут же представил себе отрубленную ногу великой княжны, он не помнил ее имени, лежащую у щедро, могуче горящего костра. И как эту ногу Никулин, оскалившись, берет и в костер бросает.

И так ему сделалось плохо, что он еле успел поднести руку ко рту, нагнул над проходом и выbleвал все, что за завтраком съел, что старая мать приготовила: и пащтет из куриной печенки, и рыбу по-польски, с яйцом и зеленым луком, и фаршированное яйцами, орехами и сыром куриное горлышко, и печенье с изюмом и корицей, — а все это он отменным кофеем с удовольствием запил, а потом еще выкурил дорогую папиросу, и счастье было на весь день обеспечено, — и сосед по вагону, подслеповатый старикашка в похожей на мышеловку засаленной кепке, сочувственно глядел на него и на стыдные его корчи, и шептал, и бормотал: ах, господин хороший, вы, верно, отравились! Юровский утер вонючий рот и сказал: я не господин, а товарищ. И старикашка в кепке замолчал, а Юровский посмотрел на него и ужаснулся: старик был страшно похож на Ленина.

И то правда, Ленин маячил везде, в говорах и репликах, на вокзалах и в деревнях, на газетных свинцовых листах и расклеенных на столбах афишах, в восторженно блестящих стеклах очков красного офицера и в сверкающих ненавистью зрачках офицера белого, — Ленин был всюду и всем, и все, что было Лениным, прожигало душу насквозь, и в эту дыру люди отныне наблюдали свой мир — а мир перестал быть миром, он стал бесконечной войной, и люди повторяли запекшимися губами: Ленин, Ленин, — и мир незаметно стал Лениным, и это было бесповоротно.

«Бесповоротно все», — думал Юровский, тщательно вытирая рот платком и украдкой нюхая платок. За окном вагона неслись летние луга и поля, белые пятна ромашек разбредались по чистой свежей зелени; на болотах розовыми фонарями светились скопления клюквы. Юровский тоже был Ленин, и в очень большой степени; почувствовав себя Лениным, он приосанился, кинул косой взгляд на огромный чемодан на высокой, под грязным вагонным потолком, полке, вспомнил, что лежит под его обтянутой кожей добротной крышкой, и сам собой остался доволен. Дорожная вагонная толпа вокруг него перестала его тревожить. Он понял: Москва его за все похвалит; наказания ему не будет; и все, что он сделал, он сделал по велению страны, трудового народа и Ленина.

И Юровский понимал: он — мессия, и он выполнил миссию, и он едет и везет в Москву красный факел — факел свободы от старого мира. От царей. Он их растоптал. Он их втоптал в землю. Он их унизил и обратил в пепел. Он вспомнил, как на полосатой, как атласный старый барский халат, стене Дома он торопливо написал по-немецки толстым плотницким карандашом, выпавшим из кармана у Никулина: «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ЦАРЬ ВАЛТАСАР БЫЛ УБИТ СВОИМИ ПОДДАННЫМИ». Откуда всплыл в его памяти и ударил его по глазам черный огонь этих слов? Чьи они были? Когда умерли и когда ожили? Он не знал. Писал, как во сне. Подошел Никулин и вытащил у него из сведенных судорогой пальцев кургузый обгрызенный карандаш. Что ты тут черкаешь, комиссар? Слова. Какие слова, прочитай! Он медленно прочитал, по-русски. Ты все правильно написал, товарищ Яков, сказал Никулин, мы восстали и убили его. Все правильно. Все справедливо.

А он стоял у стены, искусанной пулями, еще заволокнутой пороховым сизым, как крыло голубя, дымом, и ему было все равно.

Поезд ударил колесами коротко и страшно, как больным сердцем, в железные ребра вагона и встал. Старикашка в кепке проскрипел: курочки не хотите ли? Юровский отвернулся к окну и не сказал ничего. Он думал о Никулине. Никулин тоже должен был выехать в Москву. Завтра. С мандатом от Уральского Совета и с маузером на боку. Он будет охранять два вагона с царским добром. И еще при нем будет ме-

шок. Они с Никулиным нашли, какой погрознее. Совсем затрапезный; а в Перми Юровский велел Никулину переоблечься в крестьянскую одежку и мешок тот держать у себя под ногами, чтобы ногами его все время чувствовать. Никулин предложил: а может, его веревкой к поясу привязать? — на что Юровский спросил: а как же ты с мешком до ветру ходить будешь? И рассмеялся жестко, хрипло, уродливо.

Там, за спиной, они оставили пустой Дом. Сняли все караулы. Всех бойцов, что Дом охраняли, отослали на фронт, воевать с беляками. И дорога у них у всех была одна — сражаться не на жизнь, а на смерть; если белогвардейцы захватят их в плен и прознают, что они — охрана царя, — казнить будут долго, медленно, с самыми дикими пытками.

В его чемодане — золото и брильянты. В никулинском мешке — жемчуга. Перстни, браслеты и диадемы, кольцо и броши они не считали. Много пропало! Но что с возу упало... Не вернешь того, что прожито. И сожжено.

Колеса стучали. Поля расстилались. Леса летели. Юровский сапогом закатал свою блевотину под вагонную полку. И подумал про себя: я пес.

Ему казалось: брильянты в чемодане шуршат и перекачываются. Говорят с ним. Он слышал голоса царей. Усмехался сам над собой. Он, в тряском прокуренном вагоне, перед грязным стеклом окна, еще не пробитым пулей, среди вони и смрада разномастного люда, был сам себе царь — хоть на один день, на то время, пока поезд мчит его к Ленину.

И пусть появится любая развеселая банда, пусть поезд густо обстреляют беляки, пусть дряни убьют машиниста и ворвутся в вагоны и станут грабить пассажиров, — теперь уже было все равно: он ехал царем, и он владычествовал над собой и страной, и он сделал, что хотел.

* * *

Михаил спал некрепко и вдруг проснулся, как не спал. Ему почудилось: он висит в воздухе над койкой. Он был, странно, один. Вся охрана делась куда-то. Чуть позвякивали железные пружины под его телом. Он завозился, пружины зазвенели громче; затих — пружины продолжали звенеть.

— Что за черт, — сказал Лямин в полный голос и спустил с койки ноги. Пружины звенели весело и беспорядочно, сами по себе. Встал. Оглядел колени, расправляя штаны. Спал одетый. Раздеваться не было сил. Вытер пот с шеи, со щек. Дверь слегка отворилась.

«Ага, вот кто-то из наших возвращается». Дверь дернулась и опять закрылась. Лямин остановившимися глазами смотрел на нее. Открылась опять, пошире. В черную щель втиснулись плечо, рука, пять пальцев высывались из обшлага пиджака и радостно, насмешливо пошевеливались. Кто-то невидимый за дверью пальцами перебирал: то ли дразнился, то ли зазывал.

— Уйди, — сказал Лямин потерянно, потрясенно, а голоса не было.

Вслед за плечом и рукой в дверь протиснулась нога в начищенном башмаке. Потом к ней приставилась другая. Дверь открывалась все шире, и в комнату влезла грудь, обтянутая жилеткой, и другая рука, и спина, и весь пиджак. А голова? Голова где?

— Где голова?! — крикнул Мишка, и ему казалось: он слышит свой крик.

И как только он крикнул это — явилась голова. Мощная лысина. Белый кегельный шар. Голова глубже протиснулась в щель, плечо нажало сильнее, дверь тоненько, жалобно застонала и распахнулась вся. Вслед за лысой, страшной, громадной, как земля, головой человек из двери вышел весь. Он был маленького, даже слишком маленького роста. На собачку похож. Или на маленькую обезьянку.

«Карлик... Откуда он тут? Может, из цирка? Может, я сплю?» Лямин крепко ущипнул себя, крутанул пальцами кожу на запястье. Охнул. Под кожей расплывалась кровь. «Эка я. Как гусь клювом, чуть мясо из себя не выщипнул».

Лысый карлик нагнул голову, рассматривая Лямина исподлобья. Мотнул головой туда, сюда. Из окна сочился голубой лунный свет. Лысина человечка блестела точеной слоновой костью. Он раскинул ручки и растопырил пальцы, словно приглашая Мишку то ли к беседе, то ли к призрачному застолью. То ли молча говорил: ну вот и все, дорогой товарищ, и нечего мне вам больше сказать, вы сами с усами, и все уже совершилось.

— Где я видел тебя, — пробормотал Лямин. Пот стекал у него с надбровных дуг под брови, на веки.

Лысый карлик шагнул к нему, еще шагнул, и Лямин попятился.

— Ну, ну, товайиш. Что вы так напугались? Я не кусаюсь.

Лямин замер.

Человечек радушно, склонив лысую башку к плечу, поглядел на него. Коротко рассмеялся, потер коротенькие ручки.

— И сесть не пьигласите? Тогда я сам сяду. Не тьевожьтесь! Вы в полнейшей безопасности. Пока, ха-ха, вас не клюнул жайеный петух! Сами знаете куда! Ха! Ха!

Лямин обеими руками отер мокрое лицо. Человечек уселся на стул, положил ногу на ногу. Один башмак чистый, надраенный до зеркального блеска; другой — грязный, и грязь налипла комками, красная, рыжая могильная глина.

Он нагнул голову. Лысина блеснула в лунном свете. Лысина сама взошла, как Луна — только не на небесах, а в комнате, напротив потерявшего дар речи Лямина.

— Что же вы молчите? Меня — узнали? Вижу, вижу, что узнали! Да кто тепей меня не знает! Меня, батенька, знает тепей весь мий! Вы смотрите на меня и думаете: это пьизьяк! Не-е-е-ет, батенька, уж увольте! Какой я пьизьяк! Я самый настоящий, и пьядвиее меня нет никого на свете! И знаете что, по секьету скажу, — и не будет!

Лямин протянул руку. Он хотел дотянуться до керосиновой лампы на столе и разжечь ее. Он еще не успел прикоснуться к ней — она дернулась, как живая, отскочила от него по столу, подъехала к краю, и упала, и разбилась с легким жалобным дребезгом.

Он смотрел на тонкие осколки на полу, и дрожал, и шептал себе: не дрожи, уймись, утихни, все сон и бред.

Лысый карлик обцепил ручонками свое выставленное вверх колено. Покачивался на стуле. Рассматривал Лямина, как жука в гимназической коллекции.

— Вот вы, товайиш, на меня так смотрите, будто бы я у вас куйицу укьял. Или вас в кайты обыгьял. А я вам, между пьочим, стьяну подайил! Целую огьомную стьяну! С йеками, моями, океанами, гоами, дойгоами и полями, дейевнями и гойодами! С людьми, между пьочим! Люди, батенька, ведь это тоже матейял! Да еще какой! А вы и не догадывались?! Ого-го какой матейял люди! Самый наипейвейший!

Лямин раскрыл рот, и наконец голос излетел из него.

— И я, по-вашему, матерьял?

— И вы, батенька! И вы! Еще какой! Вы — кийпич в такой фундамент, на каком мы постьоим такое здание... никому в мийе не снилось! И надо сказать, такие кийпичи скьепляются только — знаете чем? Ну? Чем?

Лямин почернел лицом.

— Вейно! Кьовью! Только кьовью, и больше ничем!

— Неужели без крови нельзя? — еле выговорил Лямин. Щеки его пошли рябью, как река под ветром; он скрипел зубами.

Лысый карлик радостно всплеснул ручонками.

— Нет! Нет и нет! Стюительство будущего тьбует только кьови! Вот пьдставь-те себе. Цай Петъй Пейвый задумывает возвести на болотах новую столицу. Нагоняет со всей Йоссии в чухонские болота мужиков. Бьет их батогами. Коймит чейт-те чем. Они мьют как мухи! А гойод, гойод встает из болот! Йождается! Петьогьяд стоит, товайищ, на кьови, и только на кьови! Но если бы этой кьови не было — был бы Петьогьяд?! А?! Была бы слава Йоссии?! А?! Не слышу!

Карлик прижал к уху ладонь, сложив ее раструбом.

— Нет, — ледяными губами вылепил Михаил.

— Именно так! Вот и делайте выводы!

— Мы — кровь...

— Да! Точно! Вы — кьовь! И больше ничего! Матейял, из котойого лепится жизнь!

— И вы считаете... — Это было чудовишно, но они беседовали. Как два простых, живых русских человека за ночным чаем, за рассеянным пасьянсом. — Что пролитая кровь — это всегда добро? Не зло? <...>

Лысый человек выпустил его руку. Пальцы растопырились, жадно шупали воздух. Наткнулись на подоконник.

...Он стоял у подоконника один, совсем один, и тупо, слепо смотрел на фонарь, си-нею лысой луной горящий перед Ипатьевским домом. <...>

* * *

Они успели покинуть Екатеринбург еще до того, как в него вошли белогвардейцы.

Сперва держались рядом. Лямин то и дело косился на Пашкин живот. Да, он рос, но был пока незаметен под широкими штанами и гимнастеркой, ее Пашка частенько надевала навыпуск. Михаил время от времени говорил ей: Пашка, кончай воевать, давай я тебя где-нибудь на Волге, у своих, спрячу. Брал ее ладонями за щеки, заглядывал в лед серых глаз и спрашивал: поедешь со мной в Жигули? Жить со мной — поедешь? Она молчала, дергала головой, и его руки слетали с ее лица, как вспугнутые, голодные птицы.

Они видели перед собою вокзалы, дороги, дышащие терпкими дымами паровозы, плачущий и хохочущий народ, голодных, что тянули руку у обочины, и сытых, что катили мимо в быстрых пролетках. Видели шоферов с лицами дьяволов из бездны, за рулем обляпанных грязью авто, а в кузове — мертвых детей, сваленных штабелями и смердящих. Видели людей в белогвардейской форме, прямо и гордо идущих в рыдающей, летящей по ветру мусором толпе; и людей в красноармейских островерхих шапках-богатырках, похожих на луковицы, а может, на торчащую вверх, к небесам, женскую грудь. Видели, как отошавший безумный ребенок жует, как лошадь, ветки вербы и как бывшая барыня, дрожа пальцами, руками и всем тщедушным тельцем, продает на рынке за бесценнок дорогой, с тяжелым кровавым рубином, княжий перстень.

Они видели многое — и молчали; а толку что было в речах? Речи уже сказали все, уже не слушают речь. И надо просто идти и смотреть.

...А запоминать — не надо; нельзя помнить человеку нечеловеческое.

...Пашку направили в степи под Белорецк, а Лямина, как и хотело красное начальство, в сводный Уральский отряд к Каширину и Блюхеру; но, повоевав осень под Красноуфимском, отшвырнув белых за Сылву, он попросился у командования перевести его туда, где теперь сражалась Пашка.

Пашка написала ему всего одно письмо — в Оренбург. На почтамт он забежал случайно; сердце тревожилось, что-то чуяло. Ему протянули из прозрачного окошка грязный, мятый конверт. Он с трудом, и смеясь и плача, разбирал, стоя под громад-

ной хрустальной, буржуйской, еще не убитой люстрой почтапта, Пашкины удивительные каракули.

«ОРИНБУРГ ПОЧТАМП ЛЯМИНУ МИХАИЛУ ЕФИМОВУ ДО ВАСТРЕБОВАНИЯ В СОБСТВЕННЫЯ РУКИ. МИШКА Я ВА ВТАРОЙ НИКАЛАЕВСКОЙ СТРЕЛКОВАЙ ДИВИЗИЕ ПОД НАЧАЛОМ ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВА. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СВИДЕЦА ПРИЕЖЖАЙ КВАРТИРУЕМ СЧАС В КУРОЕДОВЕ. ЕСЛИ НЕ СМОЖИШЬ НЕ ПОМИНАЙ ЛИХОМ. ПАШКА».

...Когда он прибыл в село Куроедово, в расположение войска Чапаева, и шел пустынной, мертвой улицей, он не думал ни о чем; ни о том, зачем сюда приехал, ни о том, как вдруг увидит ее и какая она стала, — голова была пуста и звенела, как подмерзлая в кладовой тыква, и звоном под сапогами отзывалась жесткая, как лист железа, в белесых от инея земляных комьях, дорога под ногами.

Сапоги ступали размеренно, шел медленно: под Красноуфимском его ранило, да легко, неопасно; он вспомнил, как в войсках Брусилова, на Западном фронте, его однажды зацепил осколок, а вокруг солдаты весело гоготали: «Царапина!»

Винтовка моталась за спиной. Смеркалось в октябре рано.

«Вот уже и год прошел. Промелькнул. С той октябрьской ночи».

Год исполнился его революции; революции их всех, кто хотел иной жизни.

«А стала ли лучше жизнь? Оно, конечно, можно смело себе приврать, что стала».

Усмехнулся, губы дрогнули нехотя. Воевать — устал. Молоть языком, рапортовать, байки баять — устал. «Утомился калякать. А сейчас приду... расспросы... балясы... бумаги класть на стол... а вдруг не здесь, вдруг — снялись отсюда?.. но она ж сама начеркала: Куроедово...»

Сам себе страшился признаться, что из-за нее приехал. «Как там дите в ней? Не скинула бы. Вояка».

...Все было как обычно. Представился. Отчитался. Предъявил документы. Был принят в отряд. О Пашке — ни слова не сронил. «Само все выявится. Не надо тут торопиться».

И все же, когда шел к избе, где его расквартировали, оглядывался, настороженно, по-охотничьи, и опять раздавливались черные, сизые комья холодной земли под сапогами.

Дошел до той избы, что ему указали. Уж вскинул кулак, чтобы постучаться. И застыл со вздернутым кулаком: к нему по улице шла баба в офицерских галифе, в гимнастерке навыпуск, с большим торчащим животом, и в этой животастой бабе в галифе он узнал Пашку.

— Здравствуй, — тихо сказала ему, а может, и не сказала. Может, почудилось. Он взбросил руки, чтобы обнять ее. Пашка стояла недвижно. Не шевельнулась. И он опустил руки — смущенно, обозленно.

Тоже сказал, еще тише, чем она:

— Здравствуй.

А может, и смолчал. Так стояли. Долго? Коротко? Михаил опомнился первым. Постучал в дверь.

— Да тут открыто всегда, не трудись, — сказала Пашка и, сунувшись вперед него, навалившись плечом, с наугой открыла тяжелую, на легком осеннем морозце забухшую дверь.

Вошла первой. Он — за ней.

— Я вам тут бойца нового привела!

Слишком весел, пронзительен был ее крик, забился голубем под низкой матицей.

Вокруг стола сидели люди. Кто в шинелях, кто в куртках, кто-то даже в вязаной женской кофтенке. Лямин стоял у притолоки, дальше не шел, будто сапоги у него примерзли к полу.

- Кто таков?
- Лямин Михаил! Из-под Красноуфимска прибыл!
- А, красноуфимский. Садись!
- Повечеряй.

Лямин краем глаза скользнул по разваренной, в оббитых мисках, белой картошке, по белым усам капусты, свисающим по краям стеклянной пузатой банки, по початой четверти — голубая жидкость плескалась и ходила крылатыми тенями за плоскими гранями толстого стекла.

— Спасибо.

Спасибо сказал, а все стоял. И тогда Пашка легонько толкнула его в спину.

— Это мой приехал, — громко и мрачно сообщила всем.

А потом сама села на край табурета, и табурет чуть хряпнул шатким сиденьем под ее уже тяжелым телом. И тогда, краснея лицом, шеей и, может, даже животом, сел и он.

...Обернулся: кто-то на него долго, холодно смотрел, а от чужого взгляда стало жарко и тяжело.

Беловолосый, патлатый, жесткий, черствый. Плюгавый!

— Латыш, — сказал одними губами.

— Здорово, — сказал Латыш, протянув к Мишке руку, крепко подчеркивая все три буквы «о».

И Лямин, смешавшись, руку эту крепко пожал. Ему уже наливали водки в длинный, похожий на каменный «чертов палец» стакашек, уже били его по плечам, толкали, он уже посмеивался, уже опрокидывал водку в рот и спешно, слепо искал на столе, чем закусить, и ему на вилке соленый помидор тянули, и он глотал холодный терпкий помидор, как сгусток огня, и зрячей спиной видел брюхатую Пашку, а боком — Латыша, а затылком — невидимый мост, перекинутый над ним, жующим, от Латыша к Пашке.

Еще один стакан, и еще один помидор, и еще один смешок.

— А мы-то думали, у ее другой ее!

— А вон ее, оказалось, какой.

— А сколько ж у ей — еенных?

— Эй, бабонька, а не запутлякалась часом в своих-то?

Он зверьими ушами слышал, как она, сидя сзади него, громко и жадно жует. И даже слышал, как глотает.

«Кормит-то ведь двоих... себя — и его...»

Шоркнули ножки табурета о половицу. Пашка встала. Переваливаясь, пошла к печи. Обернулась, и он обернулся. Она поймала глазами его глаза.

— Вы тут без меня в слова поиграйте. Спать хочу. Бой завтра.

Встала на лавку, и Лямин видел, как она сначала завалила ногу на печную ступеньку, потом перевалила на печь свой живот. Там жил его ребенок. «А может... Латыша!»

Пашка долго возилась на печи. Укладывалась. Подкладывала под голову старые цветные тряпки, мягтые занавески. Укрывалась овчинным тулупом. В густой, слипшейся овечьей шерсти старого тулупа можно было заблудиться.

* * *

Он удивлялся: она все еще сидела в седле. На коня забиралась тяжело, хваталась руками за сбрую, скрипела зубами, взваливала себя в седло, как куль с мякиной, иной раз кого, кто рядом маячил, и посадить просила, — а все еще упрямо скакала

верхом. Михаил загибал пальцы, чтобы сосчитать месяцы: сколько времени там, в ней, вертится и бьется эта крохотная непонятная жизнь.

«Страшно и подумать. Дура она! Скачет. Скинет, как пить дать! В бой с нами хочет. Куда переться дуре брюхатой?» Думал о ней со злобой и с такой огромной, щемящей, щенячьей нежностью, какой никогда и ни к кому не испытывал.

Чапаев скомандовал всем двигаться в сторону Троицкого. Кто торопился, дергал и стегал лошадей; кто ехал размеренно, спокойно озираясь, но всякий, Михаил чувствовал это сердцем и кожей, боялся.

Этот страх. Он не забыл его еще с тех, западных окопов. Страх перед боем. «Да и Пашка не забыла. Как забыть?»

Он подъехал к ней, натянул поводья. Она скакала чуть впереди, на полкорпуса.

Сам не знал, как это вырвалось у него.

— Паша... Нельзя тебе туда. Не надо! Я... дите наше еще на этом свете поглядеть хочу!

Она ехала, даже не обернулась. Но он понял: она все услышала и поняла.

Показались крыши Троицкого. Тут была сожжена добрая половина изб. Далеко были слышны густые, частые выстрелы. Словно пулял в пустые небеса давний, позабытый господский фейерверк. Офицер, он имени его не знал еще, пристально и, казалось, гадливо глядел в бинокль на далекого врага.

Пашку из виду потерял. Взобрался на коня. В коленях ломило. Ступни в сапогах мерзли — неряшливо, слишком быстро обмотал портянками ноги.

Красные цепи катились и катились, и дымное утро сверкало инеем под лютым, одиноким солнцем — слепым глазом старухи-степи. Командир Чапаев ехал далеко перед полком — Лямин видел весело мотающийся хвост его коня. Слева, левее сожженного села, перед самой речкой, в ночи уже схваченной первым тонким, паутинным ледком, шел еще один полк. Справа — еще; и были Лямину отсюда видны островерхие суконные богатырки на головах бойцов.

«Где она, дура моя?» Сильно, жгуче жалел, что не поскандалил с ней, в селе, в избе не оставил. Латыша тоже вблизи себя не видел. Он знал его ледяное, лютое бесстрашие и знал, что в любом бою Латыш полезет на рожон и что перед ним, плюгавым, могут полечь толпы, наподобие травы под косой. Ветер налетал, крепчал, гнул, чуть не сбивал бойцов с седел.

Когда объехали Троицкое — тут и ударил враг. Лупили и пулеметным огнем, и артиллерийским. Михаил сжался, сам для себя вдруг стал очень маленьким, крошечным — вжался в седло, обратился в ярмарочного Петрушку: легкое тряпичное тело, грубые, суровые швы. И рожа свеклой раскрашена. Внутри, вокруг сердца, потроха то зажигались, то гасли, то тлели, то холодели.

За ними, конными, перебежками перемещались по полю цепи. Орудийный огонь посекал людей, и цепи разрознились; бойцы падали и ползли, цепляясь за инистую землю, за палые листья скрюченными, отчаянными пальцами.

Лямин слышал крики:

— Впере-о-о-од... Впере-о-о-о-о-од!

Сам ли он кричал, рядом ли с ним кто — не сознавал, не понимал. Огонь густел, и внутренности разгорались все жарче; ему казалось: конь под ним сейчас воспламенится. Свист пуль резал не уши — душу. Душа свежей рыбой лежала на кухонной доске огромного пустого поля — и по полю скакали и стреляли друг в друга люди, что вчера обнимались на свадьбах и за одной бутылкой мутной дурманной корчмы пели родимые песни. «Любо, братцы, любо... любо, братцы, жить...»

Страх все больше разжигал его, он весь уже превратился в костер страха. Никогда ему так сильно не хотелось жить, как теперь — именно потому, что он ждал

ребенка, что Пашка ждала, да все равно, черт дери, чей это ребенок, лишь бы родила! не померла!

Лямин глох, в грохоте, огне и дыму перестал слышать. Да и видеть почти перестал; конь сам нес его, Лямин стрелял из нагана, помня о том, что слева у него на боку еще заряженный маузер, — стрелял, и вдыхал судорожно и глубоко водочной крепости дым и гарь, и вдруг крикнул в этот пьяный клубящийся дым:

— Пашка! Ты где!

Из дыма донеслось — так далеко и тихо, будто бы из-за черных облаков:

— Мишка! Я тут!

К нему из дымных клубов на взмыленном, потном коне вылетела Пашка, она села в седле странно строго, прямо — впереди нее на спине коня лежал ее живот. Лямин ополоумел от радости.

— Пашка! Дура!

У нее в руках красным мокро светилась нагая сабля. И он понял: она рубила казаков саблей, и не охнула, и не пикнула, и — не стошнило ее от вида крови и отрубленных рук и голов прямо на холку коня.

— Сам дурак!

— Будь рядом! — орал он бешено.

— Не приказывай мне! Ты не командир!

— Я твой командир! — вопил, уже все забыв, весь мир забыв и видя только ее, потную, с прядями серых волос по лицу, с огромным животом, давящим книзу коня, с этой красной влажной саблей, с которой вниз, в заиндевелую сухую траву, капало красное, страшное.

— Вот еще!

— Нам надо войти в Троицкое! — кричал Михаил, надрывая глотку. — И скоро войдем! А ты — схоронись! Схоронись, слышишь?!

Пашка не ответила. Он видел — с ужасом и восторгом, — как она дала шпоры коню, чуть нагнулась вперед и быстро поскакала к Троицкому, хвост ее коня развевался яростно, круп конский потно и жирно блестел, страстно стрекотали пулеметы — и с той, и с другой стороны, и с той и с другой стороны били все точнее, все безжалостней, все четче.

Мимо него проскакал командир Чапаев. Он скакал за безумной Пашкой.

...Лямин еще слышал далекое, дикое: «Ого-о-о-о-нь!» — а уши все сильнее закладывало, все сильнее он глох, не различая криков и свиста пуль, бульжного грома снарядов и стонов раненых. Он, трясаясь на коне, вдруг понял: он забыл, за что они воевали. За что он сейчас, вот сейчас воюет. «За что... за что мы бьемся... за какое такое счастье... за какую землю...»

Там, далеко, через грохот и вой, что ему не преодолеть, скакали Чапаев и Пашка; Пашка вламывалась в самую гущу боя, и хоть бы царапина, хоть бы ранка малая, — странное свинцовое, дикое небо хранило ее, кутало, укрывало собой, согревало, защищало — ее и того, кто ютился в ней, рос и расширял ее.

Он, среди боя, жутко и весело улыбнулся. Зубы и белки сияли на выпачканном грязью и кровью лице. Из задетого пулей уха на шею, за ворот гимнастерки стекала, застывая, кровь. Это не рана, баловство одно: и он тоже как заговоренный, и он живой.

Цепи поднялись, бойцы кричали «ура-а-а!» и бежали, по приречным холмам и лощинам, к погорелому селу. Черные сгоревшие избы виднелись уже близко. Михаил проскакал мимо разбитых позиций врага. Около молчащих пулеметов валялись изрубленные в крошево тела казаков. Он прищурился и смог разглядеть оставшийся в живых мир, дым уже медленно истаивал, вечерело, солнце садилось: в Троицкое рысью влетали на конях бойцы, офицеры, Чапаев и рядом с ними — Пашка.

Пашка держала в кулаке поднятую над головой саблю. Сабля розово блестела в догорающем солнце. Хвост коня вертелся помелом. Лямину почудилось: он слышит длинный, торжествующий, будто похмельный, Пашкин крик и видит ее дикий, распяленный рот, и как дрожит язык во рту, и как горят ее бешеные, ледяные глаза.

* * *

...Она уж и сама поняла: на сносях. Живот на нос лез. Не до боев было. Чапаев бил колчаковцев, красные с муками, с потерями, но занимали село за селом, станицу за станицей. Взяли Аксаково. Пашка уж верхом на лошадь не садилась: тряслась в телеге, в обозе.

Когда вошли в Аксаково — определились в избу первыми после командира. Чапаев заботливо глядел на Пашку, иной раз гладил ее по плечу и приговаривал: солдат ты наш, бабеночка, дитеночка родишь, а как назовешь? Может, в честь меня, Васькой?

Лямин курил, плевал на сигарку, мял в пальцах. «И за что ее, сердитую, злюку, так любят все?»

Хозяева, старики, муж и жена, и с ними малый внучок, белокуренький и дико худой, худее сушеной тарашки, норовили налить Пашке супцу погуще и погорячее; из ржаной муки бабка пекла тоненькие лепешки, тоже Пашке заботливо подсовывала, а Лямин лишь нюхал ржаной аромат.

Она грызла лепешки, вдруг во весь рот, нагло блестя зубами, улыбалась ему.

— Не трусь. Не я первая, не я последняя.

...Все настало до будничного просто. Пашка вышла с ведрами, пошла к колодцу, черпнула воды, возвращалась в избу — и Лямин, сидя за столом и грея ладонь об остывающую печь, услышал серебряный звон ведерных дужек и низкий женский вопль.

Ринулся во двор, в чем был — без сапог, босой. Стопы крючились, мерз, дрожал: ночью нападало снегу. Пашка валялась посреди двора, ведра укатились к забору. Вода вылилась на снег, прожгла в нем синие ямы и черные разводы.

Она орала низко, басом. Лямин, дрожа, наклонился над ней. Он видел только ее рот — рот стал огромным, как вскипевшее и булькающее озеро, рот ее кричал, как в бою, нет, страшнее. Она раскинула руки по снегу, сжимала и разжимала пальцы. Подняла руки, положила на живот. Живот то страшно и высоко поднимался, то, дергаясь, уходил вниз, становился плоским; потом опять громадно, жутко топорщился.

Пашка оскалилась по-волчьи. Из-за туч выкатилось солнце, оно тарачилось, вылезало из орбиты неба, росло, пучилось, пульсировало.

— Что... родная?..

— Начало-о-о-о-ось... умру-у-у-у!

— Ты терпи, — бестолково бормотал Лямин, — терпи...

Он в Буяне не раз видал, как рождаются телята, поросята, козлята. А здесь шел на свет головкою вперед — человек. И женщина выгибалась, царапала себе живот, мотала головой, и волосы ее вымачивались в снегу, она упиралась в снег затылком и приподнималась над землей на пятках, а потом опять падала на спину и силилась перевернуться на бок — зачем?

— Щас я тебя... в избу унесу...

Он просунул руку ей под колени, другою обхватил под мышкой. Мишка взошел на крыльцо, ногой толкнул дверь и внес ее в избу. Она дернулась у него на руках раз, другой очень сильно, и он побоялся ее уронить. Скорей положил на кровать. Кусал губы. Подбежала бабка. Через открытую дверь нахально и весело влетали холод, ветер и снег; слышно было, как далеко, в сарае, кашляет и хекает дед — он колот дрова.

— Уйди... уйди...

Бабка замахала на него рукой.

И тут Пашка распахнула заплывшие глаза.

— Баушка... пусть он... рядом...

Сжала кулаки. Вздернула оба кулака над головой.

«Будто... в атаку идет!»

Потрясла в воздухе кулаками. А потом вдруг ими обоими — с силой — ударила себя по ходящему громадными волнами животу. <...>

Мишка вдруг почувствовал, как Пашкино тело ослабло, обвисло, поникло, — замерло. И крик перестал. Губы мотались красными тряпками, а крика больше не было. Щелки глаз сомкнуты. Вздущееся мокрое лицо медленно, пугающе бледнеет. Не дышит.

«Умерла».

— Нет! — крикнул он так, что сруб едва не расселся.

— Погляди... лови-ка... да нет, давай я...

На кровати, под согнутыми голыми ногами Пашки, шевелился красный, мокрый, смуглый, голый зверек.

Михаил с трудом понял: это — ребенок.

— Бабка... почему он... молчит?! Почему он не орет, бабка!?

И тут, будто по его приказу, младенец впервые в жизни вдохнул, его легкие с болью расправились, развернулись в нем, внутри, двумя красными листьями, он вдохнул еще глубже — и от первой лютой боли заорал, как резаный поросенок, взывая резкий красный крик до потолка избы, пробивая им опалубки и крышу:

— Йа-а-а-а-а.... йа-а-а-а-а-а!

И на этот всевластный крик дрогнуло и пошло крупными волнами все недвижимое, обмякшее тело матери, Пашка разлепила глаза, они горели на измученном лице так ярко и чисто, что Михаилу захотелось упасть перед ней на колени.

Он и упал — громко бухнулся перед кроватью. Время не шло — стояло.

— Хозяйка... — Он обернул к бабке невидящее лицо. — Ты что-нибудь — ну, пеленки — почище притащи...

Бабка прошаркала к дубовому шкапу, дверца отъехала с тонким протяжным скрипом. Мореный дуб блеснул в полутьме избы, и блеснуло приделанное к дверце зеркало. Зеркало отразило страшное, искореженное временем бабкино старое лицо, сходное с изрытой корой старого дуба, Пашку на кровати, с все еще согнутыми ногами, испятнанные кровью простыни, полотенца и одеяла, орущего захлеб младенчика и Мишку на коленях перед кроватью.

Все они стыли, замирали в зеркале, еще дрожали жизнью, но уже затихали — там, внутри зеркала, время останавливалось навек — и они вмерзали в зеркало навек; кто-то другой, века спустя, придет, откроет старый шкаф — зеркало блеснет, а там — они.

Но не разбить гладкий лед. И не схватить за руки. И не расцеловать, не прижаться мокрой, в слезах радости, щекой.

Ребенок все кричал. Пашка протянула слабые ветви-руки. Они качались, как на приречном ветру.

— Дай... дай мне...

Михаил вскочил, себя не помня. Взял на руки младенца. Чуть не уронил опять на кровать: так неистово скользок, увертлив он был, весь бился, тоже как давеча безумная рыба-мать, только — малая рыбка.

— Ах ты...

Бабка сунулась ему под локоть с чистыми тряпками. Он положил в тряпки ребенка. Бабка, заботница, завернула углы. Он, дрожа, поднес ребенка к груди Пашки. Мать

взяла на руки ребенка и положила себе на живот. Он, в тряпках, кричащий, у нее на дышащем животе поднимался и опускался, как на качелях.

— Ну... подыми меня... сесть хочу...

Он подтащил ее, ухватив под мышки, к никелированной спинке кровати. Подложил под спину подушку. Она ухватила младенца одной рукой, угнездив его себе на локте, в сгибе руки, а другой быстро, будто век это делала и привыкла так делать, распахнула себе гимнастерку на груди, пуговицы расстегнула — и из лифа выпростала набухшую молоком, белую, в голубых тонких жилках, грудь.

Ребенок искал и наконец ухватил сосок. Мишка глядел, как ребенок жадно сосет. Его крохотные, как цветы ромашки, ручонки беспорядочно ползали по груди матери. Пашка крепче прижала ребенка к груди. Подняла голову.

Михаил ослеп от света ее лица.

* * *

Недолго провалялась в кровати Пашка. На третий день после родов уже воду таскала, обед стряпала. С ребенком обращалась так ловко, будто целый век с детьми возилась.

Дни шли, и недели летели. И люди делали свои печальные и радостные дела. И складывали оружие, и чистили винтовки, и собирали обозы.

Земля горела, и зима горела изнутри — мощными слепящими звездами по ночам, факелами, кострами, печами и спиртовками, на которых пищу готовили и чай кипятили. А днем пылало над людьми вконец спятившее солнце — белое и жаркое, как летом, и в феврале на пригорках уже всю сон-траву цвела.

Красноармейцам нельзя было засиживаться во взятых селах. Центр и Чапаев сошлись в одном: надо идти на Уфу.

Михаил пытался втолковать Пашке: останься тут, у стариков, с дитем! нельзя тебе сейчас в бой! парнишку пожалей! ведь кормящая мать ты! — на что она лишь от-малчивалась, сцепив зубы, закусив губу.

И он опять видел, как стирает в лохани и гладит бабкиным чугуном утюгом, полным чадающих углей, она истрепанную, потертую в плотных швах гимнастерку, чистит щеткой сапоги, как втыкает длинный шомпол в ствол винтовки. В углу стояла сабля: саблю ей сам Чапаев за победы подарил.

Сабля Пашкина была так остро наточена, что не дай бог нечаянно сунуть палец под лезвие: палец оттяпает напрочь.

...Пули свистели, и мысли свистели подобно пулям, быстро и обреченно. Бойцы лежали в цепи, каждый думал о пуле. И молился: пуля, не тронь меня.

Молился и Лямин. Кому? Богу? Он даже не называл про себя Его имени. Пуле вот и молился: пулечка-дурочка, птичка-курочка, милая, хорошая, пролети мимо, не тронь меня. И так каждый молился о себе. «Пусть будет мгновенная смерть».

Лежал, потом вскочил, и перебежал, и залег за крохотный холмик, а в груди екнуло: смерть, и все, и больше никогда он не увидит сына? Своего или чужого, об этом он думать перестал. Властно, жестко сказал себе: Мишка, прекрати об этом страдать! Латыша, хоть он мотался рядом, он и видел, и не видел. Смотрел на него, а получалось, что сквозь него.

Они оставили младенчика в Аксакове у тех древних, молчаливых бабки и деда. Белобрысый внучок стоял у печки и ковырял ногтем известь, когда Пашка мялась перед бабкой, переступала с ноги на ногу, не знала, как начать. Потом сунула ей —

из кулака в кулак — мятые, теплые бумажные деньги. Натe, возьмите. Сына моего сберегите. Я потом за ним вернусь. Аксаково сельцо-то?

Бабка развернула большую, как простыня, цветную бумажку, поднесла к столу, поближе к тускло горящей керосиновой лампе, гладила ладонью — расправляла. Дед сидел на лавке, уронив белобородую голову на щедушную журавлиную грудь: он с утра выпил и засыпал на ходу. «Где один внучок, там и двое, Хосподи, помози нам», — прошамкала бабка, и громко задышала, и беззубо зажевала впалыми губами, и тихо заплакала.

А младенец, крепко запеленутый, лежал на взрослой кровати и нежно, мирно спал — у него еще не было колыбельки, а пьяница дед плел щедрым языком, обещался сладить.

Они тогда вышли из избы, и Пашка быстро пошла, почти побежала к коню, привязанному к пряслу. Добежала. Взлетела в седло. Пока он отвязывал своего коня — она уже скакала в степь, а там, вдали, виднелся обоз, его последние телеги, а впереди обоза черной, сизой, болотной человечьей лавой катилось войско, и он скакал за Пашкой, крепко сжав зубы, и ветер стирал, смахивал у него со щек стыдную слезную влагу.

* * *

...Сухой, противный, быстрый свист — будто ножом провели по чугунной сковороде. Он опять вскочил и, пригибаясь, перебежал — от куста к кусту. Все вперед и вперед. Все ближе и ближе. К кому? К чему? К атаке. «Сколько уж раз я в атаку ходил... и людей подымал...» Зачем считать. Теперь не до счета.

Пашка — на коне. Под ним коня убили. Красивого, умного коня. Он только ногами задергал, заржал коротко, тоскливо — и вытянулся весь, и глаз один закрыл, а другой так и остался глядеть — мертво, холодно, темно. Пашка верхом, а он вот перебежками.

— Впере-о-о-о-од!

«Господи... сколько же раз этот крик...»

Цепь поднялась и тяжело побежала вперед. Сапоги внезапно стали громадными, чугунными.

«Как тот утюг... которым Пашка... гимнастерку гладила...»

Бежали. Потом крик:

— Ложи-и-и-ись!

Лечь — это же счастье. Это — роздых! А может, и жизнь.

Да, да, конечно, это она и есть, жизнь. Ты — живой, и ты — лежишь. К земле прижался. Земля тебя не обманет.

— Впере-о-о-о-о-од!

Поднялись. Бегут, винтовки наперевес.

И мимо — сбоку — по краю цепи — скачут: это красная конница, и сабли наголо, и там, там — Пашка! Он еще видел ее, ее гладкого гнедого коня, ее скачку, бешеную, как ее дыхание, как ее прозрачные глаза, — бешеный галоп, и вся прижалась к конской выгнутой шее, — еще скакали все вокруг нее, опережая ее, стремясь настичь, и разгромить, и уничтожить, и овладеть, — он еще видел ее впереди, хоть она, на коне, становилась все дальше, — как вдруг что-то в воздухе произошло нелепое, подломился сам воздух, его прозрачные, серые зимние слои сместились, хрустнули и стали осыпаться и валиться, и вся земля покрылась твердыми, слюдяными осколками воздуха, — а это Пашка падала с коня, и он, близоруко шурясь, видел это, падала так медленно, что нельзя было поверить в то, что она падает, —

может, это ветер ее сорвал, а сейчас опять поднимет за руки, за плечи и крепко усадит обратно в седло, и она сама посмеется над собой, над сильным и дерзким ветром.

— Пашка-а-а-а-а!

Он так оглушительно закричал, что цепь подумала — он поднимает бойцов в атаку, и все повскакали и рванулись вперед, а пулемет беляков будто обрадовался, зачистил, затрещал густо и жадно, и огонь сметал людей наземь, и они валялись и корчились на земле, обнимая и царапая землю, ударяя ее бессильными, полными боли кулаками, грызли полными болю зубами, — и рот Мишки, полный боли, выплюнул в черный огненный мир еще и еще раз:

— Пашка-а-а-а-а! Пашка-а-а-а-а!

Конь еще волок ее за ногу, застрявшую в стремени. Встал. Косился, раздувал ребрастые бока.

Михаил, тяжело топая в намокшей талым снегом шинели, подбежал к Пашке. Не было сил глядеть. Но глаза сами глядели. От глаз не укроешься. Не скроешься от жизни, пока ты жив.

Он встал на колени в грязь и намешанный конскими копытами, измолоченный сапогами снег. Хотел вытащить Пашкин сапог из стремени. Не смог. Выдернул из сапога ногу. Она, как все солдаты, обматывала ноги портянками. Так лежала: одна нога в сапоге, другая в портянке.

Скулы твердели. Глаза ледяно, жестко глядели в широкое, полное солнца небо. Рядом валялась нагая сабля. Она не успела взмахнуть ею, повоевать.

Вокруг них, обтекая их, бойцы морем под ветром катились по полю в торжествующую атаку, и уже осиливали колчаковцев, и побеждали. Сырой, влажный и винный запах победы, запах крови висел и плыл в холодном воздухе. Снег, лед, ветер, страх, счастье мешались и жгли, накатывали, отступали. Близкая весна плыла и горела совсем рядом.

И тут налетел сырой и серый ветер, опять все вмиг заледенело, зима взяла верх, Мишка дрожал всем телом под шинелью, под куцей гимнастеркой, под штопанным Пашкой исподним бельем.

— Пашка-а-а-а-а...

Бойцы убежали далеко вперед, ускакала конница. Мишка с Пашкой остались одни в зимнем поле. Ветер клонил и гнул Мишку к земле, мотал, как колокол на сгоревшей колокольне. Страшно было прижать к себе свою руку: войдет в пустое нутро, а там — горячий серый пепел.

— Пашенька... дробечка моя...

Она была убита метким выстрелом. Пуля вошла в сердце и сразу остановила его. Она не мучилась.

— Ты... не попрощалась со мной...

Заревел быком. Оторвал ее от себя и силой бросил на землю. Потом испугался, нежно обнял, как живую, сел, положил ее мертвую голову себе на грудь и все гладил, гладил перепачканную кровью ее шинель, и пальцы дрожали, как зимние птицы, на ветру. Снег вокруг них становился красным, пар вился над простреленной шинелью, над раной, над их голыми головами. Ветер вертел их волосы, играл с ними, смеялся над ними.

* * *

Латыш бросил копать мерзлую твердую землю, воткнул лопату в снег и отер запястьем пот с бледного лба.

Они оба, Мишка и Латыш, стояли над телом Пашки. Пашка лежала перед ними на земле смиренно, покорно. Смерть не исказила ее лица. Оно глядело с земли вверх —

и с закрытыми глазами: глядело тем светом, какой Мишка увидал горящим у нее лице, когда она впервые кормила ребенка. Глядело этим насильно отнятым у нее светом, всей неистраченной молодостью, бледностью погибели, ясностью судьбы. Все оборвалось, остались только смиренный свет — у нее и темная боль — у них, живых.

Рядом с Пашкой лежали ее сабля и ее винтовка.

— С ними похоронить?

Вопрос Латыша прозвучал холодно и ясно. Он что-то еще сказал, да ветер взвился, свистнул и заглушил, скомкал голос.

— Нет. Отдадим винтовку бойцам. Саблю я сам возьму.

— Хорошо. Тогда я возьму винтовку.

Скрестили глаза. Михаил отвернулся. Страшно, до дрожи кадыка, хотелось курить. А табака не было ни крошки.

Оба смотрели в яму, ее выкопал Латыш. Глубокую и узкую.

— Гроба нет, — тускло выговорил Лямин.

— Будем так.

Лопата была одна на двоих. Ее взял Латыш. Лямин шагнул вперед и грубо выдрал лопату из рук Латыша.

— Я сам.

— Работай. Устанешь — скажешь.

Мишка махал лопатой. В яму ссыпались, летели черные комья. Пахло землей, корнями, гнилью, весной. Весна скрывалась рядом, за тем сыртом, за дальним курганом. Махал лопатой, махал — и вдруг отбросил лопату от себя, сел на корточки, согнул спину, закрыл глаза локтем. Трясся.

Латыш наклонился, взял лопату и стал аккуратно засыпать землю яму. Когда до края ямы уже оставалось немного насыпать земли, Латыш протянул лопату Мишке:

— На. Засыпь.

Мишка кидал и кидал землю, и скоро, быстро вырос на месте ямы холм, а лопата все металась и металась, все летала, Мишка вонзил ее в черный холод земли и вскинул на Латыша глаза, и Латыш глядел на него, и они читали в глазах друг у друга: «Я тебе сострадаю. Я — тебя — понимаю. Я — тебя — ненавижу. Терпи».

«Терпи... терпи... я так говорил ей... когда она рожала...»

Лопата сама вывалилась из рук. Черенок уткнулся в снег. Лоток, облепленный глиной, лежал на земле.

— Все?

Латыш опять усмехался.

— Все. Есть закурить?

— Нет.

— И у меня нет.

— Что будем делать?

— Ничего.

Латыш наклонился и поднял с земли лопату. Носком сапога счистил землю и грязь с лотка. Лямин стал мелко дрожать. Он — в той недавней яме, необъятной, страшной, заваленной бревнами и хвойными лапами — голую Марию вспомнил.

«Обе в земле. Мария — в земле, и Пашка — в земле. Земля всех пожрет. Всех съест. Всех нас. Никто не уклонится. Не удерет. А мы?! За что бьемся! Где же земля? Наша, наша земля? Где земля?! Где свобода?! Есть ли конец войне?! Да кому, кому она нужна, эта бойня?! Нам?! Или — им?! А кто такие они?! И кто такие мы?! Нет границы! Нет! Они и мы — одна земля! Одна плоть! И кровь тоже — одна! Все — одно! Все — едино! А мы... все убиваем и убиваем... убиваем и убиваем... друг друга... друг — друга...»

Тучи ошалело неслись над их головами. Ветер дул холодный, страшный, а земля была теплая. Теплая и нежная. И — дышащая. «Сколько мертвых брошено в нее... в жадину... и все равно зачнет... и — родит... новых людей родит...»

Небо над ними вздувалось кусками серой шкуры, ветер, плохой скорняк, грубыми острыми ножницами все резал и резал эту мощную, лохматую баранью шкуру на новые, узкие и широкие лоскуты, кромсал, терзал. И снова шил, сшивал острой, насквозь, навывлет, стальной и ледяной иглой.

Жесткие, железные лица людей алели от ветра, ненависти, горя, холода.

— Пашка, наш сынок, найду его, — сказал холодному черному холму на прощание. Махнул рукой Латышу: пойдём! Но все стояли. Не в силах уйти.

* * *

В июне красные отбили у белых Уфу. В сентябре, подо Лбищенском, погиб в бою Чапаев.

Комдивом Двадцать пятой стрелковой дивизии стал Иван Кутяков. Кутяков жестко сказал им всем: воюем до последнего! И рубанул воздух короткопалой рукой. Они, бойцы, слушали, глядели и верили.

Время то бежало, задыхаясь, то ползло медной улиткой. Время, насквозь прошитое смертной медью пуль. Щедро посыпанное серым, тусклым перцем пороха. Ешь не хочу.

А может, его уж и не было, времени-то; были только они, люди, время изувечившие, укравшие его сами у себя.

...Лямин отпросился у Кутякова в Самару. Из Самары выбили белочехов, заплатив богатой кровью, да с юга на губернию двигались уральские белоказаки. Лямин решил так: пока передышка, съездить в Новый Буян. «Если сожгли село — хоть на пепелище посмотреть». Он до сих пор не знал, что с его домом, что с отцом, что с сестрой. «Дай-то Боже, чтобы живы хоть остались».

Шла, напознала из-за горбатых усталых увалов, снегами скалилась зима. Трясся в вагоне. Сгорбился у деревянной стенки. Дремал, нахлобучив на брови папаху, да ушки на макушке. Винтовку и во сне сторожил. Не ел, не пил: нечего было. Напротив крестьянин узелок на коленях развязал, творог из узелка руками ел: Михаил чуть руку не протянул — попросить кусочек. Крестьянин шамкал, медленно, с трудом прожевывал творог, все ел и ел, нескончаемо, нудно и соблазнительно. Лямин закрыл глаза, но чувствовал опасный, свежий и детский запах творога. Соленая горячая уха затекала в рот. Он жадно глотал ее.

...Понял — это его слезы.

* * *

Громадные зверьи спины Жигулей горбились, вздымались, опадали, морщилась и ходила огромными застылыми волнами земля, лишь прикидывалась незыблемой и вечной, — ледяная Волга мчалась, застывала первым непрочным льдом, могуче, сверкающе заворачивая на юг, прорезая собой допотопную, мертвую древность. Здесь в меловых осыпях светятся гигантские скелеты мертвых спиральных раковин; на обрывах из осыпей торчат, как патроны, длинные страшные белемниты; Мишка с парнями не раз находил их на берегу, в сыром песке, у кромки прибоя. Огольцы вопили: «Чертов палец! И еще один!» Размахивались, швыряли их в реку, кто дальше кинет.

Земля ходила ходуном и вздымалась под ногами лесным, мохнатым черным тестом, осыпалась каменной соленой крошкой, скользила под ногой нежной наледью, лепилась к подошвам то белой, то синей, то рыжей глиной.

Шел в шинельке своей, с латаным вещевым мешком за плечами, штык горел на закатном солнце, по знакомой с детства дороге, — уже к Буяну подходил. Ледок луж хрустел под сапогами. Люди на пути попадались. И большие, и малые. Ему все равно было — дети, бабы, мужики, старики. Он не различал лиц, не видел глаз и рук. Роста не видел. Возраста. С ним заговаривали. Он молчал. Так и шел молча. «Они думают — я глухой. Да я, может, уже и глухой».

Шел все быстрее, увидав первые избы. Все быстрее и быстрее. Все шире, бешенее шаг.

Уже — бежал. Бежал и глотал слюну, внезапно ставшую густой, сладкой. Слюна забивала горло.

Подходил — к пустоте.

...Ветер шевелил сухую траву на пепелище. Лямин глядел и не видел. Он не видел пустоты вместо дома, а потом увидел дом — дом стоял так крепко и мощно, вырастал из земли, неколебимый и веселый, как никогда; и вроде бы крашенный, и вроде обихоженный. Дверь стукнула, ветер ее сам открыл; и на крыльцо вышел заспанный Ефим, тер лоб и переносье сонным кулаком.

— Отец! — сказал Михаил мертво.

...Не было никакого отца.

Он стал видеть. Медленно поводил глазами. Щупал ими землю. Присел на корточках, взял в пальцы пепел, растирал в пальцах его. Холодный, черный и сизый, присыпанный снежной крупкой, как крупной солью. Пепел незаметно становился пальцами. Он сам медленно становился белемнитом. Кто-то, кто был сильнее, мощнее его, хотел вколоть его, белемнит, острым концом в землю; засыпать землю и пеплом.

Встал. Отер черную руку о шинель. Пошел по улице, глядя на еще живые, зрячие дома.

В иных горел свет. Он сам не знал, куда шел — ноги, как умного коня, сами привели его к дому Ереминых. Долго стоял, не решаясь войти, вцепившись в калитку. Толкнул калитку, прошлепал на крыльцо. Не крикнул, а просто сказал, скучно и негромко:

— Эй, есть кто живой?

Было понятно: есть. В хлеву мычала корова. Крыльцо подметено, снег налетал на чистые доски, и голик, связанный из ивовых прутьев, скромно стоял, приткнутый к резному деревянному столбу.

Долго слушал. Мерз на низовом ветру. Серые, синие тучи быстро летели с севера, от Волги, накрывали холодным платом село, распадки, горбы лесистых черных гор. Серая, затянута хрупким тощим льдом, изветренная земля вся продрогла побиружкой-сиротой, ее дырявая небесная шаль рвалась под ветром на ветхие куски конопляной мешковины, опять склеивалась, дрожа, в скорбную холщовую плащаницу, а снег утешал сироту, укрывал до горла, заметал толстым, густым одеялом.

Хотел уж идти. Внутри избы по половицам застучали босые, будто детские пятки. На крыльцо выбежала рябая девчонка. Вытирала мокрые руки о фартук.

— Душка!

Девчонка подняла руки, как бы защищаясь. И глазами мелко моргала, до смерти испугалась; и рот открыла, уже для крика.

Лямин взбегал на крыльцо, уже обнимал ее, притискивал к себе. Целовал в пахнувший овсом русский затылок.

— Душка, Душенька...

Душка отодвинула от груди Михаила рябое лицо. Щупала его, как дорогую вещь, как если бы он был — часы, обнова.

— Минька... здравствуй... на множество лет... а-а-а-а...

И — в слезы. Слезы бабьи, мелкие да частые, частый дождик, так близко непогода — лишь зазевайся, и посыплют.

Михаил тряс ее за плечи:

— Что?! Что...

— Ты видал свой до-о-о-о-ом?!

— Да видал. Видал!

— Спалили его-о-о-о-о!

— Как отец? Мать?

— Мама дома-а-а-а... Отец как ушел бить германцев, так и пропа-а-а-ал...

— Да чего ревешь-то, коровища?!

Опять обнимал, по голове гладил: ну все, все, все...

Душка шмыгала носом. Оспенные рябины тусклой рыбьей чешуей прилипли навек к зарозовевшему на морозце, корявому, будто из комков теста слеplенному лицу.

— Ничего-о-о-о. Я все-о-о-о-о...

— Все, все. Как Наталья?

Душка утерла сопли и слезы ладонью, потом фартуком. Высморкалась в фартук и перекрестилась.

— Господи прости... Наталья? Хорошо. Лучше нас всех!

Он это понял по-своему.

— Умерла?! Что крестишься! А?!

Душка затрясла русой головой, и тощая коска у нее на затылке вмиг развилась, жидкие волосенки рассыпались по плечам.

— Да нет! Нет! С чего ты взял? Жива! Она — замужем! За Степкой Липатовым! У них в дому живет! Хлеб жует!

— Вот как. Ясно.

Он выпустил ее плечи. Опал весь, осунулся. Ноги не держали. Может, оголодал и просто есть хотел сильно. Сел на крыльцо, на приступок. Душка глядела на его спину под сукном старой шинели. На грязную папаху. На погоны Красной Армии. На согнутую шею, и на шее — медная цепка, крупные звенья; а там, под гимнастеркой, крест. Не звезда красная, а все равно Божий крест.

Плечи шинели встопорщились. Поднялись. Он шинелью, как земляной горой, хотел защититься от нового горя. А не было защиты; гулял ветер, выдувал со двора сор, мотал белье на веревке, сбивал с крыши проржавелые печные трубы.

Душка положила крепкую, уже сызмальства натруженную руку на болотное военное, грязное, в засохшей крови, сукно.

— Минька... Ну все, все...

Как он миг назад, так она теперь утешала его.

Хотел к избе Липатовых явиться. Наталью увидеть. Уже сами ноги туда понесли. Остановился, сжал кулаки и сам себе тускло, жестко сказал:

— Нечего и видаться. Все прошло. Живи, счастья наживай.

Пошел по улице, начиналась метель, снег сек ему лицо, а лицо горело, он снял папаху, и лицо ею вытер, и так шел, с голой башкой, папаху в руке, тяжело вдавливая в лед и грязь кожаные гири сапог, — шел прочь из села, прочь от родины, а под ногами, под сапогами все равно плыла грязью, пружинила стылой землей родина, и под горой зальделой рекой блестела она, родина, и из туч сыпала она, родина, мелким злобным, больно кусающим снегом, — он уходил с родины, а родина цеплялась

за сапоги его, за подошвы, ложилась под него мощным выгибом напитанной кровью, и льдом, и костями земли, крутилась под ним, дышала под ним, умирала и рождалась — под ним одним.

И он ярче всего, именно сейчас, знал, понимал: он — один, и родина — одна.

* * *

Размахивался вширь и вверх промозглый и холодный, как все в эту осень и эту зиму дни, серый, как шкура барсука, невзрачный день, когда Лямин в кузове попутного грузовика прибыл в село Аксаково. Здесь, перед боем, они с Пашкой оставили в избе у неведомых стариков новорожденного младенца. Он забыл улицы села, забыл дома; они все для него были и тогда, и теперь на одно лицо. Красный, медный свет керосиновых ламп, а может, свечей, а может, нищих лучин манко, зазывно, тревожно мерцал то в одном окне, то в другом. Он шел на свет, а потом шагал прочь от света. Иногда он останавливался, оглядывался и глядел на свои следы, оставленные в свежем, за ночь нападавшем крупитчатом снеге. Потом опять шел вперед. Ремень винтовки давил, не давал дышать. Он расстегнул ворот шинели. Отогнул сукно от шеи. Ветер ему был вместо платка.

Подходил к окнам, вглядывался, топтался, опять отходил и шел, шел. Голову кружило.

«Бабка... бабка... Как ее зовут... забыл...»

Да он и не знал. Шел и слушал странную, невоенную тишину. Будто не было на земле ни войн, ни революций, ни грохота танков, ни огня орудий, ни торопливого тараканья пулеметов и тачанок, — ничего. А хоронились за зимними стенами крестьяне и поедали, в долгие зимние вечера, запасы, что успели сделать палящим летом и рыжей, красной осенью. «Жадные... куркули... едят... жить хотят...»

Остановился, весь краской залился: он забыл, что он — тоже крестьянин. И так же, на зиму, с отцом заготавливал всякую снедь.

...У косых ворот стояла старуха. На голове — для тепла — аж три платка; сморщенное лисье личико выглядывает из-под навесов шерсти, острый нос щепкой торчит.

Его толкнуло к ней: узнал. Подбежал. Вещевой мешок подпрыгивал на спине.

— Бабка... Бабка!

Наклонился и почему-то по-городскому, чинно поцеловал ей обе пахнущие горухом и ладаном сморщенные руки — сперва одну, затем другую. И зачем-то, тепло и слезно, с комом в глотке, выдавил:

— Мамка...

— Сыно-о-о-ок, — протянула бабка, и вязаные вытертые платки медленно сползли с ее древней головы, обнажив старое серебро редких, гладко зачесанных волос. Костяной маленький гребень упал в грязь. Михаил поднял его, сам в жиденькие седые волосенки воткнул.

— Узнала...

— Узнала.

— Жив мой сыночек?!

— Да жив, жив... што ты так орешь-то... уши закладывает...

Вместе прошли в дом. Михаил толкся близ притолоки.

— Мамушка, дальше не пойду... грязный я. Наслежу.

— И наследил! Хосподь с тобой!

— Где он?

Озирался. Сердце колошматило сильно и зло, вылетало вон из ребер.

— Да ты походи... Походи... Сядь вот, отдышишься...

— А дед твой как?

— Деда на площади повесили, — буднично и даже скучно прошуршала бабка истертым, как ее платки, теплым голосом.

— А... внучок?

— А Митеньку стрельнули. Недавно. Сороковины уж прошли.

Сидел на табурете ровно. Бабка ушла в горенку. Ждал. Что он думал в это время? О чем? Как? Ни о чем. Это было впервые у него в жизни, что ни о чем не помышлял; мысли взлетели и все, разом, улетели прочь, внутри все было пусто — съедено, выпито до капли, выжжено дотла.

Не человек, а пустое, сшитое из тряпок и сложенное из битых горшков, страшное и смешное чучело сидело на шатком табурете. Глядело в окно, и глаза застывали; вот они уже и стеклянные пуговицы, как тому и положено быть у чучела. Хоть сейчас на огород ставь, и птицы в страхе разлетятся.

Бабка вышаркала из горницы, несла на руках ребенка. Ребенок был спеленут туго, верно, чтобы ни ручонкой, ни ножонкой не шевельнуть, — лежал у старухи на руках и посапывал.

— Спит, Хосподи прости, спит, — сказала бабка и нежно улыбнулась беззубым ртом, в янтарном свете керосиновой лампы сверкнули голые розовые десны. — Уснул! А то орет... так блажит, хоть всех святых выноси...

Лямин хотел встать — и не мог. Но все-таки встал. И принял у бабки из рук младенца. Он держал его на руках, а бабка все улыбалась, казала беззубые веселые десны.

— Спит! И отца даже и не чуёт... шельмец! А уж какой славненький, кохда... купаю ево в лохани... а он — холяком... так и вертится, так и крутится ужом...

— Чем кормишь? — остатками голоса спросил Лямин.

— Да чем, чем! Всем, что под руку подвернется... Хосподь помогает... то хлебцем, то молочком... то кашкой на водице, себе варю, и он похлотаёт...

Лямин стоял с ребенком на руках и смотрел ему в спящее, спокойное лицо. Маленький ротик. Маленькие брови и веки. Маленькие щеки. Все маленькое. А будет большенькое. Когда? Может, и его самого тогда уж на белом свете не будет. А вот он — будет.

Едва слышно шептал, чтобы бабка не слышала:

— Это мой ребенок, мой, мой, мой, мой...

Опять стоял и молчал. Гирьки ходиков ползли вниз, дотягивались до половицы.

Медленно, молча, не слушая бабкиного бормотанья, Лямин вышел, осторожно прижимая к себе спящего ребенка, на низкое, вросшее в землю крыльцо; спустился вниз, ощутил под сапогами устланную жестким снегом землю.

— Сколько же тебе? Годик ведь скоро? А как тебя крестили? И крестили ли? Крестика-то ведь нет на тебе? А может, есть? — горько шептал он, радостно, счастливо нагибая тяжелую голову над младенцем, и огнем горели надо лбом его красные волосы, и он мотнул головой и скинул папаху, папаху упала наземь, он стоял посреди зимы с голой горячей головой, держал на руках своего сына, и влажные капли вдруг поползли по крохотному спящему личику — это Лямин сронил слезы на лицо мальчика.

— Как же тебя называли-то?... И то, вот я дурак, отец твой, и не спросил... И — сам не назвал... бабке не сказал... Да ведь как-то тебя звать-то надо... Миленок ты какой... бельчонок... Колокольчик мой... Коля, Коля, колокольчик... Николаша... Ни-колашка... рваная рубашка...

Ветер рвал с крыши солому. Михаила прошиб пот: имя-то — царя. «Царское имя будешь носить... а ведь я — царя — убил...»

Ветер нанес снег, он ударил из тучи жестко, щедро и страшно, почти как град, — яростно летела в лицо Михаилу, била его по щекам и губам жесткая, острая белая крупа, вонзались в кожу ледяные иглы. Он всею спиной передернулся под шинелью. «Царь — убит... а ты — родился...»

И баба, лишь баба земная одна несет, чуть покачивая на широких, мощных плечах, на могуче выгнутом коромысле эти ведра снегов, эту чистую воду рек и озер, эту грязь, этот хлеб, эти зарницы, дальние огни, все эти жизни и смерти.

Он на миг увидал — с коромыслом и ведрами — веселую, смуглую Наталью, потом — с саблей наголо, на скачущем наметом коне — Пашку.

И вдруг увидал Марию — она шла к нему медленно, радостно, сперва по снегу, по мерзлой земле, потом ноги ее стали отрываться от земли, от грязи проселочной дороги, и она уже шла по царским, золоченым, в лепнине, залам, потом по госпитальным коридорам, потом по утопанной народом снеговой, столбовой дороге к могучему храму, потом по хвойному этому, страшному лесу, по бревнам и еловым лапам, наваленным на яму, где нагие, изувеченные тела, потом выше сосен и елей, по облакам, по серым волглым тучам, и он ясно, хорошо видел ее крепкие круглые, яблочные плечи, ее сильные, налитые здоровьем и радостью руки, ее ясные, густосиние, веселые глаза, и он шептал, заплетая пьяным от горя и счастья языком: Волга... Волженька... Волга моя... — и все исчезли, он стоял один на израненной, укрытой снежным саваном земле, и снег летел ему на голую востропанную голову, путался в красных его волосах, рос двумя горками на плечах, падал на личико младенца, младенец сморщил нос, и чихнул, и открыл глаза.

Глаза ребенка глядели не бессмысленно. Они глядели подводно, подземно, ясно и небесно. В них переливался, сиял тот забытый людьми великий смысл, что и дает человеку на земле силы жить.

Будто бы он, малый младенец, что-то такое знал, доподлинно и верно, всем маленьким существом своим, всей непрожитой жизнью — истину. И никто эту истину не смог, не сумел еще ни втоптать в грязь, ни расстрелять, ни вздернуть на виселицу, ни рассечь саблей в кровавые куски.

— Николаша... Николка...

Он стоял с ребенком на руках, снег щедро и обреченно заметал их обоих, и Лямин распахнул шинель и упрятал сына под шинель, закрыл его от снега и ветра горячей грудью. Так стояли. Ребенок заплакал тихо и нежно, разевая рот, во рту дрожал его маленький красный язык, Лямин тихонько качал его и неловко напевал ему колыбельную, а он-то и колыбельных не знал, бормотал, гудел, что на ум придет, — чувствовал грудью, сердцем это родное, теплое тельце, и вот это и было одно, не убитое, не сожженное и не расстрелянное, единственное, что у него оставалось от всей его жизни, от всех искромсанных, расстрелянных жизней и от всех смертей: этот живой комок, неразумный, теплый, горячий даже сквозь пеленки, пахнущий нежной мочой, жеваным хлебом и коровьим молоком, — его сын, Пашкин сын, Николай, — посреди бесконечной войны и обильно политых кровью полей, — его малый ребенок на его руках, под ветром и снегом, посреди его родной, черной, горячей, горящей земли.

Роман РУБАНОВ

* * *

Лед на реке не сошел темно-серый.
Парк у реки неприкаян и гол.
Словно в кимвалы защелкали: «Веруй!»
Неугомонные — дрозд и щегол.

Веруй в сошедшие воды и всходы,
Первые почки в скуфейках дьячков,
Первые весточки грустной свободы,
По капиллярам несущие кровь.

Веруй в домашнее чудо природы —
Свет, прорастающий лампочки из.
Даже при полном отсутствии, сроду
Не прекратится привычная жизнь.

Тихий монтер над электрощитами
Будет, искусственной молнии средь,
Модули чинно меняя местами,
На новолуние медью звенеть.

Труд его, знает, не будет напрасен.
Ловко трехгранной отверткой махнет,
Скажет: «Да будет!» И будет прекрасен
Свет, под которым ломается лед.

* * *

Белгород—Москва. Райцентр Дьячкова.
За окном деревья семянят.
Проводница в блузке подростковой
робко спрашивает у меня:

— Кофе? Чай?
Как дурачок, киваю.
Тарахтит стаканчик на столе,
в такт стихам как будто подвывая, —
Кофе, чай, «Последний вечер ле...»

Роман Владимирович Рубанов родился в 1982 году в деревне Стрекалово Хомутовского района Курской области. Окончил факультет теологии и религиоведения Курского государственного университета и Рыльское педагогическое училище. Работает главным режиссером Концертно-творческого центра «Звездный», актер Курского театра юного зрителя «Ровесник». Участник Форумов молодых писателей России. Лауреат литературной премии им. Риммы Казаковой «Начало». Лауреат премии «Писатель XXI века». Член Союза курских литераторов. Член Союза писателей Москвы. Обладатель Государственной стипендии Министерства культуры РФ. Публиковался в журналах «Арион», «Сибирские огни», «Нева», «Кольцо А», «Урал», «Новая Юность», «Гвидеон», «Плавучий мост», «День и ночь», «Литературной газете», сборниках «Новые писатели», альманахе «День поэзии» и других изданиях. Автор книг стихов «Соучастник» (М.: Воймега, 2014) и «Стрекалово» (М.: Русский Гулливер, 2016) Живет в Курской области.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ

В пивбаре «Бабы слезы» толчя.
Здесь утоляют жажду мужики.
Вот бьет в бокал янтарная струя,
и в предвкушенье ходят кадыки.

Я как-то раз ходил туда с отцом.
Со света попадаешь в полумрак.
И со стены — подмигивает сом.
Народ. За стойкой тетка. Помню, как

отец меня из сада забирал.
Спешили мы. По телику хоккей.
Нас пропускают. Тетка трет бокал.
Отца торопят, дескать, побыстрей.

На блюде появляются рубли.
Над блюдцем тетка — не трудись, не кличь.
И в трехлитровку льется «Жигули»
янтарное, как дедовский «москвич».

Отец, взяв банку, запахнет пальто
и крепко за руку возьмет меня.
Вкус «Жигулей» мне не знаком. Зато
вкус этого предпраздничного дня

я помню: как отец был молодым
и на плечах меня везде таскал,
и запах «Жигулей», и «Астры» дым,
и Третьяка в воротах ЦСКА.

* * *

Диме Савосину

Дедовский самосад куришь. Все пальцы желтые.
Вот оно, городской, счастье с дымком «районки».
Летние вечера пасмурные, тяжелые.
Сахарная вода капает из колонки.

В школьном саду сидят на золотом крылечке
слева направо все самые дорогие.
Выпей, и, как всегда, станет немного легче.
Выпей и закуси горькую ностальгией.

Скоро опять в Москву. Будешь по серой ветке
белкой туда-сюда прыгать. Но душу греют
дедовский самосад и самогон соседкин,
магнитофон «Весна» серый без батареек.

Мы на крыльце стоим. Как на физкультминутку,
выстроились. Рассвет чуть проступил штрихами.
Ты закурился, брат, мокрую самокрутку
передавай и в путь с третьими петухами.

* * *

Погасли окна. И, переходя
на шепот, я спросил тебя: А знаешь,
что если ангелы с небес глядят
на нас, а в окнах света нет, и тьма лишь,

как в первый день творения, то мы
видны, как на ладони, видно даже,
как робко наше прошлое из тьмы
на стенах проступает белой сажей:

выходят бабки, деды и дядья,
и даже можно разглядеть лета их,
и, как на фотографии, семья
стоит и ждет, и птичка вылетает.

Что видно им еще? Ведь, кроме тьмы
и пращуров, что в памяти блуждают,
есть те, кого мы называем «мы»,
и те, кто нам ничуть не досаждают,

допустим, совесть, мелкие грехи,
и крупные, и страшные — все видно.
Погасли окна. Ангелы тихи.
И мы молчим, безропотны, невинны,

как при рожденье. Тенорок запел.
В крестильной тесной дышится свободно.
Вот крестные, священник, вот купель,
вот погружают нас поочередно,

вот «Верую...» запели, вот свечу
зажгли, святые с севера и юга
глядят, вот я — младенец, я кричу...
И мы, проснувшись, смотрим друг на друга.

* * *

Дождь зарядил. Тонкой пленкой накрыл деревню.
Так накрывают мебель во время ремонта.
Ходишь на ощупь, не находя дверей, но
все остальное находишь. Вот дом, уж он-то

твой. Обознался. Бывает. И стало страшно.
И ничего не ясно — зачем мы? кто мы?
Знаем отчасти, но так ли уж это важно?
Важен молочный запах родного дома,

важен соленый привкус ржаного хлеба,
важен молочный зуб в бирюзовой чашке,
важен прокисший запах скота из хлева.
Господи, дай мне вспомнить. Да как же тяжело!

Вязнешь в траве размокшей, и запах речки
тянется, пробирается во все щели.
Я говорю. Если я говорю. Но речи,
речи моей не слышно. Лишь еле-еле

слово мое позвякивает, бряцает.
Тускло все и гадательно. Савл, Савл,
как ты был прав. Но что-то вдали мерцает,
и нет никакой тьмы. Ты не оставил,

значит, меня. И я разрываю пленку.
Пахнет теплом и дымом — мороз по коже.
Тянется по песку легкий след ребенка.
Кто это? Это я. Это я, Боже.

* * *

Над Стрекалово дымка плывет.
Мама Дымку выводит из хлева
через двор — из ворот, поворот —
и налево.

На крученой веревке тугой,
до обеда, по сочному лугу
ходит Дымка, тряся головой
предрассветной, по кругу.

Там рассвет и трава высока,
луг широкий усыпан цветами.
Будет много у нас молока
и сметаны.

Тучным выменем, будто мешком,
золотыми набитым, позвякивает
и весь луг молоком
заволакивает.

ОЛИМПИЕЦ

Повесть

1

Валера увидел на площади суетливую толпу. Недалеко от памятника Ленину с гомоном носились дети. Кудахтали и размахивали списками фамилий раскрасневшиеся воспитатели. Родители торопливо выгружали из багажников авто рюкзаки и сумки. Горластые тренеры не могли сосчитать привезенный с собой спортивный инвентарь. Пацаны в красно-белых майках встали в круг и по очереди чеканили мяч. Девочки лет тринадцати делали селфи с историческим монументом.

Патрульные машины, преградив въезд, изредка побрякивали сиренами. У обочины, пугаясь в веренице припаркованных легковушек, возвышались два туристических автобуса.

— Здорово.

Услышав знакомый голос, Валерка обернулся.

Эдуард щелчком выстрелил окурком и протянул руку. Невысокий, с короткой стрижкой и кришнаитской косичкой на затылке. На Эде были выцветшая майка с едва уловимым изображением Гребенщикова и широченные бриджи кислотно-го цвета. За спиной гитара, одетая в джинсовый чехол, левое плечо оттягивала дорожная сумка.

— Как думаешь, опохмелиться успею? — спросил Эдик, поправив лямку на плече. — Там «Спар» за углом. Рванем по пиву?

— Ты че, обалдел, что ли? — выпучил глаза Валерка.

— Нормально. Ты лучше глянь, Вожак не видно?

Вожак они прозвали Руслана Вафовича, директора спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец», по совместительству дядю Эдуарда.

— Да вон он, с тренерами перетирает.

— Вот гад, — Эдуард в сердцах бросил сумку на асфальт, — ну вот как после этого быть?! Это ли не юдоль скорби?

Заметив ребят, директор бодрой походкой направился к ним. Подтянутый, с седым ежиком на голове. На свои шестьдесят три дядя Эдуарда совсем не выглядел. Его можно было принять за рано поседевшего, крепкого сорокалетнего мужчину.

— Че стоим? Кого ждем? — отрывисто бросил Вожак.

— Мы тоже рады вас видеть, Руслан Вафович, — устало выдавил Валера.

— Так, без разговоров. Дуйте ко второму автобусу, поедете с борцами.

Закинув сумки в багажный отсек, ребята поднялись в автобус.

Дети бегали по узкому салону, визжали, шелестели фольгой, отнимали друг у друга чипсы и газировку. Кто-то отчаянно пытался сорвать с окон занавески. Другие

Иван Олегович Катков родился в 1986 году в Казахстане, в г. Актюбинске. Учился в Нижегородском государственном университете им. Лобачевского (филфак). Публиковался в журналах «Великороссь», «Слово», «Пролог», Русский переплет», «Сетевая словесность», «Начинающий писатель», «Гостиная» и др. Живет в г. Дзержинске Нижегородской области.

устроили борцовский поединок на заднем сиденье. Третьи, карабкаясь по высоким креслам, пытались взобраться на багажные полки.

Угомонились юные «олимпийцы», только когда появился тренер по самбо. Огромный, с бритой головой и торчащими в разные стороны переломанными ушами.

— Тишину поймали! — прогремел тренер, и все стихли.

Казалось, даже двигатель стал работать на меньших оборотах.

Автобусы отъезжали. Родители не спешили уходить с площади. У некоторых был такой вид, словно они провожали своих отпрысков в последний путь. Иные, напротив, не скрывали радости. В толпе угадывались счастливые лица папаш.

Ехать предстояло около трех часов. В сопровождении двух полицейских «десяток» выбрались из города и покатали по трассе.

Опустив спинку кресла, Эдик быстро уснул.

Автобусы плыли по залитому солнцем шоссе. Густые воротники деревьев за окном сменялись цветущими лугами или низкими домиками редких деревень и дачных поселков. Попутные автомобили уступали дорогу, угодливо перестраиваясь в соседний ряд. Полицейское сопровождение действовало безотказно.

Идея устроиться вожатым в летний спортивный лагерь пришла в голову Эдику. Уже больше года он уклонялся от армейской службы и зарабатывал на жизнь, продавая славянские обереги на Покровской улице Нижнего Новгорода. Узнав о том, что его дядя выбил должность директора лагеря, падкий на халяву Эдик напросился к нему. А чуть позже замолвил слово за своего друга — безработного неудачника Валеру. Мало того, поехать в «Олимпиец» трусливого увальня пришлось еще и уговаривать.

«Дармовые харчи, море в двух шагах, еще и деньги платят! Не тупи, Валер, такой шанс раз в жизни выпадает!»

Недолго поколебавшись, Валерка сдался.

2

Территорию «Олимпийца» окружал высокий забор. Деревянные домики, расписанные рисунками из советских мультфильмов, хаотично расположились по периметру огороженного лесного массива. От проходной, повиливая, уходила асфальтированная велодорожка.

Дети шумно высыпали из автобусов. Затем достали сумки из багажных отсеков и, подгоняемые тренерами, разбились на группы. Футболисты, боксеры, гимнасты, борцы и прочие спортсмены заполнили площадку у столовой.

— Двадцать шестой номер — ваш, — мимоходом бросил Вожак, сунув Эдику ключ на капроновом шнурке.

Домик, который выделили ребятам, прятался от солнца под березовой листвой. Треснутый шифер на крыше порос ядовито-зеленым мхом. На крыльце валялись сухие ветки, ржавые ведра и жестяные банки из-под краски.

— Выдал хоромы, — бурчал Эдуард, ковыряясь ключом в навесном замке.

В крохотной комнатухе пахло сыростью. Там стояли две кровати со свернутыми у изголовья матрацами и две тумбочки с корявыми надписями, нацарапанными шаловливой детской рукой. На веревках, натянутых под потолком, болтались чьи-то застиранные «семейники» и с желтыми разводами майка.

Эдик расправил матрас и бросил сумку на кровать. Гитару бережно прислонил к стене.

Они вышли на крыльцо, облокотились на облезлые перила, закурили. Сверху свисали длинные нити паутины. Валерка ткнул в них тлеющей сигаретой.

— Вообще-то у нас не курят, — раздался визгливый голосок с требовательными, руководящими нотками.

Обернувшись, ребята увидели высокую, худощавую женщину лет тридцати. Она носила очки и собирала волосы в жидкий хвостик.

— Здравствуйте, молодые люди, — насмешливо произнесла она, постукивая папкой по ладони, — зовут меня Ирина Владимировна, я старший воспитатель и ваш непосредственный начальник.

Женщина прошла в комнату. Беспардонно сбросила сумку Эдика с кровати. При села, раскрыла папку и сделала какие-то пометки.

Друзья выбросили окурки и вошли следом.

— Так, кто из вас Валера? — спросила она.

— Я за него, — махнул рукой Валерка.

— Замечательно. Значит, ты сегодня отвечаешь за музыку. На тебе дискотека. Аппаратура на проходной. Ключи возьмешь у Болтушкина, это наш завхоз, он тебе все объяснит. Ну а ты, Эдуард, будешь на подхвате, — Ирина Владимировна поднялась, одернула старомодную, кремовую юбку. — Так, сейчас черкните свои телефоны, и я побежала.

3

Маленький, пузатый завхоз был похож на крепко поддающего Карлсона. Он то и дело пощипывал пожелтевшие усы и хлопал подтяжками на камуфляжных штанах.

Гостей Болтушкин встретил хмуро.

— Умеете хоть пользоваться-то? — кряхтел он, вытаскивая из подсобки аппаратуру.

— Разумеется, — успокоил Эдик и смахнул пыль с микшерного пульта.

Ребята вынесли две массивные колонки на улицу. Карлсон протянул спутанный моток проводов и удлинитель на катушке. Затем сходил за ноутбуком. У ноута оказалась сломана петля на крышке.

— Микрофон еще есть, — участливо сообщил завхоз, — только он нерабочий.

— Спасибо, обойдемся, — сказал Валерка, с трудом поднимая колонки.

После столовских щей и мясной запеканки вожатые, сидя на крыльце, распутывали головолонку из проводов.

За это время Ирина Владимировна успела позвонить трижды.

— Ну как успехи, юноши? — беспокоилась старший воспитатель. — Я на вас надеюсь.

Валерка отключил телефон.

— А это вы новые диджей? А сегодня будет дискотека? — пищали дети, окружив ребят.

Некоторые старались ухватить Эдика за куцую косичку. Тот рычал и дергал головой. А один смельчак, спрятавшись за деревом, метал в вожатых шишки.

— Пошли вон, уроды!!! — не выдержал Эд, когда еловый снаряд отскочил от его лба.

Мелюзга со смехом и улюлюканьем прыснула в разные стороны.

— Все, на хрен! С меня хватит! — сказал Эдик и воинственно зашагал в сторону проходной.

Установив колонки на низкой сцене павильона, Валерка сидел за школьной партой и, проклиная коллегу, наугад выкручивал ручки микшера. Реанимировать удалось только одну колонку. Вторая шипела и хлюпала. «Ничего, — успокаивал себя диджей, — хватит с клопов и одной».

Поначалу «олимпийцы» кучковались у павильона, не решаясь подняться на танцпол. Но как только стало смеркаться, к сцене, поближе к колонке, вылетели гим-

настки. Образовав круг, они пластично двигались, копируя модные движения. Парни жались у стен. Некоторые хватали своих приятелей за руки и вытаскивали в центр. Мальчишки трусливо убегали обратно.

Появилась Ирина Владимировна. Она одобрительно похлопала Валерку по спине и показала большой палец. Затем отошла в сторону и начала приплясывать, в такт покачивая головой.

Возвышаясь над прыгающими шкетами, к диджею протискивалась полноватая женщина в коротком топе и голубых джинсах. Она была ярко накрашена, выглядела лет на тридцать пять.

— А есть «О боже, какой мужчина!»? — призывно склонилась мадам, коснувшись грудью Валеркиного плеча.

— Сейчас поищем, — ответил диджей, смущенно отстраняясь.

— Спасибо, добрый человек, — хохотнула она и грузно соскочила со сцены, едва не сбив с ног девочку в кудряшках.

Тетка горячо отплясывала, энергично перемещая тяжелый, как сетка с картошкой, зад из стороны в сторону. Ее финты становились все откровенней. Казалось, еще немного, и она начнет раздеваться.

Когда Натали наконец стихла, танцорка обиженно скривила губы. Затем топнула, громко произнесла что-то вроде лошадиного «тпру», спрыгнула с площадки и убежала.

— Не обращай внимания, — сказала старший воспитатель, поймав Валеркин взгляд, — это Алена, племянница нашей медсестры. Она малость не в себе. Приезжает отдохнуть, воздухом подышать...

— А как же...

— Что? А, да не, она не буйная, не первый год уж ездит.

Около девяти вечера позвонил Эдик. Валерка отошел в сторону, там было потише.

— Чувак! — с азартом кричал Эд. — Ну ты как там, справился с техникой? погоди, я же самое главное не сказал! Я тут с двумя парнями познакомился. Короче, они работают массажистами в соседнем лагере. И там студенток из Политеха до фига! Надо будет сгонять к ним в гости. Ну ты че молчишь? Алле!

— Развлекаешься? А я тут из-за тебя колонку сжег. Ты же сам орал, что разбираешься во всей этой канители!

— Я в этом смысле не больше твоего, друган.

— Отлично! И меня одного кинул! Шикарно!

— Ладно, не бузи.

Валерка нажал сброс.

Вернулся Эдуард около полуночи. Не раздеваясь, упал в кровать, накинул на себя одеяло и отвернулся к стене. Через минуту послышался храп.

— Не спите еще? — постучав, открыл дверь Руслан Вафович и вошел в домик.

Валерка отложил книгу. Сартр «Тошнота» — разглядел название дальнозоркий директор.

— А что Эдя у нас? Притомился с непривычки? — спросил Вожак и присел на краешек постели.

— Ага, умаялся, — ответил Валера.

— Вы, ребята, только меня не подводите. Мы ведь теперь одна команда. Я здесь человек новый, многие против меня заговоры плетут, — вполголоса проговорил директор, мотнув головой в сторону двери, — и за вами будут следить, присматриваться. Любая ваша оплошность — удар по моей шее. А поработаете здесь, проявите себя, и уже будем думать, как вас на таможду пристроить, в охрану. У меня там лейтенант знакомый. Деньги хорошие будут платить. А то куда это годится, почти по двадцать пять лет мужикам, а какой-то ерундой занимаетесь. Ведь неглупые же

парни, начитанные вон! Я Эде сколько раз говорил вытащить эти дурацкие серьги, крысиный хвост обрезать и работать нормально. А он уперся. Не буду, не хочу. Все под дурачка. Потому что проще так.

Эдик перевернулся на спину и засопел с полуоткрытым ртом.

— Не понимает он, — сказал Вожак чуть тише, — что детство давно кончилось. Имидж, видите ли. Имидж — это когда деньги в кармане шуршат. Ясно?

— Ясно, — кивнул Валерка.

— Да ничего вам не ясно, — вздохнул он, — поколение...

Хлопнув себя по ляжке, директор встал:

— Ладно, пойду я. В девять «летучка», не опаздывайте.

Руслан Вафович вышел, плотно закрыв скрипучую дверь.

4

Утром Валерка поднялся рано, распахнул дверь. Щебетали птицы. Покачиваясь на ветру, царапали крышу ветви березы. Слышался глухой топот. Небольшими группами спортсмены бегали кросс.

Собрание длилось не больше десяти минут. Вожак стоял в центре, упиравшись ладонями в край длинного стола. Остальные расселись друг против друга. Эдик, уронив голову на сложенные перед собой руки, прятался за широченной спиной Геннадьевича, тренера по самбо.

Директор говорил, присутствующие вяло кивали. Руководители кружков что-то записывали в ученические тетради. Только Ирина Владимировна то и дело вскакивала со скамейки и тянула руку, как школьница. Вожак осаживал ее властным жестом:

— Успокойтесь, с вами позже решим.

За спиной директора важно, словно верблюд, вышагивал Болтушкин. Покрасневший, усыпанный угрями нос картошкой, рубашка с закатанными рукавами и неизменные подтяжки.

«Летучка» закончилась, и все, тихо переговариваясь, неспешно отправились в столовую. Дети уже успели позавтракать.

Во время утренней тренировки вожатым предстояло сделать обход. Проверить порядок в домиках, осмотреть тумбочки на предмет запрещенных продуктов (чипсов, газированной воды, жвачки, семечек и прочих допингов), а затем выставить оценки в журнал.

К обходу Эдуард подготовился основательно — взял с собой два огромных полиэтиленовых мешка.

— Шмонать так шмонать, — сказал он, — наверняка у гавриков припрятана куча приколов.

— Не жалко? Это ж дети, — пытался пристыдить Валерка.

— Хватит либеральничать, ради их же пользы.

Ребята зашли в первый домик. Эдуард по-рыцарски припал на колено и открыл тумбочку.

— Пусто, — тоскливо резюмировал он. Затем вытащил из-под кровати чью-то сумку и стал рыться в ней, раскидывая по полу майки, эластичные бинты и трико.

— Чувствую себя последней скотиной, — сказал Валерка и вышел на крыльцо.

— Так, — деловито проговорил Эдик, — приколов не нашли, кровати заправлены, в тумбочках порядок — ставь четверку.

— А почему не пять? — Валерка раскрыл журнал и щелкнул ручкой.

— Идеальный порядок говорит о бедной духовной жизни постояльцев. Пошли дальше.

Около спортплощадки к ним подскочила племянница медсестры, безумная Алена.
— Приветик, — широко улыбнулась и обняла Валерку за талию, — а сегодня будет дискач?

Валерка шагнул в сторону, освобождаясь из ее объятий:

— Будет-будет, не переживайте.

— Ты меня не хочешь, — обиделась Алена, — а твой друг?

— Господа, я что-то пропустил? — хлопал коровьими ресницами Эдик, когда женщина нырнула в его объятия.

— Потом объясню, — буркнул Валерка, — пошли на обход.

— Так я с вами, мне все равно делать нечего, — сумасшедшая крепко сжала Эдику ладонь.

— Алена, не мешайте, пожалуйста, работать, — сказал Валера, — идите, вас там, кажется, искали.

Женщина вырвала руку и, всхлипывая, потрусила к медпункту.

— Ну и зачем ты бабу отшил? — спросил Эдик, покусывая травинку.

— Да? А ты ничего не заметил?

— Например?

— Например, что она со сдвигом.

— Ничего подобного. Ты совсем не разбираешься в людях. Просто своеобразная, неординарная, мне такие нравятся, — Эдуард посмотрел ей вслед.

Позвонила старший воспитатель. Валерка нехотя ответил.

— Мальчики, — стрекотала Ирина Владимировна, — поторопитесь, вы мне будете нужны. Давайте-давайте, в темпе вальса.

— Да шли ты ее, задрала уже! — зыкнул Эдуард.

Парни посетили еще несколько домиков, оценивая порядок по всей строгости. Эдик успел побросать в пакет кое-какие трофеи. На пути им попался Вожак. Он спешил в тренерскую.

— Валера, не сутулься, — игриво крикнул он, — девки любить не будут.

Валерка демонстративно расправил плечи.

— Эх, пацаны вы, пацаны, — махнул рукой директор, — когда вы только повзрослеете?

— А мы, дядь, как советская власть, — сказал Эдуард, — повзрослеем не раньше тридцать седьмого года.

— Балабол, — снова махнул Руслан Вафович.

В одном из домиков вожатые обнаружили на столе томик Герберта Уэллса.

— Вот тут твердая пятерка, — сказал Валера, — даже пять с плюсом.

— Единогласно, — закивал директорский племянник.

Потом друзья по распоряжению старшего воспитателя занимались подготовкой к конкурсу «А ну-ка, девочки!». Таскали громоздкие парты и стулья, бегали по лагерю в поисках обручей и скакалок, раскладывали кухонные приборы, клянчили у медсестры бинты и вату для конкурсов. Все это время Ирина Владимировна торопила парней. При этом истерично, как молодая свинка, взвизгивала. Она комкала и топтала листы бумаги со сценарием конкурса, если что-то выходило не так.

— Чувак, а ты вот, к примеру, знаешь, что может спровоцировать человека на убийство? — спросил Эдик.

— Ну?

— Совсем немного. Для этого вполне достаточно провести в компании этой мымры хотя бы пять минут.

Вечером к вожатым скреблись дети. Они скулили и слезно умоляли вернуть изъятые «приколы». Спустя два часа Эдуард распахнул форточку и широким жестом выбросил пакет чипсов. «Олимпийцы» набросились на него, как гиены на загнившую косулю.

— Ну что может быть приятней власти? — патетически изрек тиран, стоя перед окном и попивая колу на глазах у страждущих. Глотнув, Эдуард закатывал от наслаждения глаза.

На дискотеке Эд танцевал медленный танец с Аленой. Он что-то шептал ей на ухо. Племянница медсестры хохотала.

— Кажется, я влюбился, друган, — рассуждал Эдик в домике. Он лежал в кровати, закинув ногу на ногу, перебирал гитарные струны, — она, знаешь, как чеховская душечка. Добрая, нежная и непосредственная. Я таких еще не встречал...

5

По дороге в деревню Суходол за вожатыми увязался пес. Лохматый, с вытянутой мордой, пушистым хвостом и комочками грязи на рыжевatom брюхе.

— По-любому с лисой скрещена, — сказал Эд, теребя собаку за ухом.

— Давно ли в селекционеры заделался? — усмехнулся Валера.

— Да тут невооруженным глазом видно. Вон смотри, морда-то лисья. Напомни мне ему сосисок зацепить, ладно?

Ребята двинулись дальше. Было начало шестого вечера, а солнце палило, как в полдень. Проехал какой-то сопляк на квадроцикле, накрыв вожатых густой пыльной тучей. Эдик откашлялся, выругался и показал лихачу средний палец. «Лисопес», помахивая хвостом и бодро твякая, то отставал, то забегал вперед.

— Веста, — сказал Эдик, — назовем ее Вестой. Ей подходит.

— Хорошо, пусть будет Веста. Хотя, возможно, это кобель.

В магазине работал кондиционер. Шумные студенты из соседнего лагеря закупались пивом. Продащица, бурча, доставала из-под прилавка упаковки с «полторашками». Валерка с Эдиком взяли вина, сигарет и триста граммов дешевых сосисок.

На улице пса не оказалось.

— А где же собакин? — сказал Эд и несколько раз коротко посвистел.

— Мне больше интересно, где твои друзья-массажисты? — ответил Валерка.

— Обещали к шести. Ладно, пойдем пока в лес. Там тенёк, хорошо. Сейчас их наберу.

Вожатые расположились на поваленной березе, под навесом густой листвы. Стоял приятный запах свежей зелени.

Вскоре подошли массажисты. Одного, высокого, с прыщавым лицом и острым носом, звали Захар. Другого, полного, с редкими усиками и взлохмаченной кудрявой головой, Петр.

Захар оказался чрезмерно болтливый, друг его, наоборот, был молчаливым и угрюмым.

— Работа, парни, кайфовая, — рассказывал Захар. — К тому же еще и деньги платят нормальные. Мы уже третий год ездим, мы у них типа на хорошем счету.

Петя достал из кармана перочинный ножик, поднял ветку и стал усердно ее строгать.

— Так, может, и нам что обломится?

— Да какой базар, парни. Приходите к одиннадцати на танцульку, все будет.

— А как нас пропустят? — поинтересовался Валерка. — Там же ворота у вас Бранденбургские и охранники постоянно шустрят.

— Грамотный вопрос, — кивнул массажист, — на этот случай там лазейка есть. Вы нам ближе к делу отзвонитесь, и мы вас протащим.

Разошлись около восьми вечера. Валерке еще предстояло провести дискотеку, да и массажистов ждала работа.

Стараясь изобразить бурную деятельность, Валерка сосредоточенно добавлял песни в плейлист. В тот вечер на дискотеку пришли почти все. Даже конькобежки вихлялись в сторонке. Эдик, распахнув рубашку и подняв воротник, исполнял странные шаманские па. Лицо его покраснелось, взгляд был зловещим и полным безумия.

— «Нирвану»! Хочу «Нирвану»! Валер, ставь «Нирвану»! — кричал он.

Даже племянница медсестры шарахалась от него по всему павильону. Ребята-футболисты снимали ошалелого вожатого на мобильный телефон.

Доиграл последний медленный танец. Валерка сдвинул ручки микшера на минус и включил общий свет. «Олимпийцы» недовольно замычали.

— Всем спасибо, все свободны, — сказал диджей и принялся сматывать провода.

Эдуарда он застал на крыльце домика. Он сидел на корточках, безвольно свесив взмокшую голову. У его ног лежала гитара.

— Ну и че ты там вытворял? — спросил Валера, загоняя удлинитель под тумбу.

— Наша славная Конституция великодушно предоставила мне право на отдых, — невнятно пробормотал он. — Пойду в море окунусь. Потом по бабам. Позвони пока этим... массажерам.

Эдик поднялся и, спотыкаясь, вышел.

У проходной ребят остановил Болтушкин:

— Куда путь держим, молодежь?

— Прогуляться, — ответил Валерка, — ворота откройте, пожалуйста.

— Ночной променад, — вмешался Эдик, — что, нельзя? Крепостное право, чтоб вы знали, отменили в тысяча восемьсот шестьдесят втором году.

— В шестьдесят первом, Эд, — поправил Валера.

— Тем более!

Завхоз кивнул небритому охраннику в камуфляжной куртке. Тот лениво поднялся со стула и, поигрывая связкой ключей, направился к воротам. Карлсон наблюдал за парнями сквозь узкие щелочки глаз.

Со стороны лагеря «Альтаир» грохотали басы, изредка прерываемые бодрым голосом диджея и восторженными криками толпы.

— Ну где там их лаз?! — нервничал Эд. — Все же пропустим.

Подсвечивая телефонами и ориентируясь на сдавленный голос Захара по ту сторону забора, вожатые нашли небольшую прореху в сетке-рабице. Ползя по-пластунски, Валера ободрал спину.

— Только постарайтесь охране на глаза не попадаться, — предупредил Захар, — увидят без бейджиков — выкинут в момент. И нам заодно влетит.

В домике у Захара и Петра стоял запах жареной рыбы. Расселись на кроватях. Курили, стряхивая пепел в закопченную стеклянную банку. Петя принес электрогитару. На исцарапанном корпусе старенького «Фендера» красовался логотип панк-группы «F. P. G.»

— Уважуха, — покачал головой Эдуард, любовно принимая инструмент, — комбик есть?

— Неа, — ответил Петр, — мы в нашем клубе играем, там усилки.

У толстяка оказался тонкий, почти детский голосок.

Эдик взял пару аккордов и отложил гитару:

— Неплохой аппарат.

Говорили о музыке и девчонках. Эдик все больше и больше распался, Валерку, наоборот, клонило в сон. В итоге он закемарил на койке Захара, трогательно прижав колени к груди.

Ребята отправились на дискотеку, оставив спящего Валерку в домике.

Огромный танцпол был выложен брусчаткой с затейливыми узорами. Над диджейским навесом крепился массивный стробоскоп, подмигивающий всеми цветами радуги. Чуть левее — лазерный проектор. Несколько лучей, точно мечи джедаев, резали площадку вдоль и поперек. Расставленные по периметру колонки бахали так, что отдавало в грудь.

Было много девушек в коротких юбках и белых майках. Спортивного вида юноши, согнув руки в локтях и сжав кулаки, энергично скакали под «Хард Басс».

— Ребята, да ведь это эдем! — потер ладони директорский племянник, проводя взглядом девчонку в обтягивающих джинсах.

Размахивая руками, точно осваивая баттерфляй, Эдик с радостным воплем ворвался в толпу. Массажисты присели на скамейку рядом с пустующим стендом, на котором остались лишь пожелтевшие уголки фотографий. Петр шумно дышал и озирался по сторонам. Захар попытался заговорить с проходившей мимо блондинкой.

— Отдохни!

Получив резонный ответ, незадачливый ловелас сразу сник.

Зазвучали гитарные переборы Limp Bizkit «Behind Blue Eyes». Десятки пар слились в медленном танце.

— Бивни! Сатрапы! — срывая голос, кричал Эдик на противоположной стороне танцплощадки. — За все ответите!

Через мгновение его выволокли два рослых охранника в серой униформе. Левое ухо Эдуарда распухло и было лилового цвета. На рубашке отсутствовал рукав. Вместо него остались только нитки, свисающие с плеча, словно эполет.

Массажисты вскочили и подрапали в сторону домика. Они забежали в комнату и принялись расталкивать Валерку:

— Просыпайся, дружба твоего повязали!

— О, Господи, что еще этот придурок натворил? — Валера тяжело поднялся, осторожно ступая, вышел из домика и поплескал на лицо из умывальника. Затем вернулся и снова опустился на включенную кровать.

— Валить тебе надо. По-быстрому, — бегал из угла в угол Захар, — как бы и нас не повязали.

Петр спешно стирал со стола пролитое вино и прятал недопитые пластиковые бутылки Валерке в рюкзак. На крыльце раздался топот. Разболтанная дверь, шаркнув о деревянную половицу, распахнулась.

— О, Серег, смотри, тут еще один, — заглянув, сказал охранник, — давай-ка на выход. А с вами, — обратился он к массажистам, — решим завтра. Готовьтесь.

Валерка повесил за спину рюкзак и вышел. У Захара было онемевшее, точно вылепленное из воска, лицо. Петя сидел насупившись и смотрел в пол.

— Не, ребят, а собственно, в чем проблема? — возмущался Эдик, подгоняемый церберами. — Ну зашли к приятелям на чай, тоже мне преступление. А тот тип в спортивках сам на меня наехал.

Охранники молча следовали за нарушителями. Наконец их доконвоировали к высоким воротам с острыми гранеными штыками на вершине.

— Ну, — развернулся Эдуард, — открывайте.

— А ты не обморозил ли! Лезьте давайте.

— Фашисты, — пробубнил Эд.

Звеня цепью, соединяющей створки, он стал карабкаться, едва попадая носками кроссовок в узкие расщелины решетки. Валерка перекинул рюкзак на ту сторону и повис на ограждении, смешно свесив зад.

— Уроды, — выругался Эдуард, мучительно преодолев препятствие, — чуть зад себе не распорол.

Вернулись в родной «Олимпиец». Внезапно Эдик остановился и сказал:

— Момент. Дело есть.

Он сорвался с места и помчался к домику старшего воспитателя. Добежав до цели, он что было дури врзал ногой по дээспэшной стене. Раздался пронзительный бабий визг.

— Надеюсь, не ошибся адресом, — сказал Эд, смахнув со лба пот, — валим от греха.

Со стороны моря дул прохладный ветер. Над мрачными силуэтами деревьев бледной запятой повис полумесяц. Ребята курили на крыльце, выдувая сизые струйки дыма в темноту. Вдруг они увидели, как от умывальников к соседнему домику скользнуло серое пятно.

— Веста! — крикнул Эдуард. — Веста! Иди ко мне! Иди ко мне, моя хорошая!

Раздался залиvistый лай, и уже через секунду собака скулила у крыльца и отчаянно била хвостом, стараясь лизнуть вожатых в губы. Эдик накормил ее остатками сосисок. Благодарно твякнув, Веста припустила в сторону леса. Послышался мягкий шелест июньской травы.

— Дворняги, они вообще самые преданные, — поморщился Эдик, закурив новую сигарету. — Когда мне было лет семь, я у бабушки целый год жил. Предки тогда с переездом решали, в общем, не суть. Так вот у бабки был пес. Обыкновенная дворняжка с мохнатой мордой и крючковатым хвостом. Туманом звали. Добрый, ласковый. Смешной, лопухий... Как-то раз я сидел дома и смотрел телик. Зимой дело было. Вдруг слышу: во дворе дикий собачий визг. Бросаюсь к окну и вижу, как нашего Тумана рвет здоровенная соседская овчарка. Выбегаю на улицу, а там уже бабка в халате и фуфайке колотит по соседской зверюге неподъемным дверным засовом. А той хоть бы хны. Вцепилась в лапу Тумана мертвой хваткой. Из лапы кровь хлещет, расплывается по снегу. Зрелище жуткое. Но и мой пес рычит, скалится, хватается того за шею. А меня и злость, и страх берет. Только бабушка орет и самоотверженно орудует засовом. Кончилось все тем, что на крики прибежал сосед, схватил овчарку за ошейник и уволок домой. Мы Тумана долго выхаживали, ветеринаров, ясное дело, в деревне нет. Домой его отнесли. А он, бедняга, стесняется. В доме же никогда не был, в конуре жил. Мы ему постелили в задней комнате, а он скулит и под печку, хромая, забирается.

Так и ковылял на трех лапах. Летом за мной приехали родители. Когда сумки уже были в багажнике, мы по старой традиции присели на дорожку. Туман лег у моих ног. В его глазах блстели слезы. Вот гадом буду, он плакал. А потом, подсакивая на передней лапе, старался догнать машину. Слабел и падал. Тыкался мордочкой в пыль на дороге. Потом мы выехали на трассу, и я потерял его из виду. Рыдал на заднем сиденье, прячась от отцовского взгляда. Через пару месяцев бабушка прислала письмо. Писала, что Туман умер. Он просто ухромал в лес. Совестно ему было умирать на глазах у старухи. — Эдуард помолчал. — У животных все-таки еще осталось то, что мы, люди, давно растеряли... Ладно, — он потушил сигарету, — пойдём спать.

6

— Что с ухом? — спросил Вожак, подозрительно вглядываясь в лицо племянника.

— А что с ухом? Не знаю, отлежал, наверное.

Час назад директор ломился в дверь их домика. Вожатые проспали «летучку».

В десять утра начинались «веселые старты». Педсостав и тренеры против команды юных спортсменов. Все собрались на площадке возле столовой. Старший воспитатель раздавала участникам карточки с номерами. У нее была растрепана голова, покраснели глаза и слегка припухло лицо.

— Неважно выглядите, Ирина Владимировна, — издевался Эд, — не выпались?

Она бросила на него полный ненависти взгляд и протянула карточки:

— Вы тоже участвуете в эстафете. Мои поздравления.

— Нет уж, спасибо, это как-нибудь без нас, — Эдик сложил руки на груди.

— Так, да? Хорошо, сегодня же напишу докладную.

— Да сколько угодно!

— Эд, не нагнетай, — сказал Валерка и взял старательно вырезанные картонки.

Эдику достался челночный бег и прыжки в длину. Валерке повезло меньше. Ему предстояло подтянуться на перекладине не менее десяти раз. Но самое трудное — в паре с Геннадьевичем преодолеть полосу препятствий, при этом удерживая на скрещенных руках увесистую тренершу по гимнастике. Валерка подергался на турнике, не сумев принести команде ни одного очка. А потом он оступился на сложенных автомобильных покрышках и рухнул, уронив на себя до смерти перепуганную тренершу.

Эдуарда круто заносило на поворотах, когда он старался обежать березу. Он спешительно хватался за шершавый ствол, сдирая ладони в кровь. Дыхание сбилось, кровь стучала в висках. Вскоре он сошел с дистанции и рухнул в кусты. Наблюдая за ним, Ирина Владимировна ликовала. Даже лицо ее посвежело и окрасилось здоровым румянцем.

После спортивных экзекуций вожатые, обливаясь потом, лежали на футбольном поле, раскинув руки и ноги.

— Столько мучений, и все зря, — задыхаясь, бормотал Эдуард.

— Чего? Ты о чем? — хватал губами воздух его друг.

— Да малышня нас сделала. Вот что.

— Отстань, не подохнуть бы.

— Ненавижу эту горгону очкастую, — простонал Эд, переваливаясь на бок. — Кстати, мэн, я же тебе еще не сказал. Когда я в песок, как последний угод, прыгал, мне Захар звонил.

— Ну и что?

— Да ничего. Орал, зачем они с нами связались и все в этом духе. Упырями нас обозвал, скотина. Короче, уволили их. И судя по всему, из-за нас.

— Весело. Судя по всему... — ответил Валерка, не поднимая глаз.

7

Уже неделю Эдуард каждое утро ставил на мр-3 плеере какое-нибудь бодрое «сайкобилли» и отправлялся на пробежку. Затем отжимался на брусьях, принимал холодный душ и завтракал.

Эдик влюбился. Алена не отходила от него ни на шаг. Днем они гуляли по берегу моря, по вечерам украдкой тискали друг дружку на дискотеке или уединились

в пустующем домике на окраине лагеря. На обходах она также сопровождала своего избранника, послушно рисуя оценки в журнале. Директорский племян говорил только о ней и напоминал влюбленного гимназиста из романов девятнадцатого века.

Валерка заскучал. Даже пытался сагитировать сходить в Суходол за вином, но Эдик был решителен и непоколебим.

— Надолго тебя не хватит, — недоверчиво усмехнулся Валера.

— А это мы еще посмотрим, — красовался перед зеркалом Эдуард, — ты смотри, как бицуха оформилась и живот почти пропал.

— Ты деградируешь, — покачал головой Валерка. — Интересно, а о чем вы хоть с ней разговариваете? Если не секрет, конечно.

— А вот это уже не твое дело, — обиделся Эд, — о структурализме и герменевтике говорим днями и ночами... Какая тебе разница?

За две недели, проведенные в «Олимпийце», дети успели полюбить вожатых. Они проводили много времени в их домике. В тесной комнатенке порой собиралось более десятка визжащих и непоседливых гавриков. Девочки постарше с большой охотой помогали Валерке заносить в ноутбук результаты соревнований и эстафет. Пацаны слушали рассказы Эдуарда о язычестве и Древней Руси. А своего любимчика, тринадцатилетнего поклонника «Короля и шута» Юрку, Эдик учил играть на гитаре.

— Ты у меня к концу смены Джимми Хендриком станешь, — обещал директорский племян.

В благодарность будущие олимпийские чемпионы приносили вожатым фрукты и йогурты, не съеденные в полдник.

В лагерь приехал генеральный директор. Звали его Василий Васильевич Жбанов. Он был крупный, стриженный под «площадку», с недовольным выражением лица и выпяченной квадратной челюстью. Вожак, угодливо посмеиваясь, ходил за ним повсюду, как приклеенный. Не отставал от них и Болтушкин. Он что-то втолковывал, активно жестикулируя, словно в чем-то оправдывался. Жбанов неторопливо прохаживался по территории и со скучающим видом осматривал владения. Казалось, он вовсе не замечал подчиненных.

— И не вздумайте курить! — сквозь зубы проговорил Руслан Вафович, когда делегация проходила мимо домика вожатых.

Племянник неохотно спрятал сигарету в пачку.

— Тьфу ты! — сплюнул Эдуард.

— Ты чего? — спросил Валерка.

— Да противно смотреть, как они лебезят перед этим жлобом. Ты глянь, сбежались ему в ноги поклониться. Овцы. Я с ним утром поздоровался, а он харю свою задрал и проигнорил меня. Дерьма кусок!

После отбоя руководство отправилось на берег жарить шашлык. Играла музыка, голый по пояс доктор Симаков плясал впрысядку. Повариха, что-то пережевывая, шинковала овощи для салата. Тренер по самбо Геннадьевич помахивал куском картона над мангалом. Жбанов курил, развалившись в шезлонге. Не хватило водки, послали за самогоном банщика. Покачиваясь и тихо матерясь, он с грехом пополам оседлал велосипед и, укрепив скотчем фонарик на руле, заскрипел педалями в сторону деревни.

— Руслан Вафович! Руслан Вафович! Чепэ! — задыхаясь от волнения, подбежала к вожаку старший воспитатель.

Директор покосился на опьяневшего Жбанова и отошел с ней, придерживая за локоток:

— Что стряслось? Успокойтесь и рассказывайте.
 — Я сейчас застучала вашего племянника... в домике ... незаселенном... с Аленой. Хоть бы детей постыдили! — отдышавшись, произнесла Ирина Владимировна.
 — С какой еще Аленой? В каком домике? Говорите толком, что произошло!
 — Этот ваш Эдик, извините за выражение, занимался сексом с племянницей медсестры. Да что же это такое! Не детский лагерь, а дом терпимости!
 Лицо Вожака позеленело. Желваки заиграли на широких скулах.
 — Идите к себе, — прошипел он так, что вздулись жилы на шее, — и ни звука, ясно?
 — Я сейчас же доложу Жбанову, — трусливо отступила горгона.
 — Только попробуй. Покалечу, — страшно сморщился директор.
 Через минуту, высадив дверь ногой, он влетел в комнату. Алена закричала и вскочила с кровати. Едва успев завернуться в простыню, полуобнаженная Офелия выбежала на улицу. Рыдая и путаясь босыми ногами в сырой траве, она что было сил рванула к своему домику.
 Руслан Вафович опрокинул койку вместе с Эдиком.
 — Дядь?! Ты чего беспредельничаешь?! Мы же взрослые люди! — возмутился племянник, поднимаясь с колен.
 Вожак коротко и мощно ткнул его под дых. Эдика переломило пополам, он захрипел и закашлял. В довесок, сложив руки замком, дядя саданул ему между лопаток. Эдуард снова рухнул на колени. Вожак наклонился и схватил его за шею:
 — Ты хоть понимаешь, как меня мог подставить! Благодарю Бога, что это только до меня дошло, а не до Жбанова! Я бы тогда тебя на части разорвал!!! Слышишь меня?!
 Эдик судорожно закивал. Директор оттолкнул племянника:
 — Чтобы завтра ноги твоей здесь не было! Собирай шмотье и добирайся на попутках как хочешь!

8

Однако уезжать Эдику не пришлось. Домой отправили Алену. Инкогнито. Поговаривали даже, что ночью она пыталась вскрыть себе вены. Офелия верещала и билась в истерике. Тетка вместе с доктором Симаковым насильно вкатили ей транквилизатор и спящую отвезли в город на служебной машине.

Два дня Эдуард не появлялся в лагере. На третий вернулся. Небритый, вымазанный сажей, провонявший дымом и перегаром и с еще большей осоловелостью во взгляде. На вопросы, где он пропадал, Эдик раздраженно отвечал: «Общался с Абсолютом».

— Не переживай, — успокаивал друг, — в жизни и не такое случается.

— А че мне переживать, — натужно хохотнул Эд, — в Нижнем ее найду. Я уже у доктора адресок ее тетки пробил. Так что все в норме...

Ближе к полуночи пошли к морю. От воды отражалась оранжевая дорожка теплящегося вдали маяка. Ребята наломали сухостоя и развели костер. Лихие клочки пламени затрепетали на ветру. Слышалось приятное потрескивание.

— Посмотри, какая красотища, брат! — вдохновенно прокричал Эдик, — гой ты, Русь моя родная!!!

Он выдернул чуть схваченную огнем ветку и стал носиться по пляжу, размахивая ею над головой. В кармане заиграл телефон. Эдик остановился, отбросил рахитичный факел и приложил мобильник к уху.

Валерка полулежал у костра. Он лениво курил, не вынимая сигареты изо рта.

— Так, чувак, — сказал Эдик, спрятав телефон, — мне Румяный звонил, сейчас едем в Нижний на рок-фестиваль. Давай быстро, помчали!

— Куда едем? — приподнялся Валерка, счищая с локтя песок. — На чем? Сейчас первый час ночи!

— Не парься, все схвачено. Поплывем на плоту. Завтра к утру прибудем. Как раз к началу феста.

— Какой, к черту, плот? Какой фест? Угомонись.

— Я тут на днях тайник за спасательной будкой обнаружил. Видать, кто-то из наших пацанов плот смастерил, ну и спрятал его в кустах. Сейчас его на воду спустим и уже к утру будем в Нижнем. Приплывем в аккурат к Чкаловской лестнице. С помпой! Как викинги на драккаре! Прикинь, как это будет круто! Один раз живем! Будет что потом внукам рассказать! В конце концов, жизнь — это не те моменты, которые прожил, а те, которые запомнил.

Стащить к воде несколько связанных брикетов из пенопласта не составило труда. А вот взобраться на них вдвоем было куда сложнее. Плот то и дело переворачивался, и новоиспеченные магелланы плюхались в холодную воду. После недолгих раздумий они предприняли следующее: Эдуард ложился брюхом на плот, а Валерка, поскольку был повыше Эда, заводил пенопластовое судно на глубину и аккуратно устраивался рядом. Но и эта затея оказалась неудачной. Эдик, цепляясь за края плота, не давал Валерке запрыгнуть. Если Валерке все же удавалось лечь на противоположную сторону, каравелла теряла равновесие, и мореплаватели снова оказывались за бортом. Через несколько минут, помогая друг другу, они выбрались на берег.

— Не получается, — стуча зубами от холода, Эдик подбросил дров в угасающий костер, — никогда ничего не получается. Аутсайдеры безнадежные. За что бы ни взялись, все проваливаем. — Эдуард шумно высморкался в сторону. — Где же мы свернули — то не так, а?!

Валерка натянул майку на мокрое тело, глотнул из бутылки:

— Кому-то повезло больше, кому-то меньше, — пожал плечами он, — ничего не поделаешь. Смирись.

— Ну уж нет, — встрепенулся директорский племянник, — губительный фатализм! Надо гнать его от себя! Это только временные трудности. Так ведь? Я знаю, мы еще поймем синюю птицу за клюв. Слово даю, — сказал Эдуард, вглядываясь, как трофейный плот, покачиваясь на волнах, уходит вдаль, медленно растворяясь в темноте.

9

Свирепый ветер гнул стволы молодых берез, раскачивал многолетние тополя и безжалостно срывал дрожащие листья, точно люберецкий отморозок серьги с девчонок. Небо почернело. Воздух стал густым и тяжелым.

Карлсон отчаянно молотил железным прутком по куску рельсы, привязанному к ветке дуба недалеко от столовой.

— Ураган! Ураган! — вопила старшая воспитательница и, как наседка, бестолково бегала по территории.

— Уводите детей в павильон! — орал в шипящий громкоговоритель Вожак.

Природный катаклизм, который мог закончиться трагедией, сделал из Эдуарда героя. Он носился по лагерю, хватал испуганных детей на руки и мчался с ними к павильону. Там директорский племянник уже успел расставить скамейки, установить проектор и загрузить диск с мультфильмами. Получился небольшой импровизированный кинотеатр.

За рекордное время он проверил все домики. Но в крайнем, там, где жили футболисты, ему не открыли дверь. В ответ на стук слышался смех. Эдик вышиб замок и за шкирку притащил малолетних балбесов в укрытие. Действовал он хладнокровно, не паникуя. Словно много лет прослужил в МЧС.

Позднее, когда ураган стих, с ужасом обнаружили вырванную с корнем березу, которая рухнула на домик футболистов, проломив хлипкую крышу. А заглянув внутрь, увидели, что острыми обломками шифера был усеян весь пол.

На линейке под всеобщие аплодисменты Эдику торжественно вручили грамоту. Вожак, прослезившись, расцеловал племянника и крепко пожал ему руку.

— Я не сомневался, что ты себя проявишь, — сказал Руслан Вафович, не желая отпускать его ладонь.

— Да перестань ты, ничего особенного, — смутился Эдуард.

— Ты молодец! Настоящий герой!

— Дядь, — шепнул на ухо Эд, — а денежное вознаграждение героям, случайно, не предусмотрено?

10

Приближался традиционный корпоратив. Усилиями руководителей кружков столовую превратили в банкетный зал. На покрытых скатертью, составленных в ряд столах размещались нехитрые закуски и горячие блюда.

Вожатые принесли аппаратуру. Не доверяя Валеркиному вкусу, музыку подбирала Ирина Владимировна.

Собрался весь педсостав, тренеры, повара и медработники. Тетки расхаживали в вечерних платьях, мужчины щеголяли в брюках и светлых рубашках, а самые модные нацепили яркие галстуки или, того хуже, черные «бабочки». В помещении стоял гул, как в приемные часы в собесе.

Позвенеv вилкой по бокалу, с речью выступил Вожак. Не мудрствуя лукаво, Руслан Вафович откупился парой штампованных фраз о дружном, сплоченном коллективе и о необходимости спортивного воспитания подрастающего поколения.

Его спич встретили аплодисментами.

Валерка с Эдиком сидели напротив футбольного тренера, круглого, с пушистыми усами старичка, похожего на Якубовича.

— Парни, водочку употребляем? — спросил он дружелюбно.

— Совсем немного, — сказал Эдик и придвинул стопку.

Выпили. Валерка потянулся к салату «Мимоза»

Выступающего доктора сменил Болтушкин. Но его никто не слушал. Слова завхоза тонули в нарастающем праздничном шуме.

Старший воспитатель исполнила на гитаре «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». У нее оказался на удивление приятный, высокий голос.

— Как здорово, что скоро мы все тебя не увидим, — бормотал Эдуард, щелкая пальцами, словно подзывал гарсона.

Валерка танцевал, пытаясь ухватить повариху за мясистый зад.

На всю мощь зазвучал кавер «Видели ночь» молдавской группы «Zdob Si Zdub». Эдик влетел в столовую и проскользил на коленях в центр круга, слово вокалист «AC/DC». Затем повалился на спину и с сумасшедшим хохотом попытался исполнить нижний брейк-данс.

Валера рухнул под стол, увлекая за собой часть скатерти и глубокую тарелку с любимой «Мимозой».

Директорский племянник добрался до коробки «Отдохни». Варварски распотрошив ее, он сорвал пробку с бутылки и сделал большой глоток. Ирина Владимировна рискнула отнять у него казенные пол-литра. Эдик прижал флакон к груди, как антилопа, отпрыгнул и прокричал:

— Руки фу! Не прикасайся ко мне!!!

К домику Эдика с Валеркой транспортировали Болтушкин, «Якубович» и доктор Симаков.

— Я ничего не вижу, я ничего не вижу, — плакал Валерка, волоча ноги по земле.

Только наутро друзья вспомнили, как к ним, валяющимся в расхристанных позах на крыльце, подошел Руслан Вафович и произнес одну лишь фразу: «Вы уволены».

11

Старенькая «Волга» ждала вожатых у проходной. Болтушкин курил, развалившись в водительском кресле. Двигатель урчал, из выхлопной трубы скатывались капли масла.

Было пасмурно, накрапывал дождик.

Ребята положили сумки в багажник. Гитару Эдик усадил рядом с водителем, уперев гриф в мягкий подголовник кресла. Спросил у завхоза сигарету.

— Какие-то хреновые у нас провода, а? — затянувшись, охрипшим голосом проговорил Эдуард. — Переаншлаг просто.

— Да уж. Хоть бы кто-нибудь из детей, ради приличия, пришел. Неблагодарные...

— И не надейся, — Эдик передал недокуренную «Тройку» Валерке, — считай, что они про нас уже забыли. Память у них короткая, как у аквариумных рыб.

— Ну вы там скоро? — выглянул из салона Карлсон.

Друзья сели на заднее сиденье, захлопнули дверцу. Машина тронулась, миновала распахнутые ворота и лихо понеслась по проселочной дороге. В клубах пыли, вздымающихся из-под колес, вожатые не могли заметить Весту, которая, высунув язык и фыркая, мчалась следом, в надежде догнать стремительно исчезающий автомобиль.

ИЗ ЦИКЛА «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

* * *

От нежной Герды к Снежной Королеве
прошла я путь от Родины вдали.
Иллюзий расписные каравеллы
так быстро оказались на мели.

И намели сугроб на сердце буквы
колючего чужого языка.
Никак мне не сошьет закройщик будней
обещанное счастье на заказ.

Как ни примерю — жмет оно и давит,
а повзрослевший Кай за годом год
из льдинок слово «вечность» составляет
и Герду в соучастницы берет.

А я сложить мечтаю слово «нежность»
из яблоневых легких лепестков —
но стала Герда Королевой Снежной
и поняла давно: итог таков

всех сказок, напросившихся в реальность, —
холодных несуразностей ушат.
Так, в рай чужой непрошено врываясь, —
не обретает благодать душа.

* * *

Метели русской письмена
на датский не переводимы.

Нина Гейдэ — писатель, журналист, литературный критик, переводчик с датского, культуролог. Родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1994 году переехала в Данию. Статьи, проза и стихи публиковались в журналах «Звезда» (Санкт-Петербург), «Московский год поэзии 2014», «Лед и пламень», «Литературные знакомства» (Москва), «НЛО», «Ковчег», «Тула» (Тула), «Рукопись» (Ростов-на-Дону), «День и ночь» (Красноярск), «Брега Тавриды» (Крым), «Письмена» и «Земное время» (Латвия), «Вышгород» (Эстония), «Пражский Парнас» и «ЛитЭра» (Чехия), «Иные берега» и «LiteraguS» (Финляндия), «Роза ветров» (Израиль), «Берег» и «Новый берег» (Дания). Лауреат международных литературных конкурсов: «Под небом Балтики — 2013» (поэзия), «Русский стиль — 2014» (поэзия), Епархиального литературного конкурса «Преображение», Тула, 2015 (поэзия). Член Международной ассоциации писателей и публицистов, Европейского конгресса литераторов и Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Председатель Европейского творческого союза «Огниво», созданного в Копенгагене с целью объединить всех творческих людей независимо от национальности: литераторов, музыкантов, художников.

И кажется, что нет меня
на свете, где сердца как зимы —

где жизнь расходится по шву,
как тот кафтан нелепый тришкин.
Все, что любила, чем живу —
уже обманывало трижды.

И Андерсена мастерство
не помогло печальной Герде
постичь комедий естество
в исконном облике трагедий.

Чужой зимы старинный хлад
судьбы меняет изначальность.
И жизнь, что вся не в склад не в лад,
чем совершенней — тем печальней.

* * *

Оставьте сегодня меня одну,
Пускай я даже иду ко дну.
Быть может, это такое дно,
где только мне побывать дано,
где безымянный порог лежит:
не смерть еще и уже не жизнь.
И так легко возвратить назад
клубочки шерсти цветной — вязать
узоры спутанных дней невмочь.
И день уже не светлей, чем ночь.
Вязанки слов — вот и все, что есть.
Их, слава богу, пока не счесть.
И, значит, маленький костерок,
вздымаясь, светом зальет порог,
где продолжает в глаза смотреть
еще не жизнь, но уже не смерть.

* * *

Так отшлифована, что любо
взглянуть — ни бунтов, ни страстей.
Так отшлифована, что глупо
жить в прежнем вихре скоростей.

Стою остуженным вулканом —
покорная календарю.
И ни минуты не лукавлю,
когда судьбу благодарю

за тихое течение будней,
за их простые падежи.
Уже любовью безрассудной
не распалить моей души.

Так отшлифована, что вечный
не нарушаю ход вещей.
Иду судьбе своей навстречу:
прошу не воли, а вожжей.

И опровергнут, и отвергнут
путь наваждений, тайн и смут.
Так отшлифована, что, верно,
есть элемент искусства тут.

И, может, становится старше —
вознагражденье бытия?
Так отшлифована, что страшно:
на самом деле это я?

* * *

Приготовиться к смерти, как сушат грибы к зиме:
пожелтевшие письма — гербарий увядших дней —
разложить на столе, помолчать, посчитать в уме,
сколько раз умирал от любви — от игры теней.

Три любимые книги опять перечесть в слезах,
проходить целый день в халате и быт презреть.
И подумать о том, как же жалко с саней слезать,
на которых пригрелся и даже сумел прозреть:

только это движенье и было всего милей —
в никуда ниоткуда под легкий полозьев скрип.
Как невольный всхлип, ощутить белизну полей,
трепетанье ветвей, подо льдом — шевеленье рыб.

Но потрянуть головой — поубавить игривый пыл
забияки щенка, что заметно к весне подрос.
Приготовиться к смерти, смахнуть с антресолей пыль
и тогда уже жить начинать наконец всерьез.

* * *

Как «вы» сказать, когда ты весь как ветер —
посланник с берегов души моей,
куда так труден путь и неприметен
в житейской суете семи морей.

Но нас легко несет ладья молитвы
на дальний свет по волнам грозовым.
И солнечный, замедленный, смолистый
туман любви плывет к губам твоим.

Старинными загадами навеян
весны, едва родившейся, виток.
Но знаю я, что тайн прикосновений
нам не открыть, как чашечки цветов.

Один лишь день с тобою мне дарован
в окладе драгоценном тихих слов.
Ты соберешься в новую дорогу,
в другую лодку взяв свое весло.

Таков твой путь, твоя земная чаша,
в которой для тебя — благая весть.
Как «ты» сказать, когда обитель ваша —
безбрачия заоблачная твердь.

* * *

Суть любви по-русски —
наваждение конца.
Будто счастье — нагрузка.
Будто нужно свинца

боли в самое сердце.
Так и рвется из вен
роковое усердье —
расставаться навек.

Все кончать до начала.
Как Ассоль ни зови —
оставлять у причала
паруса на крови.

Мало моря и мало
этим чувствам земли —
лучше встать у причала,
чем потом на мели

оказаться — в разрухе
бесконечных потерь.
Видно, лучше в разлуке,
чем в земной тесноте.

Лучше сразу от быта
улететь до небес.
Лучше горя избыток,
чем любви недoves

в бытии, что мечтает
зачехлить и ушить.
Жизнь любви не вмещает —
мука русской души.

* * *

Найди границу слов
и тишины границу.
Весь бытия улов
лишь там и сохранится.

Между молчаньем дня
и многоречьем ночи
черта проведена
незримым многоточьем...

Иди по ней, иди —
над явью сна и бденья,
небытия пути
там сходятся с рождением.

Услышь — еще до слов,
до дрожи каждой жилки:
моя к тебе любовь
была — еще до жизни.

* * *

Я — созревший одуванчик
на подкошенном стебле.
Стол, комод, трюмо, диванчик
и Кандинский на стекле.

Дом без весел — словно лодка,
на которой плыть нельзя.
Почему-то мне неловко
посмотреть тебе в глаза.

И бывает ли яснее
невозможность вечных чувств?
Ну, смелее — дунь сильнее:
я по свету разлечусь.

КАЗАНСКИЕ ИСТОРИИ

ВНУТРЕННИЙ ХИДЖАБ

Одна девушка пожаловалась Жене, что родители с суровой предосудительностью не позволяют ей носить мусульманский платок.

— Ведь не страшно, если я не буду носить его, а? — говорила она, заглядывая Жене в глаза. — Внутренний хиджаб же есть, он поважнее внешнего будет.

— Я расскажу вам одну историю, — сказал Женя. — Там как раз про внутренний хиджаб.

И девушка стала слушать. И стала мне известна вся эта история от начала до конца, потому что этой девушкой была я.

...Их было двое. Две большие подруги. В одном маленьком городе. Все называли их сестренками. Они познакомились в медресе. У одной был платок лазурного цвета, у другой — апельсинового. Первую звали Гульнур. Вторую — Гульназ. Гульнур была старше Гульназ на полгода и потому была первой младшей сестренки во всем.

Они стали сидеть за одной партой и вместе учили хадисы кудси¹: «Если ты испытываешь чувство любви к своему брату, поспеши ему сказать об этом».

— Золотые слова, — говорила Гульнур.

— Не поспоришь, — отзывалась Гульназ.

Вместе отмечали получение диплома, смеялись. И когда накричались вдоволь, немело подпевая их общей слабости — БГ, стали рассуждать, как жить дальше.

— Ты куда? — спросила подругу Гульнур.

— В Казань, — отвечала Гульназ, — а ты?

— Я тоже. Куда же я без тебя, сестренка!

Сели утром на автобус, обладая значительным пакетом семечек «Белочка», бутылкой воды и музыкой в наушниках. попрощавшись с родными, обещав звонить и отвечать на звонки.

Первой сняла свой платок лазурного цвета Гульнур. Через полгода и Гульназ распрощалась с платком апельсинового цвета. Гульнур узнала о внутреннем хиджабе от одного заезжего московского имама. Имам получал деньги за свои лекции о том, как жить и преуспеть в этом мире. Этот внутренний хиджаб, оказывается, был во сто крат важнее внешнего, — того, что на голове. По душе пришлось эта идея Гульнур. А раз понравилось ей, то в скором времени полюбили и сестренке Гульназ.

Ренат Ирикович Беккин родился в 1979 году в Ленинграде. В 2007–2012 годах — главный редактор литературно-философского журнала «Четки». Автор романов «Ислам от монаха Багиры», «Хава-ля». Профессор Российской академии наук.

¹ Хадисы кудси — предания, которые, согласно исламской традиции, отличаются от обычных хадисов тем, что исходили непосредственно от Аллаха, а не от пророка Мухаммада.

Они чувствовали себя неловко на концертах БГ в своем лазурном и оранжевом платках. А внутренний хиджаб, он, что — он сокрыт от любопытного и зловредного глаза. О нем знаешь только ты и сестренка. Гульнур, недолго размышляя, выбрала для своего внутреннего хиджаба лазурный цвет, а Гульназ — апельсиновый.

На мартовском концерте БГ в «Униксе» Гульнур, уже обезхиджабленная, познакомилась с парнем. Его звали Марат. Гульназ радовалась за подругу. Она знала, что и Гульнур порадует за нее, когда она встретит своего принца.

Но недолго длились их встречи, расстались Гульнур и Марат. Ушел Марат от Гульнур. Осталась она одна и пошла в клуб. Прежде она в клубы не ходила. На концертах бывала, а в клубы не ходила. Внутренний хиджаб не позволял. И не стало больше прежней Гульнур. Сменяли друг друга мужчины, являвшиеся в ее жизнь, званные и незванные. О ком-то оставалось воспоминание, вызывавшее улыбку, о других — недовольная гримаса. От третьих не оставалась ничего, словно это были призраки из детской книжки, пылившейся в родном городе.

А что же Гульназ? Ее внутренний хиджаб апельсинового цвета оказался из более прочного материала, чем у сестренки. Он не позволял ей никого любить до свадьбы. И она ждала того, кто однажды придет и скажет ей тихо, но уверенно: «Гульназ, выходи за меня замуж ради Аллаха». Но никто не являлся, и Гульназ утомилась ждать.

Прошло семь лет, как они приехали в Казань. Гульнур стукнуло тридцать пять, а через полгода — и Гульназ.

— Сестренка, ответь, почему нас никто не берет замуж? — спрашивала Гульназ подругу.

— Потому что мы с тобой абики², — говорила Гульнур. И обе смеялись, но не так задорно, как прежде, когда они жили в своем маленьком городе и сидели за одной партой в медресе.

Каждая из них, конечно же, знала, почему никто не зовет замуж сестренку. Но никогда не осмелилась бы произнести это вслух даже наедине с собой. Гульнур видела, что подруга некрасива той телесной красотой, которую ценят мужчины, и навсегда останется гадким утенком. Гульназ же понимала, что Гульнур — девушка из тех, с кем гуляют, но не из тех, на ком обычно женятся. Обе думали, что научились понимать мужчин.

Женя умолк, отвлекшись на созерцание то ли велосипеда, то ли сидевшей на нем велосипедистки.

— А что же случилось дальше? — спросила я.

— Я давно не видел ни Гульнур, ни Гульназ. Кажется, они обе вернулись в свой город. И одна даже вышла замуж. Но кто именно: Гульнур или Гульназ — не припомню, хоть убейте. Да ведь и история эта не о них, а о внутреннем хиджабе, — заключил Женя, хитро улыбаясь.

РАМАЗАН

— Ты смотри, как будто на тебя шит, джальяб³, — Асхат хлопнул Женю по спине, сдул что-то невидимое с правого плеча, потянул за фалду слева.

— Да нет, что-то узковато...

— Зачем? Айда к зеркалу, — он потянул гостя в прихожую, в которой пахло утомившимися от ходьбы мужскими ногами.

² Абики — русско-татарское (мн.ч. от *татарск.* Эби — бабушка).

³ Джальяб (*узбек.*) — непечатное слово, означающее женщину легкого поведения. Подобно своему аналогу в русском языке широко используется как междометие.

— Сидит как на короле, — невысокий, почти поседевший Асхат скакал вокруг приятеля, улыбаясь собственному отражению в мутном зеркале, в уголках которого висели фотографии незнакомых ташкентских певиц. — Все девушки твои будут в этом костюме. Зуб даю.

— Дай мне подумать, Асхат. Ярый?⁴

— Зачем думать? Ему за две штуки новый костюм дают, неношенный, а он хочет думать.

— Асхат прав, — вставил слово губошлеп Фуад, младший брат Асхата. — Такие костюмы на дороге не валяются. Возьми и носи на здоровье. В честь того, что Рамазан сейчас, мы тебе его за полторы тысячи уступим.

— Кто ж спорит. Костюм и в самом деле хороший. Но он мне жмет в плечах. Да и брюки у меня с трудом на животе застегнулись.

— Какой живот? — Асхат хлопнул Женю чуть ниже пряжки на ремне, и тот вздрогнул. — Покакаешь, и не будет у тебя живота. В твои-то годы... Живот... Фуад, покажи мне, где у него живот, о котором он столько говорит.

Женя сложил руки на животе, уподобившись человеку, совершающему намаз, с тревогой в лице ожидая, что Фуад ударит его куда не следует.

— Нету, Женя, у тебя никакого живота, — сказал Фуад. — А если и есть, то лето скоро, похудеешь. Летом все худеют. А костюм летний. Если бы я был твоего роста, я бы не снимал этого костюма.

— Постой, ты же меня всего на пару сантиметров выше.

— Какую пару? Что с твоими глазами, друг? То живот ему мерещится, то пара сантиметров. У тебя весь рост в руки ушел. Посмотри на свои руки!

— Так ведь руки по локоть торчат.

— Все, хватит, — громко сказал Асхат, перестав улыбаться самому себе в зеркало. — Снимай костюм, и нечего тут больше говорить. Правильно говорят: не делай людям добра, они тебе в душу насрут... Что стоишь? Снимай костюм!

— Асхат, зачем ты так? Ты не понял.

— Все я понял. Снимай, говорю, костюм.

— Да ладно, перестань. Я и сам вижу, что костюм неплохой. Вот тебе полторы тысячи.

— Полторы?!

— Фуад же сказал, что скидка в честь Рамазана!

— Да... верно. Уговор дороже денег, как говорили у нас в Ташкенте. Запомни: хороший товар любит хорошего покупателя, — сказал Асхат после того, как деньги исчезли в нагрудном кармане его рубашки. — Фуад, заверни костюм в пакет и айда пить чай. Обмоем покупку.

Дома Женя показал костюм жене Нурисе.

— Бетеч⁵, с кого ты снял это? — спросила жена.

— У Асхата купил. Ему мал оказался.

— Ты что, не видишь, что он у тебя от долгов бежит?

— Ну, может, чуть-чуть, — отвечал Женя.

— Чуть-чуть? Так зачем же ты его взял? Или ты всерьез решил, что у нас дома помойка? В прошлый раз эти два братца тебе пальто всучили, в котором ты как подстреленный ходил. Помнишь, сколько мы потом с этим пальтой намучились из-за твоей деликатности, а? Забыл, что ли?

⁴ Ярый (*татарск.*) — ладно, хорошо.

⁵ Бетеч (бэтэч) — слово, происходящее от непечатного слова «бэтэк». В русском языке аналог «бетеч» — междометие «блин».

- Но мы же его твоему отцу на день рождения подарили.
- И что? Ты хоть раз видел его в этом пальто?
- Нет.
- Так что давай завтра отнеси Асхату его костюм и скажи ему большое спасибо.
- Неудобно как-то.
- А впаривать другу дерьмо всякое твоему Асхату удобно? Возьми, Боже, что мне негоже. Так, что ли?

Утром Женя позвонил Асхату.

- Ас-саламу алейкум, Асхат.
- Ва малейкум ас-салам⁶.
- Асхат, я зайду к тебе?
- Что случилось?
- Да так. Костюм твой не подошел.
- Как не подошел? Ты же вчера при двух свидетелях мерил.
- Ну, говорил же я тебе, что не подходит он мне. А ты: «Давай, давай!». Так я зайду к тебе?

- Заходи, конечно, брат... Но костюм я у тебя не возьму.
- Как не возьмешь? Он же твой.
- Нет, он теперь твой, брат.
- Но он мне не подходит!
- Слушай, ты когда в магазин приходишь, вещь меряешь, покупаешь, потом приходишь назад и говоришь: «Не подходит» — как на тебя в магазине смотрят? Как на друга или как на врага?

- В магазине ведь можно вернуть, если есть чек.
- Какой еще чек-акучек! Кто так дела делает?
- Асхат, я все-таки вечером зайду. Костюм у тебя хороший. И ты сам хороший, но он мне не подходит.

— Помнишь, сколько ты тогда из-за пальто драпового финского со мной препирался? И что, носишь уже сколько лет и носи еще столько же на здоровье!

- Я не ношу его, — отвечал Женя
- Ай-яй, зачем ты меня обманываешь? Я позавчера видел тебя с супругой в этом пальто. Вы из филармонии шли.

- Не ношу я этого пальто! Клянусь Аллахом! И в филармонии сто лет не был.
- Про филармонию — это твое личное дело. Был — хорошо, не был — гордиться нечем. И не клянись: Рамазан сейчас идет. Ангелы на небесах все дела и слова наши записывают в специальную тетрадку. Потом докладывают самому Аллаху. Перед Ним ответ держать будешь за свои слова.

- А ты не будешь?! А?
- Буду, — с готовностью отвечал Асхат. — Непременно буду. За то, что уступил другу за бесценнок шикарный костюм, а он меня растоптал за это как...

Женя понял, что еще немного, и он скажет Асхату что-нибудь нехорошее... А этого не стоит делать. Рамазан все-таки. И повесил трубку...

- Нейсе⁷, не берет костюм Асхат, — сообщил он жене.
- Что значит: не берет? Дай мне его номер. Он у меня возьмет.
- Не надо. Испортишь все.
- Тогда сам все организуй.
- Хорошо, — Женя взял пакет с костюмом Асхата и вышел на улицу.

⁶ Искаженный фрагмент мусульманского приветствия: ва алейкум ас-салям! (и вам мир!).

⁷ Нейсе (*турецк.*) — что ж, как бы то ни было.

Что делать? Идти к Асхату — значит разругаться насмерть. Да и не время конфликтовать сейчас — Рамазан все-таки. Возвращаться с костюмом домой — поссориться с женой.

Задумался Женя, а навстречу ему — бывший одноклассник Леха.

— Какие люди! — крикнул Леха, увидавший Женю прежде, чем тот его. — Как дела?

— Аллага шекер⁸, живы, — отвечал Женя, щуря глаза. — У тебя как?

— У меня-то... Да так, с переменным успехом. Батя мой вот... умер.

— Дядя Коля?! Урыны джанната булсын⁹. Когда умер?

— Вчера. Вот хожу, похороны организую.

— Да... хороший был дядя Коля. Скромный.

— Да уж, бессребреник. Ничего не имел и после себя не оставил, — произнес Леха то ли с печалью, то ли с гордостью, — даже похоронить вот не в чем. Обувь износил. Костюма приличного не осталось.

— Сам Аллах прислал меня к тебе! — вскричал Женя. — Вот держи, это твоему отцу.

Женя протянул Лехе пакет с костюмом.

— Что это?

— Костюм. Совершенно новый. Я его не носил. Да ты открой же его. Давай я тебе помогу!.. Ну что, нравится?

— Костюм, конечно, шикарный, — отвечал Леха, примеряясь к пиджаку, но не надевая его на свою не первой свежести футболку. — Ты зачем сам его не носишь?

— Мал он мне, — пояснил Женя. — А отцу твоему в самый раз будет. Если чуть-чуть велик — можно подогнуть уж. Несложно это. И цвет такой — как глаза твоего отца.

— Да что глаза... Они же закрыты будут.

— Верно, — сообразил Женя. — Но костюм все равно возьми, не обижай меня. Я любил твоего отца.

— Спасибо, Жека, — Леха крепко обнял бывшего одноклассника.

Домой Женя вернулся совершенно счастливый.

— Ну что, пристроил костюм? — спросила Нурия.

— Пристроил.

— Покеж деньги.

— Я без денег. Просто так отдал.

— Бетеч! Ты долго думал? Кому?

— Одному хорошему человеку.

— Кому?

— Дяде Коле, отцу моего одноклассника Лехи. Он умер.

— Кто умер? Леха?

— Нет, дядя Коля.

— А зачем ему тогда костюм?

— Ему не в чем в гроб было ложиться. Стыд выходит.

— Бетеч!

Неизвестно чем бы кончился этот разговор, если бы у Жени не зазвонил телефон.

— Салам малейкум, брат, — сказал Асхат. Он говорил непривычно быстро.

— Ва алейкум ас-салам. Рамазан мубарак!¹⁰

— Рахмат!¹¹ Как дела?

⁸ Аллага шекер (*татарск.*) — слава Богу.

⁹ Урыны джанната булсын (*татарск.*) — пусть будет ему место в раю.

¹⁰ Рамазан мубарак! (букв. благословенный Рамадан) — мусульманское приветствие по случаю начала месяца Рамадан.

¹¹ Рахмат (*арабск.*) — спасибо.

- Альхамду лилля¹².
 - Ты дома?
 - Так точно.
 - Отлично. Костюм мой... то есть теперь уже твой... рядом?
 - Не совсем уж.
 - То есть как не совсем? Где он?!
 - Отдал одному хорошему человеку.
 - Джальяб! Когда?
 - Да меньше часа назад.
 - Кому?
 - Ты не знаешь.
 - Джальяб! Дай мне его адрес... или номер.
 - Зачем?
 - Надо.
 - Его сейчас лучше не беспокоить. Он отца хоронит. Я ему костюм отдал, чтобы он отца в нем похоронил.
 - Джальяб! Ты долго думал? Дай мне его номер ради Аллаха, если в тебе осталось что-то святое! — вскричал Асхат.
 - Да что случилось-то?
 - Ты ничего внутри пиджака не находил? — спросил Асхат, понизив голос.
 - ...Нет, не находил.
 - Точно? Во внутреннем кармане пиджака у меня сто евро было. Я их туда положил, когда пытался костюм носить и забыл.
 - Теперь понятно, но Лехе сейчас не до...
 - Дай номер, я сам разберусь. Не волнуйся: я деликатно. Ты уж меня знаешь.
- Окончив разговор, Женя оглянулся и не увидел рядом жены. Она ушла от обиды куда-то. Может, в магазин, может, к своим родителям.
- Не успел Женя собраться с мыслями, а номер Асхата опять высветился на экране айфона.
- Короче, послал твой друг меня.
 - Ничего удивительного.
 - Ладно. Когда вынос тела запланирован?
 - Асхат!
 - Ничего не говори! Когда вынос тела? Я что, не имею права проститься с покойником? Просто хочу в глаза ему посмотреть.
 - Кому? Покойнику?
 - Нет, кенту твоему.
 - Я не скажу тебе. Еще скандала не хватало на похоронах.
 - Клянусь Аллахом, брат, я слова твоему Лехе не скажу. Он и не догадается, что это я звонил ему. Я же не идиот...
- На следующий день недалеко от входа в зал прощания при морге Женя увидел вишневую девятку Асхата с тонированными стеклами. Вскоре показался и сам Асхат в черном костюме с черной бабочкой с четырьмя гвоздиками. На глазах его были черные очки.
- Салам малейкум, брат Евгений, — сказал Асхат, не снимая очков.
 - Ва алейкум ас-салам. Все-таки пришел... Асхат!..
 - Я же обещал, брат. Скажи скорее, как звать покойника?
 - Дядя Коля... Николай Николаевич...

¹² Альхамду лилля (*арабск.*) — слава Аллаху. Традиционный мусульманский ответ на вопрос: как дела?

Они вошли в небольшой зал с низким потолком, похожий на гараж. Посредине на специальном постаменте, покрытом черной материей, находился обитый тканью нежно-голубого цвета гроб. У самого гроба Женя увидел Леху, обнимавшего мать — маленькую седую женщину с большими бесцветными глазами. Чуть поодаль справа и слева от гроба стояли четверо немолодых мужчин. «Сослуживцы дяди Коли», — подумал Женя. Дядя Коля до выхода на пенсию служил в милиции. На покойнике был подаренный Женей пиджак. «МашаАлла!¹³ Как на него шит», — поразился Женя и сразу же прогнал эту мысль как нехорошую.

Женя подошел к Лехе и обнял его и прошептал: «Держись». Асхат тоже подошел к Лехе, но ничего не сказал. Сначала он обнял и поцеловал в щеку Леху, потом его мать.

Пришло время произносить речи. Асхат приложил правую руку к своей черной бабочке и сделал шаг вперед.

— Я знал покойного дядю Колю. Так мы все называли его. Он был чистым человеком. Всегда приходил на помощь. Бывало, денег не хватает, дядя Коля всегда последнее отдаст. Последнюю рубашку... последний костюм с себя готов был снять, лишь бы ближнему было хорошо. Я сам мусульманин, но мы всегда дружили с дядей Колей. Я буду возносить дуа¹⁴ Аллаху, чтобы дядя Коля обрел радость райской жизни. Сейчас у нас священный месяц Рамазан. Считается, что в этот месяц умирают праведники. Дядя Коля был настоящим праведником, и ангелы уже с нетерпением ждут его в раю.

— Кто этот человек? Мулла? — шептал за спиной Жени удивленный Леха. — Голос знакомый.

— Нет, не мулла, — с досадой отвечал Женя, ломая голову над тем, что делать, если Асхат выкинет какой-нибудь номер.

— Прости, дядя Коля, что мы, твои друзья и коллеги, не уберегли тебя, — Асхат снял очки, положил их в карман пиджака и громко зарыдал. Затем он подошел к гробу, склонился над покойником, затем быстро взял его за подмышки и слегка приподнял, покрывая щеки усопшего поцелуями.

Леха с матерью уже хотели вмешаться, как вдруг лицо Асхата исказилось, он широко распахнул рот, закатил глаза и, выпустив из рук дядю Колю, громко чихнул. В лицо покойнику, чья голова благополучно приземлилась на кружевную подушку, полетели влажные капли изо рта и носа Асхата.

Женя не мог более выносить всего этого и вышел. Ему хотелось смеяться до слез, и он прикрыл лицо ладонями, чтобы никто не видел, что происходило с ним. Когда он отнял руки от лица, первое, что он увидел, был Асхат.

— Мошенники, ненавижу!

— Что ты такое говоришь? — сказал Женя.

— Твой дружок скоммуниздил мои сто евро. Я этого вонючего старика всего обшарил. Пуст. Вынул вчера денежку твой Леха. Дать бы ему в рожу. Но не стану портить им мероприятие. Я ему после позвоню. Главное, денег в пиджаке не осталось, а эти я из него вытрясу вместе с душой. Правильно сказано в Священном Коране: «Не имейте друзьями христиан. Ничего хорошего от них не будет». И зачем они этого старика напудрили, как бабу? У меня же аллергия. Я даже супруге пудриться не разрешаю. Весь теку, — Асхат высморкался в большой клетчатый платок и зашагал к машине, бормоча что-то об ангелах, записывающих деяния людей в особую тетрадку.

Вдруг он остановился, обернулся и сказал Жене: «Тебе ботинки, сорок третий размер из замши нужны? Дешево отдам...»

¹³ МашаАлла (*арабск.*) — букв.: так захотел Бог. Используется при выражении радости, восторга.

¹⁴ Дуа — мусульманская молитва.

СОМ

На дне рождении у Мансура гости ели сома. Отец Мансура — толстый, с большими выпученными глазами, Ильшат-абзи, сам походивший на сома, — изловил рыбу в озере и доставил ее рано утром в подарок собственному сыну. Тот еще спал, когда рядом с его кроватью появился большой синий пакет с еще живым речным гигантом, а на столе — букет полевых цветов.

И вот теперь все гости Мансура сидели на веранде и ели сома, едва помещавшегося на нескольких больших тарелках. Не ел сома только один человек — Женя.

— Я ненавижу есть сома, — сказал он.

— Зачем? — изумился Мансур.

— Да так, — нехотя отвечал Женя.

— Что тебе сделал этот сом? Да и нет у нас другого сома.

— Так... у меня с сомами особые счеты. Не думаю, что стоит здесь говорить об этом...

— Нет уж, так не пойдет, айда рассказывай, — сказали гости, отложив в сторону вилки и ножи.

— Хорошо, — отвечал Женя, — я расскажу вам эту историю, но потом не браните меня, что я испортил вам ужин.

И он рассказал нам эту историю.

Все началось с того, что однажды у Жени пропал дядя, живший в деревне и также звавшийся Женей. Женя не очень любил своего тезку.

— Не ищите его, он сам найдется, — был его совет.

И Женя оказался прав. Но только не полностью. В тот же самый день, когда дяди хватились, на берегу озера нашли его вещи: «сланцы», которые в деревне все звали «вьетнамками», футболку, трусы и мобильный телефон. А вот самого дядю не нашли.

— С тех пор я не ем сомов, — сказал Женя.

— И это все? — возмущенно закричали гости. — При чем же здесь сом?

Женя снисходительно улыбнулся.

— Как вы, наверное, догадались, дядя мой утоп. Труп его так и не нашли, хотя мальчишки облазили все дно, думали, может, за корягу зацепился. Озерцо-то наше не глубокое уж.

— Так его что же... сом схавал? — предположил кто-то из гостей.

— Так точно.

— Но как ты понял, что именно сом сожрал дядю? — спросил Мансур.

— Всем известно, что эти твари не брезгают мертвечинкой. Это во-первых. А во вторых... — Женя растопырил перед носом именинника правую ладонь. — Во-вторых, видишь вот это самое кольцо?

— Вижу.

— Подозреваешь, чье оно?

— Твое, видимо, — сказал Мансур.

— Теперь да, — неторопливо отвечал Женя, — но прежде оно принадлежало дяде Жене. Тому, что утоп. Мой отец, считай, дядин брат, в прошлом году удил рыбу и поймал гигантского сома. Вот шундый¹⁵: метра два, чесслово. — Женя раздвинул руки, как рыбак, имеющий опыт в жестах говорить о своих успехах. — Мать принялась чистить рыбу, и вдруг слышим ее крик из кухни: «Женя, Женя». Мы, понятное дело, бросились к ней. Я первое всех, так как услышал свое имя. Врываемся в кухню, а мать стоит и держит в руке, испачканной сомовыми внутренностями, что-то маленькое и сильно плачет.

¹⁵ Шундый (*татарск.*) — такой, таковой.

— Что ты, анием?¹⁶ — кричу.

А она мне кольцо это показывает. С тех времен это кольцо мое. И с тех времен я не ем сомов ни в каком виде.

— А что написано на кольце? — спросила я, первой среди гостей отодвигая от себя тарелку.

— Это самая интересная часть истории, — сказал Женя. — Видите, здесь сказано, — он снял кольцо и стал читать, водя пальцами по выпуклой поверхности извивавшихся арабских букв: — «Нет бога, кроме тебя, о Господи. Ты бесконечно далек от всех недостатков». Эти слова произнес пророк Йунус, а по-русски Иона, когда его в наказание за его гордыню проглотил кит.

— Но ведь он же потом спасся... — вырвалось у меня.

— Так точно, — отвечал Женя.

— Но почему тогда Аллах не вызволил и вашего дядю?

На лице Жени появилась та же самая снисходительная улыбка, которую мы видели и прежде, в самом начале его рассказа.

— Нейсе... во-первых, сом — не кит, а во-вторых... во-вторых, дядя Женя — не Йунус. А теперь ешьте своего сома и не говорите, что я вас не предупреждал, — сказав эти слова, Женя встал и вышел на крыльцо. Под верандой жил еж, и всякий раз, когда Женя приходил к Мансуру, он играл с ежом, если еж позволял.

Нужно ли говорить, что к сому в тот вечер больше никто не притронулся.

СЛАБЫЙ ИМАН

— Что значит: «ради Аллаха»? — всякий раз спрашивал себя Женя, когда эта фраза слетала с уст его друзей, просивших у него деньги. Сам он впервые произнес эти слова, когда посватался к Нурисе.

— Выходи за меня замуж... ради Аллаха, — сказал ей Женя.

Нуриса молчала.

Женя тоже некоторое время молчал, внимательно наблюдая за лицом Нуриси.

— Не хочешь, а? — спросил он наконец, мягко передвигая языком слова.

— Хочу уж! — обиделась Нуриса. — Совсем подумать нельзя, что ли?

О том, что подобным образом следует свататься к девушке, Женя вычитал в книге одного молодого имама, приобретенной им в мусульманской книжной лавке на улице Парижской Коммуны. Но почему в такой ситуации необходимо произносить слова «ради Аллаха», в книге не пояснялось. И Женя решил, что настоящий мусульманин все на свете должен делать ради Аллаха. И потому жениться тоже следует только ради Аллаха.

Но подлинный смысл этих сокровенных слов Женя понял, только когда с ним приключилась следующая история.

Одна студентка влюбилась в Женю и захотела принять ислам. И в первом и во втором обстоятельстве не было ничего удивительного. Женя был парень примечательный, и влюбиться в него было делом пустяковым, не требовавшим соответствующего настроения. А намерением принять ислам в наши дни также никого не удивишь. Тем более что Женя был человеком, которому хотелось подражать.

Открыв свое намерение обратиться в ислам, студентка — большеглазая и черноволосая — добавила, что намерена сделать это сразу после брака с Женей.

— Но я уже женат, — отвечал Женя, нахмурясь.

¹⁶ Анием (*татарск.*) — мамочка.

— Так что же с того? Разве в исламе не дозволено жениться на четырех женщинах?! — отвечала подкованная студентка и добавила, понизив голос: — Евгений, возьмите меня замуж... ради Аллаха.

Слова возражения потерялись в горле у Жени. Он вдохнул, поглядел почему-то на небо и тихо спросил:

— Что же мешает вам принять ислам до замужества? Если у вас есть ният¹⁷, не стоит откладывать это решение. Принимайте ислам сейчас без каких-либо условий.

— Ният есть, ваша правда, — отвечала, немного нахмурившись, студентка. — Но я пока в самом начале пути, и потому мой иман¹⁸ еще слишком слаб. Помните, вы рассказывали нам на одном из занятий, как сами пришли в ислам и как слаб был ваш иман в самом начале. Настолько слаб, что даже дуновение ветерка с Кабана могло поколебать его. Красиво было сказано. Я даже записала себе.

— Помню, — буркнул Женя, а про себя решил: «Умна не по годам».

Вечером Женя говорил с женой.

— Жаным¹⁹, тут... нейсе... дело такое... одна девушка предложила мне... как бы... жениться на ней. Ради Аллаха.

— Что-о-о?!

— Но она собирается принять ислам и ...

— Что-о-о?!

— Ислам.

— Пусть принимает!

— Но она хочет сделать это после того, как выйдет замуж.

— Бетеч! Почему же не до?

— Говорит, у нее иман слабый.

— Что у нее слабое? Дай мне ее номер. Будут тут всякие сучкалар²⁰ тебе лапшу на уши вешать. Я ей растолкую все насчет имана.

— Не надо, жаным, я все понял, — взмолился Женя.

Женина жена была подлинная усал²¹. С тех пор Женя никогда не произносил слова «ради Аллаха», когда имел дело с женщинами.

НЕПРАВИЛЬНОЕ РЕБРО

У Жени несколько дней болело сердце. Живший у них с Нурисой приبلудный кот по кличке Мурджани совершенно переменял свое отношение к Жене. Прежде кот вел себя так, словно его тихого хозяина и не существовало на свете. А теперь только и делал, что ласково мурлыкал и терся о Женины штаны.

— Смотри, как Мурджани со мной ласков, — сказал Женя Нурисе.

— Не к добру это, — отвечала жена. — Значит, ты скоро умрешь. Примета такая есть. Вот у Ильдара-абзи тоже кот был. И тоже, кстати, Мурджани. Никогда не подходил к нему, а за пару дней до смерти проходу не давал. Ласкался, мурлыкал так

¹⁷ Ният (*арабск.*) — намерение.

¹⁸ Иман (*арабск.*) — вера.

¹⁹ Жаным (*татарск.*) — букв.: душа моя. Традиционное ласковое обращение к возлюбленной у татар.

²⁰ Сучкалар — русско-татарское слово, означающее нехороших женщин. Возникло от соединения русского поносного слова и татарского суффикса «лар». Это слово можно услышать из уст татарских бабушек в адрес одетых во все короткое девушек.

²¹ Усал — прилагательное, не имеющее точного перевода на русский язык, но одинаково хорошо понимаемое всеми жителями Казани. Служит для обозначения татарских женщин. Иногда ошибочно переводится как «злой (злая)». Обладательница определения «усал» обладает непростым властным характером. Часто муж у женщины, характеризуемой как усал, — подкаблучник.

жалобно. А потом Ильдар-абзи лег на диван, открыл «Вечернюю Казань» и умер. Его жена — Асьма-ханум — говорила: это кот беду накликать.

Женя внимательно посмотрел на полосатого Мурджани. Тот, нисколько не смущаясь, глядел на Женю, слегка наклонив голову и всем своим видом как бы говоря: «Да уж, ничего не поделаешь, дорогой хозяин. Все мы смертны. Но я своей добротой могу скрасить твои последние дни».

— Тебе надо к врачу, — смягчилась жена. — Сходи уж.

И Женя пошел.

— В первый раз такое вижу! — воскликнула коренастая, подстриженная под «ноль» врачиха, размахивая снимком костей Жени. — В первый раз. Думала, в книгах такое только бывает. Вас надо студентам показывать.

— Зачем?

— У вас ребро неправильное! Совершенно прямое. Понимаете: совершенно прямое. То есть по всем медицинским законам вы с таким ребром не должны жить.

— Но я жив, — не вполне уверенно отвечал Женя.

— Ребро давит на внутренние органы и вам тяжело дышать.

— Но мне легко дышать, — сказал Женя.

— Не может быть, — усмехнулась врачиха.

— Ну, какой же мне смысл вас обманывать...

— Не знаю, не знаю, молодой человек.

— Что же мне теперь делать? — спросил Женя.

— Ничего. Жить. Но помнить великие слова: *memento mori*, или помни о смерти. В вас заключена бомба замедленного действия. И в любой момент может явиться старуха с косой.

Значит, прав был Мурджани. Стягивая сандалии в прихожей, Женя бросил жене: «Так и есть. Врачиха сказала: умру скоро». Пошел в душ и заплакал. Напрасно стучала Нуриси в дверь ванной комнаты. Не открывал Женя. Он не хотел умирать и потому плакал.

«Сколько мне осталось? — размышлял он, стоя под ледяным душем. — Что если завтра? Или сегодня? Сейчас?!»

— Не думай ни о чем плохом, — посоветовала ему Нуриси перед сном. — Продолжай жить, словно ничего не слышал.

— Легко сказать уж. Я-то, может, и забуду, но Мурджани мне сразу напомнит, — отвечал Женя, но над словами Нуриси задумался.

«В самом деле, — стал размышлять Женя. — Жил же я как-то прежде, пока не знал об этом всем. Надо больше работать, а не сидеть дома и ждать смерти. Даже если умру скоро, у жены деньги останутся на похороны и на квартиру».

В придачу к обычным университетским занятиям Женя занялся репетиторством (ходил на «репу», как говорили об этом не вполне уважаемом занятии в университете). Возвращался поздно, нередко находил жену спящей.

Один из учеников Жени жил в Старо-Татарской слободе. Было уже десять часов вечера, и транспорт в городе не ходил. Женя решил пройтись пешком по набережной Кабана. Людей было немного. Одинокие парочки лузгали семечки на скамейках у самой воды и стеклянными, ничего не выражающими глазами смотрели куда-то перед собой. Вскоре и парочки перестали попадаться вовсе. Женя спустился к воде. Ему показалось, что кто-то большой плюхнулся в воду. «Наверное, ондатра», — подумал Женя. Он стоял и пытался разглядеть в воде морду водяной крысы, когда услышал шум голосов. Рядом появились двое. Темные, в темной спортивной одежде.

— Братджан, выручай, — сказал один из них, тот, что был повыше, бородастый, в беисболке. — Нужно сто рублей до зарезу.

- Простите, но у меня нет.
- Зачем так сказал?
- А что я такого сказал? Нет у меня денег. Правду говорю.

Дальше случилось то, что обычно бывает в таких случаях. Двое хулиганов обрушили свое негодование на Женино тело. И он, молниеносно поверженный, пролежал в кустах до утра, пока его не отыскали приехавшие укладывать асфальт рабочие.

В больнице Жене сообщили, что у него поломаны два ребра.

— Скажите, какие именно? — оживился Женя и даже попытался привстать на кровати.

— Лежите-лежите! Вам нельзя шевелиться. Сейчас мы вас зафиксируем, — сказав это, добродушный молодой врач ткнул его легонько пальцем в то место, где, по словам врачихи, у Жени было неправильное ребро.

— Позвольте еще спросить: а этот перелом ребер опасен?

— Ничего страшного. В вашем возрасте не стоит бояться таких вещей. Срастется все. Будет лучше прежнего. Меня больше жидкость в ваших легких беспокоит. Как бы воспаление не подтвердилось.

— А меня, знаете ли, не беспокоит, — сказал Женя и громко рассмеялся.

Молодой врач давно не видел таких веселых больных и потому нежно погладил Женю по голове.

Вечером Нурися пришла к Жене.

— Мурджани совсем плох. Лежит, не ест ничего. Исхудал совсем. Похоже, ему конец.

— Это он мою боль на себя взял, — сказал Женя.

Мурджани и в самом деле вскоре испустил дух. Нурися держала его бессильное теперь для движения и ласки тело в морозилке в большом черном пакете. Женя придет — похоронит. Не женское это дело — хоронить котов. Да и не умела она это делать.

Выписавшись из больницы и предав земле Мурджани, Женя отправился к врачихе. «Наверное, удивится, что я жив», — рассуждал он, но врачиху не нашел. Вместо нее сидел какой-то неопрятного вида мужчина, лысый и толстый, похожий на повара из школьной столовки.

- А где тут... женщина работала такая? — спросил Женя.
- Петровна, что ли? В отпуске она. Диссертацию писать ушла.
- На какую тему?
- Точно не скажу. Что-то про ребра, — отвечал врач.

УКУС ДЖИННА

После смерти несчастливого провидца Мурджани о котах в доме Жени не говорили. Нурися упрашивала Женю завести собаку. Но он отвечал всякий раз: «Не приемлю собак: они тахарат²² портят».

Однажды когда Женя с Нурисей направлялись в гости, из переулка показалась собака. Когда-то это был пудель или смесь пуделя с кем-то еще, но теперь в этом опустившемся животном с трудом можно было различить следы благородной породы. Это было худое взлохмаченное существо, с комьями грязи на черной шерсти. Одно ухо у собаки отсутствовало.

— Не нравится мне эта собака... — произнес Женя.

Собака, вероятно, также подумала нечто похожее про Женю и про его жену. Она остановилась, глядя то на Женю, то на Нурису. Наконец взгляд ее остановился на Жене. В следующее мгновение пудель оскалился и устремился на него.

²² Тахарат — ритуальная чистота, необходимая для совершения мусульманской молитвы.

— Прочь, прочь, злое животное! — закричал Женя, опасаясь за свой тахарат. Но было уже поздно. Жене показалось, что его сильно ущипнули. Но потом ногу вдруг так свело, что он тихо сполз на траву. Нурия подняла лежавший на дороге кусок известняка и швырнула вслед неторопливо удалявшемуся пуделю. Пес даже не обернулся.

На следующий день Нурия отправила Женю к врачу.

— Что за собака вас укусила? — спросил его высокий лысый старик в очках.

— Смахивала на пуделя. Но точно сказать не могу. Пуделя, они же мирные обычно.

— Обычно мирные, но в данном случае порода не имеет значения. Домашняя или дворовая?

— Не знаю уж. На ней ошейник был вроде. Но может, и дворовая.

Врач что-то фиксировал в медицинской карте, заведенной на Женю по случаю его визита.

— Короче, ситуация такая, — сказал врач, закончив писать. — Если у нее есть хозяин, вам нужно немедленно отыскать его и потребовать сертификаты о сделанных прививках. На слово никому не верьте. Только документы! Если же собака бесхозная, то вам полагается наблюдать за ней в течение семи дней. Она за это время должна проявить свое бешенство. Тогда будем делать уколы.

— Кому?

— Вам, конечно! Но если за эти семь дней собака не продемонстрирует очевидных признаков бешенства, то тогда все хорошо... Жду вас через неделю.

— А какие бывают признаки бешенства?

— Обильно выделяющаяся слюна из пасти. Агрессивное поведение. Иногда: судороги...

Женя записал признаки бешенства в свой блокнотик и отправился напрямик в мечеть. В мечети служил его старый знакомый Владлен-хазрат²³, которого Женя почитал за его знания.

— Ас-саламу алейкум, Владлен-хазрат, — поздоровался он с имамом по окончании намаза.

— Ва аллейку ас-салам, брат Женя.

— У меня к вам вопрос, хазрат. Нейсе... меня вчера покусала собака. Имеется ли молитва, которая может помочь от укуса собаки? Я искал в Интернете, но толком ничего не нашел.

Владлен-хазрат нахмурил брови.

— Дело серьезнее, чем ты можешь думать, брат. Нужно читать суру «Йа син». Три раза. Не меньше. Это против боли. Но это еще не все. Через собаку в тебя мог вселиться джинн. Или, хуже того, сама собака могла быть джинном и оплодотворить тебя посредством укуса.

— Что же делать?!

— Нужно прождать семь дней. Держать пост. Читать Коран. Желательно вслух. Джинны, служащие шайтану, не выносят этого. Воздерживаться от контактов с супругой. Иначе джинн может перебраться к ней. А из женщины, как известно, выбить джинна сложнее, чем из мужчины...

Женя последовал советам Владлена-хазрата. Шесть дней он постился, усердно молился и в остальное время выслеживал собаку. Но, как назло, проклятого пуделя нигде не было. Только на шестой день вечером, когда Женя уже забыл думать о собаке, он наткнулся на нее почти на том самом месте, где был укушен. Пес мирно лежал на траве и, кажется, дремал, утомленный жарой.

²³ Хазрат — уважительное обращение к представителям мусульманского духовенства.

Женя сел на скамейку и стал наблюдать. Прошел час, прежде чем собака проявила себя. Она широко раскрыла пасть и начала потягиваться. Ничто в поведении зверя не указывало на признаки бешенства.

«Может, и в самом деле она никакая не бешеная, — подумал Женя. — Просто настроение было плохое. Увидела меня и решила отыграться».

Женя вспомнил свою маму, которая, когда вставала не с той ноги, так ругалась, что даже забулдыжные пьяницы во дворе замолкали, услышав ее голос.

Женя достал из рюкзака карманный Коран и принялся читать. Сначала он читал тихо, но потом, увлекшись, стал декламировать вслух.

Собака сначала зашевелила ушами и принялась втягивать носом воздух. Затем приподнялась и направилась, покачиваясь то ли от неги, то ли от истощения, к Жене.

Женя захлопнул Коран. Бежать?.. Нет, это самое глупое, что он сейчас может сделать. И он продолжил едва слышно читать коранические аяты. Пудель подошел к Жене, втянул носом воздух и прилег рядом — всего в нескольких собачьих шагах от Жениных ног.

Кажется, спит. Женя прекратил читать. Собака немедленно подняла голову, внимательно посмотрела на него и оскалила зубы. Женя продолжил чтение. Пудель закрыл пасть, и вновь морда собаки упокоилась на ее передних лапах. Так продолжалось минут сорок или около того — Женя потерял счет времени. Он устал и понял, что в горле у него пересохло. «Придется нарушить уразу, — размышлял он. — Еще и солнце так светить стало. Хоть бы в тень присесть». Продолжая произносить коранические слова, Женя осторожно поднялся, но собака подняла голову и зарычала. Женя со вздохом опустил на скамейку. Пудель сладко зевнул и вернулся в прежнее положение.

Женя еще несколько раз пытался покинуть свое узилище, но пудель не давал ему сделать и шага. Когда же он, утомленный, замолкал, пес всякий раз поднимал голову и недружелюбно смотрел на него, пока Женя не возобновлял свое чтение.

Не переставая читать, Женя отправил сообщение Нурисе: «Приходи я скамейке на Ботанической». Пальцы дрожали, и ему потребовалось несколько минут, прежде чем он смог набрать и отправить этот скромный текст. Вскоре появилась встревоженная Нурися. Но пудель, почувствовав ее приближение, так зарычал, что ей пришлось с криком отбежать на безопасное расстояние.

— Я сейчас вызову полицию, — крикнула она мужу через улицу.

— Не надо! Ва-ль-фаджр, — крикнул в ответ Женя, перемежая свои слова чтением, дабы не прогневить пуделя. — Милицию не зови... ва лейлин 'ашр...²⁴

— Я тогда этим... хотдогером позвоню!

— Догхантерам? Не смей... ва-ш-шаф'и ва-л-ватр...

— Что мне тогда делать?

— Иди домой! Ва лейли изаа ясри... Как стемнеет, я приду... ИншаАлла.

В тот момент Женя вдруг почувствовал, что сам уже никуда не хочет уходить. Он вспомнил, что такая штука называется «стокгольмским синдромом» — когда жертва преступника настолько прикипает к своему угнетателю, что начинает защищать его от властей...

Женя читал Коран до темноты. Когда он заканчивал суру «аль-Ихляс», пудель вдруг резко поднялся со своего ложа. У Жени онемели все конечности. «Вот и все», — подумал он. Пудель приблизился к нему, распахнул пасть и... лизнул своим языком маленькую сухую Женину ладонь. Затем, виляя своим куцым пуделиным хвостом, проник в темноту и пропал из виду.

²⁴ Начало суры «Заря» («аль-Фаджр»).

К врачу Женя решил не идти.

— И так все ясно, — сказал он жене. — Бешеная собака не стала бы слушать Коран несколько часов подряд.

— Но и нормальная собака тоже, — возразила Нурия.

— Значит, это все-таки была не собака, а джинн. Но, клянусь Аллахом, я бы дорого отдал, чтобы меня время от времени покусывали такие джинны, а среди моих студентов была эта собака или если бы кто-нибудь из моих студентов усердием походил на нее, — сказав эти слова, Женя отправил в рот финик. Пост был завершен.

ДОБРОЕ ДЕЛО

На пенсию Венера-апа вышла в пятьдесят пять. Она бы, конечно, еще поработала лет пять, а может быть, даже и десять. Она даже намекнула об этом руководству, но оно намека то ли не поняло, то ли не захотело понимать. Нельзя сказать, чтобы Венера-апа любила свою работу. Что там любить: бумажки, отчеты, бланки, печати.

Всю жизнь Венера-апа упрекала себя в том, что не приносит никому пользы. Садовник выращивает дерево, педагог воспитывает детей, библиотекарь выдает книжки и просвещает народ, а что я? — задавала она себе один и тот же вопрос. Как говорил покойный муж Венеры-апа, жизнь дана человеку однажды, и прожить ее надо так, чтобы потом не было больно. Сам ли он придумал эту фразу или вычитал где — Венера-апа не знала, но слова эти были ей по душе.

Но это только дурак и неуч думает, что доброе дело легко сотворить. А ты пойди сыщи это доброе дело. Добрые дела на дороге не валяются. Однажды Венера-апа шла из «Пятерочки» и вдруг почувствовала в ногах тяжесть. До дома оставалось каких-то несколько метров, но так ей тяжело стало — хоть на землю садись. И она бы села, если бы не боялась того, что соседи начнут потом злословить. Особенно эта с горбатым носом — Нурия — сразу доложит своему муженьку. И тут Венеру-апа осенило: вот оно, доброе дело. Как же она сразу не догадалась. Скамейка! Вот будет идти так же кто-то и устанет.

«Я умру, а люди будут сидеть на этой скамейке и добрым словом меня вспоминать, — мысленно произнесла Венера-апа. — Какая хорошая Венера-апа была, мол, о людях думала».

На следующий день Венера-апа пошла к депутату от их района. Довольно скоро оказалось, что этот депутат не от их района или их район не относится к тому депутату — в чем точно состояла проблема, Венера-апа не разобралась. Ее направили в другую инстанцию, к заместителю главы администрации, отвечавшему по должности за озеленение и скамейки.

Пока Венера-апа ждала в коридоре, она изучала содержание оформленного в оранжево-черных цветах стенда, висевшего слева от входа в кабинет. Венера-апа приблизилась к стенду и прочитала: «Мы гордимся их подвигом, а им не стыдно за нас». Под надписью имелись портреты нескольких ветеранов — женщин и мужчин. Лицо одного старика показалось Венере апа знакомым. Это был Мухамедшах, которого все, даже татары, звали дядей Мишей. «Он, кажется, не ветеран совсем, — подумала Венера-апа. — А, может, это не дядя Миша?»

Своей очереди Венера-апа дожидалась недолго. В кабинете в сером блестящем костюме сидел коротко стриженный человек с большими красными щеками. У него были глубоко посаженные волчьи глаза.

— Вы по какому вопросу? — спросил он строго.

— Я, сынок, по поводу скамейки.

— Какой скамейки?

— Обычной скамейки. Вот шла я недавно из «Пятерочки» — знаете, у нас на Шаляпина «Пятерочка» есть. Там люди вежливые, хорошие. Всегда помогут уж. Однажды у меня трех рублей не хватило, так мне Алия (продавец) говорит: «Не надо, Венера-апа. (Меня Венера-апа зовут.) Потом как-нибудь занесете». Очень хорошие люди. И охранник...

— Хорошо, а при чем здесь скамейка? — перебил чиновник.

— Подожди, сынок. Шла я из «Пятерочки» и почувствовала себя плохо. Так мне стало плохо, просто сил нету. Таблетки с собой не взяла. Лекарства сейчас дорогие. Сами знаете. Так вот, иду я. А мне плохо. А присесть негде. Ни одной скамейки уж.

— Простите, где, вы говорите, дело было?

— На Шаляпина, где пятиэтажки барачного типа стоят.

— Как же там скамейки нет? Есть, и не одна.

— Есть, но с другой стороны, а с этой нет, где подъезд. Ни одной. Вот я шла из «Пятерочки»...

— Хорошо. Я вас услышал. Видите ли, у нас бюджет в начале года утверждается, все скамейки у нас расписаны по конкретным объектам. Придется вам подождать следующего года.

Венера-апа была человеком добросовестным и явилась к чиновнику в первый же день после новогодних праздников.

— Я по поводу скамейки.

— Ах да, помню. Как себя чувствуете?

— Плохо, сынок.

— Что случилось?

— Душа у меня болит. Доброе дело людям сделать надо. Без скамейки никак.

— Неужели совсем без скамейки не жизнь? — рассмеялся краснощекий, изучая пенсионерку волчьими глазами. — Хорошо, пишите заявление. Как растает снег, весной установим.

«Глаза злые, а дело знает», — радостно подумала Венера-апа, уходя от чиновника.

И наступил тот день. Обычный апрельский день. Венера-апа оделась по-праздничному, вышла во двор и, ликуя, наблюдала, как потные от усталости тела рабочих внедряли скамейку в землю.

— А не унесут ее, малай?²⁵ — интересовалась Венера-апа, заглядывая в глаза рабочему.

— Куда уж, мамаша, — отвечал рабочий. — Не вишь, что ли, ее без домкрата не поднять. Она ввинчена уж.

— Ой, хорошо.

Когда рабочие уехали, Венера-апа села на скамейку. Она широко расставила руки, упершись в ребристые доски, словно боялась, что какая-то невидимая сила вырвет из-под нее скамейку и унесет прочь. Домой она отправилась, лишь когда совсем стемнело.

— Слышал новость? — сказала вечером Жене Нурися. — У нас скамейку во дворе установили.

Женя выглянул в окно.

— Зачем?

— Я вот тоже не знаю зачем. Венера-апа таки добилась своего. Весь вечер сидела на скамейке, как на троне.

— Не к добру это, — сказал Женя. И как в воду глядел.

²⁵ Малай (татарск.) — парень.

В ту же ночь Женя пробудился от слов, произнесенных совсем близко. Женя приподнялся на кровати, разглядывая комнату. Голоса доносились из приоткрытого окна.

— Я тебе не урка, понял?! — говорил кто-то с надрывом.

— Ты меня на «понял» не бери, — отвечал другой голос, принадлежавший, как заключил Женя, человеку почтенного возраста.

— Я тебе не урка, понял?! — вновь прозвучал первый голос.

— Ты меня на «понял» не бери, — все так же строго отвечал второй голос.

Женя посмотрел на жену. Она спала. Женя, почувствовав в сердце зависть к умению жены спать, выглянул в окно. На скамейке под их окном сидели двое: парень, одетый в черную футболку-сеточку и шорты, и седобородый дед в клетчатой рубашке, заправленной в тренировочные штаны. На голове у деда была белая фуражка, похожая на те, которые привозят туристы из Петербурга.

Женя распахнул окно и, стараясь не разбудить Нурису, произнес в темноту:

— Уважаемые, можно не шуметь, люди спят.

— Кто здесь? — встрепенулся дед.

— Это я, Женя. Сверху. Вы мешаете нам спать. Уйдите, пожалуйста, ради всего святого.

Дед и парень переглянулись.

— А сколько сейчас времени? — спросил дед.

— Два часа ночи.

— Е-мое, — вскричал парень, — нас же Витек у фонтана ждет. Айда!

Оба поднялись с места и, не прощаясь, заковыляли в темноту.

Женя вернулся в кровать и стал ждать приближение сна, но вновь чьи-то слова, непрошенные, ворвались в их квартиру.

— Короче, я говорю ей: «Ты че? Попутала штоль?» А она мне: «А ты че хотел?». А я ей: «Отвали».

— Ну ты ваще... и че?

Женя накрылся с головой одеялом и приказал себе немедленно уснуть. Потом голоса и в самом деле куда-то исчезли. И Женя, счастливо улыбаясь, приготовился спать. Он поглядел на жену, разметающуюся на постели. «Какая она хорошая у меня», — подумал он и зажмурился. Женя вдруг вообразил, как они с женой отправились на море, в теплую страну, у которой нет названия.

— А хрен тебе, — услышал Женя чьи-то слова. Женя вздрогнул и прислушался.

— Говно ты, а не человек, — продолжал тот же голос. — Понимаешь: го-вно. И я больше ничего не буду тебе объяснять.

Женя бросился к окну. На скамейке сидела девушка. Сначала Жене показалось, что она была без одежды, и он в смятении отпрянул от окна. Он стоял между окном и кроватью и боролся с искушением вновь высунуться в окно.

Положение спасла Нуриса. Она, словно почуввав недоброе, пробудилась и спросила:

— Что ты там высматриваешь? Ложись спать уж...

Утром Женю разбудил разговор на чужом языке. Снимавший в их доме квартиру таджик, работавший контролером в шестом троллейбусе, ходившем в Борисково, громко разговаривал по телефону с родиной...

Каждую ночь Женя молил Аллаха о том, чтобы наступило избавление. Нуриса тоже молила Аллаха, но не ограничивалась общением с Творцом, чередуя ритуальную практику с походами по кабинетам. Наконец ответ был получен. В восемь тридцать утра к дому на Шаляпина подъехала «газель» с рабочими. Они, о чем-то переговариваясь друг с другом, извлекли свои инструменты и изготовились, чтобы выдернуть скамейку из земли.

— Что вы делаете, изверги!? — вскричала неизвестно откуда объявившаяся Венера-апа.

— У нас есть распоряжение убрать скамейку, — сказал один из рабочих, обидевшийся на «извергов».

— Какое такое распоряжение?

— Главы администрации района.

— Но этот... как его... с глазами такими... его заместитель... он же приказал вам установить скамейку. В апреле. Зачем же сносить, а?

— Поступила жалоба. Мешает жильцам.

— Кому?

— Нам, например, — сказала оказавшаяся тут же Нурися. — На ней сидят всю ночь, разговоры ведут.

— Неправда. Мне она, например, совсем не мешает.

— Венера-апа, у вас окна на другую сторону выходят.

— Да вы понимаете хоть, что вы творите. Это же, это же... — Венера-апа не сумела найти нужных слов и вдруг улеглась на скамейку и сказала: — Только через мой труп. Сначала убейте меня, а потом выкапывайте скамейку!

— Бабушка, бросьте хулиганить! — сказала Нурися.

— Кто хулиганит? Я? Да ты знаешь, кто я? У меня муж ветеран войны был! Я ветеран труда...

Рабочий отступил в сторону и куда-то позвонил. Разговор был короткий и тихий. До Нуриси доносились лишь отдельные слова: «Понимаю... Скандал... Едем...»

Окончив говорить, рабочий сказал свом товарищам: «Отбой».

— Куда ж вы? — спросила рабочих Нурися.

— Начальство дало отбой. Извините.

Нехорошо поглядела Нурися на Венеру-апа, но не сказала ей тех слов, которые шли у нее от самого сердца.

Прошло жаркое казанское лето. Бессонное и тревожное для Жени и других жильцов их дома, не имевших дара спать при любых обстоятельствах. Никто поначалу не заметил, как Венера-апа перестала появляться днем на своей скамейке. Решили, захворала или уехала куда-то. Только на третий день, когда из квартиры донесся тяжелый, гнусный запах, соседи занервничали. Женя как раз возвращался домой, когда двое крепких парней из соседнего подъезда выносили что-то, завернутое в простыню.

— Что несете? — спросил их Женя.

— Старушку одну. Померла. О чем думаете? Вонь такая. Мы чуть не задохнулись.

— Померла наша благодетельница, — сказал Женя и присел в смячении на скамейку Венеры-апа...

На следующий Женя, как обычно, отправился на работу, а Нурися — в администрацию. Не успела душа Венеры-апа встретиться с ангелами, а злочасная скамейка уже была выдернута из земли, как больной зуб. От доброго дела Венеры-апа остались четыре небольших отверстия в земле, которые, впрочем, тоже скоро исчезли. В сентябре в Казани часто идут дожди...

Борис ХОСИД

* * *

Архимандриту Тихону

Однажды, словно выйдя за порог,
Вселенную увидишь ты у ног.

Точнее так: она внутри тебя
Дрейфует наподобье корабля.

Там в черноте вкрапленья хрусталя.
Не разобрать, где вертится Земля.

И ты глядишь на космос сверху вниз,
Как будто голубь, севший на карниз.

В себе откроешь клеточку Христа,
Всё видевшего с высоты креста.

И ничего сильнее Слова нет.
Оно и есть тот первородный свет,

Тот, о котором ведаёт монах,
Живущий в келье в бденьях и постах.

Его молитвы — с Господом пиры.
На них встают и рушатся миры.

* * *

Якову Борисовичу Хасиду

Что-то тянет часто в Могилёв, —
Не в могилу, вовремя в ней буду, —
Будто слышу крови дальний зов:
Дедушка и род его оттуда.

Заезжал давно на пару дней,
Ухватившись за командировку,
Окунуться в ауру корней,
Несмотря на то, что полукровка.

Борис Владимирович Хосид родился в 1962 году в Ленинграде. Печатался в журналах «Нева», «Звезда» и других периодических изданиях. Автор книги стихов «Свидетель» (СПб., 2013).

Беларуси мягкая земля
И живым, и мертвым — всяким рада.
Первый раз по городу гулял,
Вспоминая, что здесь был когда-то.

* * *

Я в осени счастливый эмигрант,
Небесные слышны мне перезвоны.
Вновь, причастившись, деревья горят,
Как свет, идущий из окна иконы.

На год напиться золотой водой.
Щемяще расставанье на перроне.
Природа умирает, как святой, —
Без вздохов и мучительных агоний.

Листвой процежен воздух и горчит.
Под куртку лезет цепкая прохлада.
Под горлом снова сердце не стучит —
Я счастлив так, что большего не надо.

* * *

Жизнь с каждым днем прозрачней и короче.
От осени никак не отвертеться.
Потом зима, конечно, «злые ночи»,
За ними смерти маленькая дверца

Туда, где ждет суровая расплата,
Ведь грешен так, что негде ставить пробы.
Мне райских куш не светят ароматы,
И я молю из глубины утробы:

Помилуй мя, помилуй, Боже правый!
Я так привык к Твоей любви, поддержке.
Прости за все дурманы и отравы
И, словно пса, оставь на передержке.

* * *

Время — привередливый портной,
Создающий новые модели.
Нет проблем с материей любой,
И оно идет упорно к цели,

К идеалу, гладкому, как шелк,
Чтоб сказать: мгновенье, ты прекрасно!
Но Господь промолвил «хорошо»,
Глядя на творенье, не напрасно.

Можно карты долго тасовать —
Прежнюю останется колода.
Совершена только благодать,
Что с плеча иного небосвода.

* * *

Тот свет, что мановением руки
Господь вложил мне в сердце, как лампадку, —
Бесценный дар, спасенье от тоски,
Сжимающей нам горло мертвой хваткой.

Молю Тебя, Всемилостивый Бог,
Не погаси тот свет до дня кончины,
Чтоб на Своем Суде заметить мог
Внизу, во тьме, души моей лучину.

РАССКАЗЫ

УГАДАЙ, ГДЕ Я

1.

Он позвонил, когда я остужал суп с куриными почками. За окном мела та особая пурга, которая бывает только первого января — предвестник сложного, тяжелого года. Метель выморозила начисто все улицы, облизала тротуары, крыши и фасады, забила мелким колючим снегом стекла осиротевших во дворе машин. Город был пуст, дик и темен, люди стали чужие ему; а я разогрел суп и, глядя на золотистые блишки жира в треснувшей старой тарелке, ждал, пока смогу проглотить ложку и не обжечься.

— Угадай, где я, — сказал весело твердый и звонкий голос.

— Не собираюсь, — ответил я, но ему был безразличен мой хмурый тон, как и наша пурга, как и наши пустые пространства окраин большого зимнего города.

— Я в Вальпараисо, — объявил он. — Сажу на склоне холма Консепсьон и смотрю на Тихий океан. Ты знаешь, он здесь удивительно синий, почти фиолетовый. Вчера я приехал сюда из Ла-Серены, там меня возили в Пунта-де-Чорос, и я наблюдал пингвинов Гумбольдта, тюленей и морских львов. По склону здесь теснятся пестрые дома, их обнимают мощные узкие улочки, по которым бегают троллейбусы — между прочим, самые старые в мире! А над бухтой громоздятся кучевые облака — они, знаешь, как отражение гор, но горы круче, выше, хотя до них рукой подать, а к холмам можно подняться на фуникулерах — их здесь шестнадцать штук, выбирай любой!

— Послушай, у меня стынет суп, — сказал я с досадой. — Я только что пришел с дежурства и даже Новый год еще не праздновал. У меня сейчас остынет суп с почками, а я голодный.

— А ветер, если бы ты знал, какие запахи несет этот ветер! Запах морской соли и машинного масла из порта, свежей рыбы с Калета-эль-Мембрильо, пряностей с рынка, зеленой травы парков Винья-дель-Мар... Ругань иностранных моряков, заносчивость чилийских солдат и зазывные крики торговцев, сладкая упругая кожа местных девушек — вот что заключено в этом ветре, старина.

— Мой суп...

— А музыка, какая здесь чудесная музыка! Прямо на улицах, в ресторанах, барах — старинная, дивная музыка, да, и танго, старина, танго — все, кроме «Adios, muchachos», этого тебе здесь не сыграют, музыканты не любят этой песни, они считают ее плохой приметой.

— Почему? — сдался я.

Борис Борисович Петров родился в 1976 году в Москве. Учился на историческом факультете МГУ, который не окончил. Работает в сфере журналистики.

— Потому что это песня про то, как герой теряет молодость и больше не хочет развлекаться — это песня не для Вальпараисо, не для этого города, дружок!

— Все, я хочу пообедать и пойти спать, — объявил я и положил трубку.

Суп, конечно, совсем остыл, но у меня слипались глаза, и я съел его холодным, почти не почувствовав вкуса.

— Кто звонил? — спросила жена.

— Да опять этот путешественник, — пробурчал я.

Жена зашуршала одеялом, зажгла ночник:

— Откуда же на этот раз?

— Вальпараисо, — выплюнул я изо рта засевшее там незнакомое, чужое название города на другом конце земли. — Ненормальный! Как он мне надоел. Уже с десяток лет звонит и требует угадать, где он. Придурок. Какое мне дело, где его носит нелегкая.

— Вальпараисо, — вздохнула жена, и я увидел, как разглаживаются морщинки вокруг ее наполненных сном глаз. — Это в Чили?

— Да, в Чили. У черта на куличках.

— Как славно, — прошептала жена, снова засыпая, и мне показалось, что она стала чуточку моложе.

На следующий день непогода не унялась, а разыгралась еще пуще: даже дворников убрала из дворов, ломала мертвые черные сучья, громыхала на выстуженных крышах. Я валялся в постели и слушал, как пурга воеет в арках, и вдруг в арию мороза и ветра вплелся теплый звук: жена пела.

Она вытирала пыль с книг, пританцовывая, двигалась вдоль полок и напевала что-то себе под нос, и я уловил в мелодии знакомый ритм — кажется, это было танго, да — танго, под эту песню мы коротали на пляже в Одессе ласковую летнюю ночь. На пляже Ланжерон с ритма танго началась наша любовь, жена тогда напоминала статуэтку, и я бережно обнимал ее, потому что боялся ненароком сломать тонкую талию; подумать только, как давно это было!

Странные мысли приходят с утра в голову, подумал я и разозлился.

— Ты что поешь? — крикнул я недовольно.

— Вдруг пришла мне в голову мелодия, — откликнулась жена и задумалась. — Откуда я ее знаю?

Я не стал говорить откуда. Была моя очередь готовить, и я занялся обедом, подавив раздражение в нарезке отбивных, которые я яростно расплющил на разделочной доске.

2.

Зима продолжилась обвальными снегопадами, в которых буксовали автобусы, застредали самолеты, а люди казались пришельцами с планеты снеговиков. Звонок раздался на работе, во второй половине дня, когда до конца смены остается час и в голову приходит трусливая мыслишка о том, что, в сущности, никто и не заметит, если я уйду прямо сейчас. Я, допечатывая репортаж, прижал трубку плечом к уху, думая, что меня беспокоят по делу, но в меня ударил энергичный голос:

— Угадай, где я?

— Послушай, я сейчас занят...

— Я только что вернулся с рыбалки в Кульякан. Кульякан, столица штата Синалоа. Ты читал Реверте? Вот я здесь, только что ходил на рыбалку с местными нарко-

баронами. Ха, это славные ребята, старина, на редкость славные, даже иногда застенчивые и сентиментальные — до тех пор, пока ты не скажешь лишнего. Этот испанец здорово написал о Кульякане!

— Позвони попозже, мне надо сдать статью...

— С балкона гостиницы мне видны прелестные невысокие горы — Западная Сьерра Мадре, у них вершины плоские, будто стесанные. И, конечно же, собор Пресвятой Девы Марии — бело-розовые башни заметны с любой окраины. Ну, а если охота полюбоваться на сам город, то это надо взобраться на холм — пройтись немного, растряссти жирок — и достигнуть другой церкви — Гваделупской Богоматери, вот откуда открываются первоклассные пейзажи! А потом иди гулять и зайди на площадь Альваро Обрегона, полюбуйся там на мимов и клоунов... И зайди, выпей текилы. Здесь нельзя не выпить текилы, дружище!

— Какая текила? Я работаю, понимаешь? Я сейчас положу трубку. Что за у тебя дурная привычка...

— Вчера мы с одним местным парнем поймали большую рыбу — марлина. Ох, и потаскала она нас! Послушай, это невероятно, какая же она сильная — с копьем на морде, мощными серебристыми боками и темно-синей покатою спиной. В основном с ней боролся мой друг, и он был просто великолепен в этой борьбе. Ты знаешь, в нем есть кровь племени яки, метис, стало быть, — и вот в нем проступило все индейское, и на крестьянском лице, и в упрямой коренастой фигуре; он водил рыбу, а та ходила кругами, пыталась нырнуть, а потом выпрыгнула из воды, и я чуть было не упал за борт от изумления — какая она огромная и красивая, эта рыба. Я тоже немного поучаствовал, я ведь не слабый мужчина, но сил не хватило надолго, и за дело взялся опять мой спутник и в конце концов одолел ее. Сильный, отчаянный парень, каким может быть только наркоконтрабандист... Вечером мы сидели в баре, в который набилось полно народу, и ни одного туриста — все такие же, как он, и их девушки — тоненькие, смиренные, но глазастые — и эти глаза иногда сверкали так, что я бы не решился подойти познакомиться, потому что такая не будет думать, прежде чем пустить тебе пулю в лоб. Друг попросил музыкантов спеть песню и сказал, что это — баллада о нем и о его хозяевах. Его уважают в Синалоа, и он сказал, смеясь: «Значит, меня скоро убьют». У нас есть общая фотография, где мы держим нашу большую рыбу. Я тебе перешлю...

— Где хоть это — Кульякан? — спросил я устало, но не услышал ответа, только тихонько потрескивало пространство у меня в кулаке.

Жена была дома: ухаживала за простуженной дочкой. Я зашел в аптеку, завернул в магазин и взял там хлеба и колбасы, обнаружил, что все опять подорожало, с трудом пробился обратно сквозь липкий, противный снег и долго топал у порога. Таблетки я отдал жене, а сам примостился в прихожей приводить в порядок запорошенную одежду. Дочка раскапризничалась и причитала, что лекарство очень горькое, а жена отвечала ей: «А ты не болей, тогда и горько не будет».

Потом она подошла и, помолчав, спросила, наблюдая, как я чищу ботинки:

— Что, он опять позвонил?

— Как ты угадала? — спросил я, оббивая края подошвы.

— У тебя всегда становится такое упрямое лицо, когда он звонит... Ты очень смешно злишься.

— Вот еще. Ни капельки не злюсь.

— Может быть, — спокойно сказала жена. — Откуда же он дал знать о себе в этот раз? Я поставил ботинки в угол.

— Я даже не разобрал. Он же не человек, а ходячий географический атлас. Какой-то Куалькан или Кульякан.

— А это где, пап? Такое красивое слово! — крикнула дочь, которая, оказывается, прислушивалась к нашему разговору.

— Не знаю, малыш, — ответил я. — Я же не атлас...

К выходным я заметил в библиотеке прибавление, удивился, открыл новую книгу и прочитал: «Я всегда полагал, что мексиканские наркобаллады — просто песни, а „Граф Монте-Кристо“ — просто роман. Так я и сказал Тересе Мендоса в тот последний день, когда она, окруженная телохранителями и полицейскими, согласилась принять меня в доме, расположенном в районе Чапультепек города Кульякан, штат Синалоа».

Детектив, значит: полиция, телохранители. Наркобаллады. Кульякан, штат Синалоа. Мексика.

3.

Весной потек не только снег, но и кран на кухне, и жена, многозначительно глядя мне в глаза, сказала:

— Нет вещи в мире тоскливей, чем звук капающей воды.

Промаявшись ночью до двух часов — меня одолевает в это время года бессонница, — я отправился варить кофе, пребывая в том пограничном состоянии, когда все вещи кажутся такими, какие они есть на самом деле. Когда он позвонил, я пытался вычислить промежуток, через который падают капли, и никак не мог посчитать секунды.

— Угадай, где я?

Гнев поднялся во мне, и без того раздраженном, и захлестнул с головой, я не сдержался и закричал в голос, забыв о том, что жена и дочь спят, что на улице — тепельная, пахнущая прошлогодним гненом ночь:

— Ты! Ты достал меня! У меня тут кран течет, ты можешь это понять, кретин? Почему я должен угадывать, где, в какой дыре ты шляешься? Почему ты позволяешь себе звонить по ночам?

— Я на берегу Северного Ледовитого океана, на берегу бухты Фробишера, — хихикнул мне в ухо далекий голос. — Этот поселочек считается городом и называется Икалуит. Икалуит, старина, — это в переводе с эскимосского «рыбное место», рыбное место на Баффиновой земле. Бухта забита льдом, и лед совсем белый, прямо как сахар, и ровный-ровный, отшлифованный, да так оно и есть — ветер его загладил, заласкал. Только иногда выбиваются плиты льда, там и сям, отбрасывают резкую тень, будто авангардистское полотно. Здесь очень холодно, вчера был такой буран, что я чуть не отморозил нос, хотя хожу в специальной маске. В такую погоду лучше вообще не выходить из дому — так и заблудиться недолго, и тогда пропадешь — в нескольких метрах от жилья. Зато сегодня солнце просто ослепительное — вот оно, падает на бухту и бурые холмы.

— Провались ты пропадом вместе с этой бухтой и холмами.

— Местные эскимосы сказали, что здесь полно живности, хотя в это трудно поверить. Белые медведи на бурых холмах, они охотятся на тюленей. Овцебыки — странные такие животные — огромные, лохматые, с острыми рогами и выступающим лбом; они сами похожи на холмы. Олени, а за оленями волки и лисы. Эскимосы говорят на совершенно потрясающем, абсолютно непонятном диалекте: очаровательная тарабарщина! У их стариков лица похожи на кору клена, а у девушек — широкие ноздри и очень милая улыбка. Они, кстати, просят называть себя — инуиты, это значит — «люди», а эскимосы — это, оказывается, словечко кри. «Те, кто ест сырое мясо», — так их величают индейцы, и им это не нравится...

— Сейчас полтретьего ночи, и у меня течет кран, — сказал я злобно. — Я не хочу слышать об эскимосах! Оставь меня в покое!

— Икалуит, столица территории Нунавут, самой обширной из всех канадских провинций и самой дикой, — неторопливо шелестел голос, преодолевая пол земного шара, — Готов поспорить, что уж сюда-то редко кто добирался. Край света! Есть поселения и севернее, но это я уже, наверное, летом попробую. Все-таки здесь холодно. Здесь еще далеко до весны, ветер и солнце злые, обжигают щеки, но все-таки здесь здорово — красота совершенно инопланетная. Меня возили на северо-запад острова; видел бы ты, какой там пейзаж. Земля падает в воду совершенно ледяного голубого цвета — отвесно, голыми уступами, без малейших признаков растительности, до блеска протертыми ветром, как полотенцем; эти утесы — мускулы здешних мест. Мускулы без кожи: ведь снег не держится на этих склонах, но он накрывает шапкой горы подалее, в глубине земли, и оттуда по аккуратным вырезанным в побережье, словно какой-то мастер стамеской поработал, плавным ложбинам долин ползут к океану ледники. С вертолета они похожи на мрамор — с узорами, прозрачными прожилками. Такая у эскимосов земля...

— Боже, ну зачем ты мне все это рассказываешь? — простонал я, но тут что-то щелкнуло, и воцарилась тишина, разбиваемая только тонким посвистыванием, — ветер дул через полмира мне в лицо.

Я поежился и оглянулся: они все были в сборе, никто не спал.

— Папа, а что, он у эскимосов? — спросила дочка, округлив глаза.

— Ты так громко кричал, что мы испугались, — укоризненно сказала жена.

— Извините. Он сегодня особенно не вовремя, — ответил я. — Кран этот... Утром вызову мастера. Идем спать. И почему я должен выслушивать эти бредни?

— А почему ты должен их выслушивать? — тихо спросила жена, и я увидел румянец на ее щеках: они светились, будто с мороза.

Я пожал плечами.

— Ну... не знаю. Невежливо как-то трубку бросать... Человек все-таки издалека.

Неожиданно в голову мне пришла блестящая мысль:

— А вдруг не издалека? Может быть, это все выдумка, розыгрыш? Он, поди, в жизни ничего не видал, никуда не ездил — сидит у компьютера, смотрит Википедию и фотографии в Интернете, а потом вешает мне лапшу на уши. Все, больше не буду с ним разговаривать. Кончено!

— Не все ли равно, где он сидит, — сказала жена. — Дело совсем не в этом.

Глаза у дочки совсем стали круглыми.

— Пап, а как же эскимосы? У них такие замечательные собаки! Я читала!

— Э-э-э... Собаки... У эскимосов... Хм, — растерялся я. — Спрошу в следующий раз.

Жена мечтательно улыбалась, глядя в окно на громады соседних многоэтажек, где в ранний час еще не светился ни один абажур.

— Может, мы тоже съездим куда-нибудь? — спросила она.

И дочь подхватила:

— Давай съездим, папа, папочка! Давай объедем вокруг всего света!

Я помотал головой и вздохнул.

— Пойдем-ка лучше спать, девочки. Утро вечера мудренее. Сейчас не время: работы полно. Меня сейчас никто не отпустит... В любом случае сейчас еще рано для поездок: еще не растаял снег... Лучше с утра я вызову сантехника, и он починит нам кран.

Я подмигнул поникшей дочке и заметил, что жена перестала улыбаться и сделалась печальна.

4.

Я потерял сон и аппетит, потому что все время ожидал звонка — звонка из любой точки земного шара. И он звонил — звонил, когда я пытался заснуть, когда мы отправлялись на семейную прогулку, когда я сидел на совещании или пресс-конференции, когда у меня схватывало живот и я запирался в сортире.

Я пытался заниматься своими делами, принимал таблетки от расстройства желудка, проверял, как дочка сделала уроки, и водил ее в музыкальную школу, писал статьи и ругался с руководством из-за зарплаты; а он рассказывал мне, как бродит в цветении яблонь и вишен вдоль фахверковых домов в Пуатье, созерцает утренний туман над Гангом в Уттаркханде, пересчитывает поднимающиеся ввысь гигантской лестницей над прозрачайшими водами Байкала мраморные хребты Хамар-Дабана, наблюдает девятиметровую приливную волну на реке Цаньтян, знакомится с миниатюрной азиаткой на тиковом мосту У-Бейн в хаотичном Мандалае.

Тем временем началась война, и я стал уделять семье гораздо меньше внимания, просиживая на работе иногда и сутками: мой талант оказался наконец востребован, и я не хотел терять свой шанс.

В музыкальную школу дочь теперь водила жена, и они часто стали заходить в парк рядом с нашим домом — обыкновенный, грязноватый городской парк, весь в клочках нерастаявшего снега, как в вате. Он весной наполнился запахом шашлыков, которые мастерски готовил один знакомый грузин, детским смехом, вылезшими из нор после зимней спячки пьяницами, степенно гуляющими по аллеям пожилыми парами. После таких прогулок они вдвоем долго о чем-то шушукались, перемигивались, блестя на меня своими чудесными личиками, будто бы объединенные некой неведомой мне тайной, и я радовался за них, но не с ними.

Жена и дочь звали меня, но я так уставал на работе — я занимался беженцами, разбомбленными селами, миссиями примирения; у меня перед глазами стояли равнодушные лица тех, кто кричал громче всех про нашу правоту; меня тошнило от мерзости военного времени, и вместо весеннего ветра я обонял затхлый дух окопа; я описывал все это в своих статьях и стал довольно популярен в определенных кругах.

И тем больше я злился, когда в самый разгар передачи последней фронтальной сводки в кармане начинал трепыхаться смартфон, который я не мог отключить, потому что все время приходилось ожидать важного разговора, но вместо эксклюзивной информации задорный голос спрашивал напористо и весело:

— Угадай, где я?

Я стал худеть, нервничал и кричал на жену и дочь, а те молчали, и в их глазах я видел ожидание рассказа, разгадки: где он оказался на этот раз.

— Ну что ты мучаешься? — сказал мне коллега, мудрый человек, который не знал такой проблемы, которую не мог бы решить.

Я рассказал о звонках. Коллега пожал толстыми плечами:

— Не хочешь его слышать, не отвечай. Просто игнорируй его. Не можешь не ответить, сделай так, чтобы он не мог позвонить.

— Как? — спросил я растерянно.

— Смени номер, — сказал коллега буднично и принялся говорить о последних победах наших героических сил.

В первый раз за долгое время я возвращался домой оживленный, и вдруг я увидел своих девочек. Они, видимо, возвращались из парка: обе свежие, молодые, полные сил; и они пели. Они шли, взявшись за руки, и пели, и до того славно у них это выходило, что прохожие останавливались, вслушивались и улыбались. Я вдруг

осознал, что моя жена — снова красавица: плавные линии ног и бедер, сильная спина, гордая тонкая шея, точеные черты лица, увенчанные копной великолепных волос, — она словно вернулась на много лет назад, она опять стала той девушкой, с которой мы ночью танцевали танго на пляже Ланжерон.

И дочка, размахивающая тонкими ручками, сияющая огромными глазищами навстречу каждому, кто хотел заметить ее маленькое счастье; счастье переполняло ее хрупкую фигурку, кудряшки и веснушки, оно ясно звучало в серебряном голоске, который выводил ноты без фальши, в то время как жена все-таки чуть-чуть сбивалась с ритма. Как я любил их в этот момент! Они же ничего не замечали — они пели.

Мы пришли домой почти одновременно, и они накинулись на меня, покрасневшие после прогулки, стали, перебивая друг друга, рассказывать про парк, его аллеи, набережную реки, про то, какой вкусный шашлык они ели, и даже снова пытались спеть, но получился диссонанс, и они расхохотались; я любовался женой и дочерью, и тоже хохотал, и сказал:

— Вот и славно.

— Мы хотели тебя позвать, но почему-то не смогли дозвониться, — сказала жена. — У тебя все время «абонент недоступен».

Она засмеялась:

— Какой ты у меня недоступный абонент!

— Ах, да, я забыл совсем, — небрежно ответил я. — Я же поменял номер. Поставил новую сим-карту.

Дочка глянула недоумевающе и побежала в свою комнату, но я смотрел на жену и наблюдал поразительное превращение: только что она была тонкой статуэткой с прозрачной кожей, которую изнутри подогревал прекрасный огонь, и вдруг по ее лицу побежали трещинки, набряк нос, заволоклись туманом глаза, раздались бедра, поникли плечи и поблекли волосы.

— Зачем? — тихо спросила она.

— Теперь меня не будут отвлекать, — пояснил я. — Я не могу больше часами разговаривать с безумцем, который звонит в любое время дня и ночи и несет какой-то бред. Война, а ему хоть бы хны. Вчера он звонил якобы из Марракеша и рассказывал про мечеть Кутубия, акробатов на площади Джемаа-аль-Фна, про какой-то красивый город, пальмовые и оливковые рощи. И все это тогда, когда мне надо слушать выступление президента!

— Теперь тебя не будут отвлекать, — тихо повторила жена.

— Не расстраивайся, малыш, — ласково сказал я. — Скоро у меня отпуск, поедем к твоим родителям на дачу, там хорошо. Дочке там нравится. Оливковых рощ нет, но есть чудесный сосновый лес и озеро. Будем отдыхать, купаться, дышать воздухом, и я отключу телефон к чертовой матери, чтобы никто не мог мне дозвониться. Никакой политики, никакой войны, никаких бредней!

— Никаких бредней, — прошептала жена.

5.

В отпуск мне съездить в то лето не довелось: наступила кульминация, нас атаковали по всем фронтам, и люди ходили в тревоге и выдвигали инициативы и планы спасения нации один серьезнее другого, и потом оказалось, что это хитрый маневр с целью завлечь врага в ловушку и разгромить в котле. Разгром грянул, по крайней

мере, нам объявили о том, что это случилось; и наступил жаркий, потный день победы, утонув в котором я описывал патриотические митинги и военный гений нашего командования; а люди кругом были горды и поздравляли друг друга — речи и выдохшееся отечественное шампанское лились рекой.

Домой я не спешил, там было гулко и пусто: жену и дочь я отправил на дачу к теще с тестем — загорать, купаться, бродить по лесу, дышать воздухом. Мне отдых, право слово, пришелся бы не ко времени — ведь мы переживали исторический момент, до леса ли? Я даже не каждый день звонил им.

Я скоро оглох от победных реляций, и мой мудрый коллега пронизательно заметил:

— Тебе надо сменить жанр, друг мой.

— Разве это сегодня возможно? — спросил я.

Коллега вытащил из своего ящика бутылку коньяка, зубами, не стесняясь, извлек пробку и плеснул напитка в чайные чашки и себе, и мне.

— Есть такие дни, когда надо разрабатывать только одну тему, — важно изрек он. — День одного жанра. Но сегодня не тот случай. Слишком много ликования — тоже вредно. Надо охладить горячие головы, отвлечь народ, а то ведь они возомнят, что славная виктория на фронте дает им право на победы в тылу... Посмотри-ка вот эти материалы. Слепи из этого заметочку на сайт: такие темы здорово увеличивают трафик. Люди любят всякие угадки.

Я взял растрепанную папочку, открыл ее и уставился на несколько переводных статей из иностранных газет и журналов, а также пачку фотографий молодого загорелого мужчины на белой яхте, в синих горах, у желтой реки, рядом с мощными пальмами, в древнем городе.

Загадка века, говорилось в этих заметках, тайна. Пропал путешественник, который объездил весь свет. Его книги издавались огромными тиражами, ими зачитывался весь мир: от домохозяек до общественных деятелей и артистов, от фермеров до офисных клерков — он открывал окно в мир всем, давая возможность прикоснуться к прекрасному в самых разных частях света: в Америке и Африке, в Европе и в Азии, в Австралии, даже в Антарктиде. Пропал человек, избравший своей профессией путешествия и познание, и уже месяц никто не может его найти. Что с ним случилось — произошел ли несчастный случай, пресытился ли он яркими впечатлениями и уединился где-нибудь в тихом местечке; может быть, его заставила затаиться любовь или тяжкая болезнь, или, по мнению некоторых экспертов, это ловкий маркетинговый ход, рекламный трюк угасающей звезды? Никто не знает. Загадка века! Тайна.

Я смотрел на фотографии и недоумевал: мы ведь ровесники, как же он смог так хорошо сохраниться? Я ведь тоже неплохо выгляжу, но возраст берет свое: шевелю давно разбавили седые волосы, животик превратился в символ успешности и солидности, кожа стала шершавой, и я частенько маюсь больным желудком, ломотой в костях и задыхаюсь, когда взбираюсь по лестнице.

А он словно бы и не менялся с времен нашей юности — все то же сильное тело, мощные ноги и руки человека, привыкшего много двигаться; объемная грудь, просто созданная для вдыхания сладкого, свежайшего воздуха; поджарый мускулистый живот, у которого не может быть проблем с усваиванием пищи; открытое, смелое лицо, обрамленное выгоревшей на солнце курчавой бородой. Бог мой, я бы не дал ему больше двадцати лет! И яркие ласковые глаза, в которых отражались небо и море, которые видели Вальпараисо, Кульякан, Икалуит и еще тысячи, десятки тысяч городов, поселков, гор, рек, бухт и озер. Он смотрел на меня с фотографий и смеялся надо мной, он словно говорил мне:

— Угадай, где я.

— Не буду я угадывать, где ты, — ответил я ему, и мой мудрый коллега с тревогой оглядел меня, недоумевая, почему я заговорил с фотографией, и поторопился плеснуть еще немного коньяка.

Я позвонил жене и рассказал ей, что только что написал заметку о пропавшем путешественнике.

— Почитай завтра у нас на сайте... Можно было бы теперь восстановить старый номер, да, наверное, не буду: все нужные контакты уже на новую симку перевел, — сказал я.

— А ненужные? — спросила жена.

— От ненужных я как раз и избавлялся. Зачем они мне? — ответил я, довольный собой.

— Зря, — тихо сказала жена. — Ненужные контакты часто становятся востребованы, особенно когда их уже невозможно восстановить.

Я разозлился:

— Ты опять откуда-то набралась всяких глупостей. Ни за что не поверю, что ты ведешь такие разговоры с тестем. Он уже старый человек, он не станет слушать твои умозаключения: они совершенно лишены логики!

Жена ответила, и я по мягкому голосу понял, что она улыбается.

— Нет, не с ним, хотя папа меня бы понял. Мне не так давно звонил наш путешественник, который, как ты говоришь, пропал.

— Вот те на! — я почувствовал, что у меня перекашивает рот от злости.

— Да, милый. Он все время звонит мне — с тех пор, как ты поменял телефон. Мне-то интересно с ним говорить. Он так потрясающе рассказывает о том, где побывал, что видел... Это так захватывает.

Сердце заколотилось, забилося у меня в груди; я закашлялся и, кашляя мучительно и натужно, выдавил:

— Что же ты мне не сказала?

Наверное, она там, на даче, сидя на веранде и вытянув ноги, пожала плечами.

— Ты же так занят, милый. Тебе же всегда было неинтересно. Это тебя только злило...

Она помолчала; связь была хорошая, и я услышал на заднем плане звонкий голосок дочки.

— Знаешь, он рассказал, что посетил последнее место, которое еще не видел. Попросил угадать, где это, и я, конечно, не угадала: Дингуолл в Шотландии, под Инвернессом. Там есть два замка, и он их так забавно описывал — говорил, что они соединены подземным ходом, и в них есть призраки: он даже сфотографировал одного. Это было привидение юной девушки, и оно отчаянно кокетничало... Он обещал переслать фотографию. И еще он сказал, что на Земле огромное количество мест, куда стоит съездить, но ему все они теперь знакомы, а он не хочет повторов. Он сказал, что теперь желает посмотреть звезды... Он смеялся: ведь это занятие, которым можно заполнить вечность.

— Так он что, с собой покончил, что ли? — резко спросил я. — Бог мой, он всегда был ненормальным.

— Этого я не знаю, — степенно ответила жена. — Он не докладывал о своих планах. Но он сказал, что весь доход от книг он переводит на меня — ведь это я беседовала с ним, приветствовала его, рада была его слышать в любое время суток. Это большая сумма. Теперь ты можешь оставить свою жуткую работу. Мы тоже сможем поехать путешествовать! Дочь мечтает об этом...

И тут я сорвался.

— Никаких доходов нам не надо! — заорал я. — Я сроду чужое не брал и не возьму, все заработаю сам, своим трудом, да — только сам! Если для этого надо прогнуть-ся, я прогнусь, но заработаю, заработаю! А тебе я запрещаю брать какие-то нелепые доходы от пустых книжонок. И заканчивай дочь настраивать черт знает на что, ей учиться надо. Вырастит, пусть ездит, если к тому времени не отобьет охоту. Путешествовать им захотелось, напел бездельник и сумасшедший в уши, а они туда же. Ха, да он, наверное, в тебя влюбился! В чужую жену!

— Может быть, — прошептала она.

— Забудь про этого идиота, — пробурчал я, успокаиваясь. — Впрочем, он был славным парнем, только не от мира сего. А за деньги спасибо, не помешают: ремонт в квартире наконец сделаем. Если хватит, свою дачу купим, хватит у тестя на шее сидеть. Я знаю одно местечко, очень мне советовали. И соседи там подходящие — мои коллеги.

Она не слушала меня. Она мечтала. Она глядела на лес, на качающуюся на качелях дочь и вспоминала, как путешественник рассказывал про то, как он заселился в отель и случайно обнаружил, что живет в замке Туллох в Дингуолле, Шотландия; очень забавно вышло.

— По-моему, он был очень одиноким, — сказала она. — Интересно, счастлив ли он? И положила трубку.

6.

А осенью они исчезли.

Одна война закончилась, но мы начали другую; мой талант стал востребован настолько, что меня повысили в должности, и у меня не нашлось ни одного дня, чтобы съездить навестить девочек. Я с трудом выбил два выходных, чтобы перевезти их в октябре в город, и задумал сюрприз: обрадовать неожиданностью приезда. Но явившись на дачу, я застал стариков — тестя с тещей, мирно покачивающихся в креслах перед камином в доме, стоящем посередине кленовых листьев и рыжей хвои. На террасе стоял стол, тоже усыпанный иголками, на котором лежали грибы — последние, наверное, в этом году подосиновики, подберезовики и даже парочка белых. Тесть удивленно сказал:

— Ты разве не знал? Они уехали куда-то в гости. Кажется, к какому-то вашему другу. Странно...

Это была ужасная, темная, дикая осень. Я совсем извелся, сходил с ума, окружающие жалели меня, мой мудрый коллега извел на меня весь запас коньяка. Я искал везде, обегал все больницы, просил помощи у властей и в силовых структурах; я тряс удостоверением, орал и грубил — и в следующий миг унижался и умолял, даже рыдал; я давал взятки, добивался приема у высокопоставленных чиновников; напрасно. Случилась великая тайна — они исчезли; я стоял перед этой загадкой, как перед крепостной стеной, не в силах ее преодолеть. Я напоминал себе полководца, который уверен, что за спиной ожидают приказа огромные силы, но, оглянувшись через плечо, видит только скачущего прочь оруженосца.

Утешало меня немного только то, что ее родители по электронной почте получали короткие уведомления: с нами все в порядке, говорилось в этих строках, дрожащих на мониторе крохотными пляшущими человечками, с нами все нормально, пока нет времени написать подробнее, любим, целуем. Один раз дочь прислала фотографию какого-то диковинного, пышного цветка, и даже ее бабушка не смогла определить, что это за растение.

Тесть и теща тревожились меньше.

— Ты разве не знал, какая она упрямая и взбалмошная? — сказал как-то старый человек, продолжая качаться в своей качалке. — Если уж вбила что в голову, так обязательно исполнит, и не сомневайся. Помнишь, мать, как она удирала в походы в школе? Уж мы ее и ругали, в угол ставили, и как только не наказывали, а она все равно удирала — и мы смирились. Лучше, подумали мы, заранее знать, где и с кем она болтается, чем потом по потолку бегать. Ничего, парень, потерпи, появятся.

— Да она же с дочкой! Дочь еще так мала! — орал я, заставляя ветки елок трепетать и сбрасывать смолистые иголки. — Как она могла так просто взять — и исчезнуть! Ничего не сказать! Как она могла! Как вы можете быть такими равнодушными!

— Видать, что-то сильно ее зацепило, сынок, — спокойно сказал старик от камина, — а внучка у нас смысленнее иного взрослого, правда, мать?

И тихая, благообразная старушка, улыбаясь, закивала белой головой.

Я бежал с дачи со всех ног — от их кресел-качалок, от их бесконечного спокойствия; во мне бурлили сила и жажда действия, и если бы передо мной встала гора, я бы ее свернул в один миг. Но все изыскания были тщетны, энергия уходила в пустоту, я не знал, где девочки, и только лаконичные письма — «любим, целуем» (о них прилежно извещал тесть) — давали мне поддержку и надежду.

Мудрый коллега, глядя на мои метания, предположил:

— Может, к любовнику удрала? Но-но, только, пожалуйста, без рук, ты!

— Не такая она женщина, чтобы так поступить, — остыв, сказал я. — Нет, конечно, нет. Налей-ка мне еще коньяку.

Вскоре я с изумлением обнаружил, что начинаю привыкать к пустой квартире, из которой потихоньку испарялись присущие жене и дочке запахи. Я как-то незаметно для самого себя распахивал по темным углам их вещи, чтобы они не мозолили глаза и не мешали работать. Я перестал машинально надевать куртку в тот час, когда раньше провожал дочку в музыкальную школу. Я дошел до того, что взял тряпку и сам протер книжные полки — вот до чего я дожил.

Так проходила скользкая и мокрая осень. Она поливала нас холодными дождями, и нагоняла тоску в меру своего умения и способностей, и никак не хотела умирать, упорно влачила серое и скудное существование, не уходила. И сразу ушла, в одну ночь. Утром я открыл глаза рано и увидел за окном неясное белое свечение — это выпал снег и, точь-в-точь как в прошлом году, запорошил все следы. Я старался отыскать на нем хоть один отпечаток, но тщетно: ни одной отметины, ни одного бугорочка, ни одной выемки — сплошная ровная белая поверхность, уже схваченная поблескивающим в свете фонарей настом.

7.

Это случилось первого января: опять мела проклятая новогодняя пурга, предвещающая год еще более сложный и хлопотный, чем прошедший. Я вернулся с дежурства, окаменев от военных сводок и метели, долго топал ногами у двери и грел под мышками озябшие руки: забыл перчатки — вернее, забыл, есть ли у меня такие вещи.

Мои дела шли в гору: меня ставили всем в пример как человека, перенесшего большую утрату, но не опустившего руки и не покинувшего свой пост. Перед выходными меня вновь повысили — я стал важной фигурой, но зарплату не подняли, сославшись на кризис.

— Вы патриот и не будете претендовать на роскошь, когда страна испытывает сложности, — сказали мне, нисколько не интересуясь моим мнением, и я кивнул, стиснув зубы.

Дома я включил во всех комнатах свет, чтобы не чувствовать себя одиноко, и разбивал в немьютую сковороду яйца, потому что устал и проголодался. Я намеревался поужинать, выпить и лечь спать. Звонок раздался, когда я разбил третье яйцо.

— Угадай, где мы, — сказал весело твердый и звонкий голос. Ее голос.

Я уронил яйцо на пол и глядел, как по давно не мытому линолеуму расплзается желток. Ноги у меня подкосились, и мне показалось, что я полетел, а затем я куда-то приземлился, но не понял куда. Мне вдруг стало жарко и сразу холодно до дрожи, и выступивший пот быстро остывал на лбу и бровях.

— В Вальпараисо! — объявила жена. — Знал бы ты, как здесь чудесно. Здесь действительно Тихий океан — он почти фиолетовый. Мы на прошлой неделе были в Патагонии и видели гуанако, а на озерах там гнездятся фламинго. Мы ездили в парк Торрес-дель-Пайне, ах, какие там скалы, милый! Невероятно — голубые озера, и в них отражаются снежные гранитные вершины. Они похожи на иглы, вокруг них летают кондоры, а у подножия растут буки и кипарисы. Один гаучо подарил дочери орхидею... А сейчас мы пойдем вниз, в город, гулять по прелестным мощеным улицам, позже мы будем есть казуэлу, и я позволю себе бокал вина из долины Майпо — под звуки танго — о, как я люблю танго, как в Одессе, помнишь? А ты что делаешь, милый?

— Я тебя слушаю, слушаю, — произнес я хрипло, забыв о яичнице, и она продолжила рассказывать о ярко раскрашенных домах и самых старых в мире троллейбусах, а потом трубку выхватила дочка и затараторила быстро-быстро: она уже покаталась на всех шестнадцати городских фуникулерах — пестрых маленьких вагончиках, а нанду оказались такие смешные, папа, и мы познакомились с добрым дядькой-крестьянином; он пас овец в тех степях, которые здесь называются пампасы.

— Я слушаю, слушаю, говори, ты только рассказывай — я все вижу! — шептал я.

Трубку снова взяла жена. Она рассказывала, и я знал, что будет дальше — я угадывал, да, угадывал — Кульякан, штат Синалоа, Мексика; Икалуит, территория Нунавут, Канада; Дингуолл, область Хайленд, Шотландия и многое, многое другое — тысячи, десятки тысяч городов, поселков, гор, озер, рек и морей.

Огромный полигон для игры в угадайку.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ

Вечером мы вернулись из одного горного села, где нестинары танцевали на углях. Деревня находилась где-то высоко, но не так высоко, как Шипка. На Шипке сразу становилось понятно, на какую высоту мы въехали, и с меня там сошло семь потов, когда я карабкался по лестнице к этой чертовой башне — памятнику Свободе. Свобода — это прекрасно, но я запыхался.

С пика все любят потрясающим видом на перевал и окрестности, там целая огромная горная страна, и во все стороны торчат установленные на горах пушки, и на склонах стоят ухоженные обелиски; тропинка ведет на серые игольчатые скалы, покрытые мхом, по которым мой друг прыгал, словно горный козел, с превеликим удовольствием. Но для меня там оказалось высокогато.

Я сделал оттуда целую серию панорам — и как горы, такие зеленые вблизи, растворяются в голубизне, и как под ногами круто все обрывается вниз, и там, внизу, плывут облака и цепляются за ели, и летают птицы; но я был рад, когда мы поехали дальше — помнится, тогда путь наш лежал в Габрово.

В этой деревне с нестинарами склоны гор казались пологими до тех пор, пока до рога не выходила на обрыв, и тогда раскрывалась огромная, полная воздуха долина

с крошечными коробочками домов внизу, вся расчерченная квадратами лесов и полей и серебряными лентами рек, которые текли к морю. Такие ленты вяжут на священные деревья. Иногда под ними и дерево-то незаметно — сплошной клубок лент.

Моря от деревни видно не было, оно лишь угадывалось вдали, там, где горы расходились, словно долина раздвинула их локтями, и с той стороны дул ветер, сильный и горячий. В деревне у забора с чрезвычайно унылым видом стоял осел, земля была распахана, а там, где росла трава, под деревьями паслись лошади. Лошади смотрелись очень красиво, но нам стало жалко осла — уж больно он был несчастен.

Дождаясь захода солнца, мы сидели в доме у крестьян и обедали, а перед нами выступали танцоры. Нам подали мясо с картошкой — сытное, но не очень вкусное блюдо. Мне показалось, что в нем маловато соли. Мясо мы запивали молодым вином — оно сильно бросалось в ноги. Музыка играла громко, гулко били бубны, и очень резко взвизгивали скрипки, а гармонь придавала звуку густоту. Иногда танцоры вскрикивали, они кружились, прыгали по комнате и были разодеты в пестрые национальные рубашки; в глазах рябило, и все вокруг хлопало, но я бы предпочел пить вино в тишине.

Когда стемнело, нас повели смотреть танец на углях, и кряжистый, будто выточенный из дуба мужик с обвислыми усами, весь состоящий из бугров и узелков, сделал из углей багровый крест и долго ходил по ним, и крест расплылся, не причиняя мужику боли. Эти люди знали, до какого состояния нужно довести угли, и кожа на подошвах у них, наверное, отросла слоновья. В этом деле они тут в деревне были специалисты.

Мужик танцевал под жесткую мелодию волынки, а потом взял на руки какого-то ребенка и стал кружиться по углям с ним. Все притихли, только бараны и птицы шевелились в сарае, расположенном недалеко от круга. Я хотел сфотографировать нестинара, но никак не мог сообразить, как сделать так, чтобы кадр получился: наступила ночь, свет давали только угли, а у меня слишком расшумелось в голове от молодого вина.

На обратном пути я заснул и проспал всю дорогу вниз, к морю. У отеля меня разбудили и рассказали, что наш автобус чуть не опрокинулся в пропасть, потому что гнал в темноте по горным серпантинам на сумасшедшей скорости, и никто ничего не видел, только фары то упирались в скалу, то проваливались вниз; машину немилосердно трясло, но даже это не разбудило меня.

— Да, болгары, они такие, они любят гонять по дорогам, — отметил мой друг.

Он был бледен, и я сказал ему об этом.

— Станешь тут бледным, парень! Такая гонка! — ответил он.

Я пожалел, что проспал самое интересное, но потом мы пошли ужинать и заказали гювеч, а мой друг еще и чорбу.

— Я, когда нервничаю, очень кушать хочу, — приговаривал он за ужином. — А я нервничаю. Глупо было выжить под Иловайском после той мясорубки, которую там устроили ваши бандиты, и умереть, кувыркаясь в старом «Икарусе», который ведет пьяный жирный болгарин.

— А он был пьян?

— Так же, как и ты, — ухмыльнулся мой друг. — И, по-моему, тоже спал. За рулем. Ты что, не заметил, как он дул вино?

Нам было немного грустно, но мы запивали гювеч ракией «Бургас-63» и воспрянули духом, и мой друг постепенно успокоился, а я сказал себе, что нестинаров все-таки повидал, а остальное не так уж и важно. Если кто-то хочет успокоиться после таких дел, то «Бургас-63» — самое оно. Это лучшая ракия на всем побережье Болгарии.

Приятно было пить ракию в этом ресторанчике. Мы сидели около печи, с которой свисали связки трав и зеленого перца. Если поднимался слишком сильный ветер с моря, официанты опускали клеенчатый полог, и жизнь казалась прекрасной.

— А вот в Москве я не пью ракию, — сказал я. — Невкусно. В Москве ракия не идет.

Друг пренебрежительно фыркнул.

— Каждому напитку — свое место, — глубокомысленно сказал я. — Не могу в Москве я пить ракию.

— К дьяволу Москву, — заявил друг. — К черту ее. Не хочу даже думать сейчас про Москву.

— Тогда и Киев к черту.

— Нет. Киев нельзя посылать к черту. Не получается.

— Почему же Москву можно, а Киев нельзя?

— Не знаю. — Мой друг задумался, а потом встрепенулся. — Знаешь, и правда ведь. Я люблю Москву и Киев тоже люблю. Но вот ведь как интересно! Москву я могу послать к черту, а Киев — нет. Язык не поворачивается. Слушай, как интересно получается. Москву можно, а Киев нельзя.

Спорить мне не хотелось.

— Эй, ты не забыл, что мы на отдыхе? — спросил я, пока мой друг не помрачнел. Он был веселым человеком, но после того, через что ему пришлось пройти, он иногда мрачнел. Тогда он становился нехорош. Он становился нехорош настолько, насколько он был великолепен веселым.

Он посмотрел на меня и улыбнулся, и я расслабился, потому что увидел, что это — мирная и добрая улыбка.

— Ладно, парень, — сказал он. — О-кей. Мы на отдыхе. И я, чтобы все были равны, готов послать к черту и Москву, и Киев. Черт с ними со всеми.

Я поглядел туда, где в темноте горбились поросшие кустарником дюны. За ними было море: невидимое отсюда, но шумное. Казалось, что там, где море, в темноте кто-то мерно и мощно дышит.

— Да, к черту это все, — согласился я. — Налей еще «Бургаса». Это очень хороший сорт.

В ресторанчике работали красивые официантки. Некоторые понимали русский язык. Одна девушка согласилась посидеть с нами. Она рада была немного передохнуть.

Официантка рассказала, что родом из Молдавии, живет со своим молодым человеком в Велико-Тырново и заканчивает педагогический факультет университета Кирилла и Мефодия. В Молдавии бедно, но у нее отец — болгарин, и он ее забрал из Кишинева. В Болгарии тоже очень бедно, но лучше, чем в Молдавии. Официантка тараторила легко и быстро, четко произнося звуки. Она прекрасно говорила по-русски, только иногда запиналась, вспоминая слова, и тогда нетерпеливо прищелкивала узкими пальцами. Девушка говорила, что каждое лето ездит работать на побережье и проводит здесь весь сезон, зарабатывая деньги. В Болгарии можно заработать только на побережье. Все стремятся к морю летом, и не у всех получается найти дело, потому что слишком много народу, и турки здесь же, и греки, и даже сербы. Но хозяин давно ее знает, доверяет и всегда дает работу. Он пока держит ее на зарплате и чаевых, но она на хорошем счету и надеется через несколько лет войти к нему в долю.

Мы и хозяина, разумеется, прекрасно знали. Это был еще молодой, но уже невероятно толстый турок. Он часто приходил и сидел за столиком у кассы, а когда видел знакомые лица, поднимался и с достоинством, но радушно пожимал всем руки. Это был обходительный человек, который страшно гордился своим рестораном.

А девушка была длинноногая, худая, угловатая, с маленькой острой грудью, у нее смешно торчали во все стороны коленки и локти. Она коротко стриглась, и это ей шло. Все знали, что она — хорошая официантка, и рады были, когда именно она обслуживает столик.

— Купаться-то тебе удастся, девочка? — спросил я.

— Редко, — сказала она с сожалением. — Очень много работы. Мы заканчиваем в час ночи, а уже в семь утра надо вставать.

Мой друг предложил ей ракии, но она отказалась.

— Не пью, — сказала она и засобиралась вставать. Когда мой друг предложил ей ракии, она сразу стала держать себя холоднее, а до этого мы были хорошими друзьями.

Я пнул друга ногой под столом, и он мне ответил тем же, но не унимался и стал предлагать ей сходить искупаться после смены. Девушка покраснела и встала.

— А я думала, вы приличные люди, — сказала она. — Все вы, русские, такие.

Она убежала и больше не подходила к нам в этот вечер. Я поглядел на друга:

— Что, съел?

Он рассмеялся.

— Что же ты не сказал, что ты украинец? — спросил я его. — Что ты промолчал?

— А пусть она думает, что мы оба русские. Все русские такие. Пусть так и думает, — ответил мой друг, продолжая смеяться. Он хорошо смеялся, от души, показывая полный набор великолепных зубов. Я знал, что половина из них — вставные. Ему разворотило челюсть на фронте, и половину зубов пришлось вставлять заново. Но это ему не мешало, а шрам был почти не виден.

— Сволочь ты, — сообщил я.

— Не переживай, парень, — произнес он небрежно. — Я просто пошутил.

— Нет, ты все-таки сволочь. С... сын.

Мой друг пребывал в безмятежности, он подставил ветру свое красное лицо и заявил:

— А, пустое. Ерунда все это. Она подойдет завтра. А мы с тобой, парень, сейчас пойдем купаться.

Я еле отговорил его от этого. Я подумал, что не стоит ему сейчас лезть в воду: для плавания он выпил слишком много ракии. Вот уж точно было бы глупо утонуть после того, как он выбрался из дебальцевского котла и не спал по дороге к морю, глядя на то, как фары срываются в пропасть. О, это было бы втройне глупо.

Мой друг отчасти оказался прав: на следующий вечер девушка подошла, но старалась держаться моей стороны стола и даже пару раз коснулась пальцами моего плеча, и мне это очень понравилось.

Мой друг не обращал внимания на такие мелочи: он приехал отдохнуть, и он отдыхал. На всю катушку. Мой друг любил и умел отдыхать, и такие мелочи не могли испортить ему настроение. Гораздо больше он испугался автобуса, который мчался в ночи вниз по горному серпантину. Ведь если что-то случилось бы, это могло всерьез испортить ему отдых, не то что какая-то официантка.

РАСКАЗЫ

ОНИ СТАНОВЯТСЯ КРАСНЫМИ

Каникулы подходили к концу. Ночи стали заметно холоднее, и вода отдавала все больше накопленного тепла предосеннему воздуху. Сашка уже не купался в ранние утренние часы, как он делал это в разгар лета. Теперь он бродил по берегу в ожидании выпрыгивающих из воды афалин. Прибрежную полосу воды отделяли от уходящей к горизонту темнеющей синевы моря невесть кем и когда уложенные каменные плиты, границу которых Сашке строго было запрещено пересекать. Едва ли он мог совершить проступок более тяжкий в глазах бабушки. Даже игра в карты в укромной тени между стеной немногэтажного дома и стрекочущими всякой насекомой живностью кустами не шла в сравнение с заплывом за поросшие ракушечником плиты, поскольку в случае с азартными играми Нина Филипповна видела угрозу нравственности, которая в столь юном возрасте еще является вещью поправимой, тогда как в не огороженном плитами море ей небезосновательно мерещилась угроза детской жизни. А за это могло попасть и ремнем по ногам пониже шорт: Нина Филипповна никогда не тратила время и душевное равновесие на огорение проштрафившегося за да.

Парусников в это раннее утро еще не было, и только две тяжелые баржи застыли на таком же неподвижном, играющем бликами света стекле моря, словно это был «морской бой», в который Саша всегда играл в фойе кинотеатров перед началами сеансов. «Пыф-ф-ф», — шепотом сказал он, и красная прерывистая линия, означавшая торпеду, мысленно ушла в сторону вражеского корабля, которым была теперь безобидная еще секунды назад баржа. «Ч-пых-х», — обозначил Сашка попадание, после чего эсминец должен был загореться, исчезнуть и уступить место другому кораблю, который нужно было потопить не менее срочно. Однако баржа словно приклеилась к линии горизонта, и Сашка потерял к ней интерес.

Он шел вдоль берега, иногда давая еще не проснувшемуся морю дотянуться до своих ног прохладным подобием волны. Так отдыхающая кошка потягивается и трогает ногу хозяина мягкой лапкой, сразу же отдергивая ее и жмуря изумрудного оттенка глаза.

Пару раз Сашка нагибался и клал в карман шорт ракушки. Шорты бабушка сделала из старых брюк от школьной формы, отрезав штанины по колено. Ракушки

Егор Фетисов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. В 1999 году окончил немецкое отделение филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 2009 года. Печатался в журналах «Арион», «Октябрь», «Нева», «Слово»/«Word», «Новый берег», интернет-журналах «Семь искусств», «45-я параллель», «Литература» и др. Финалист Международного Волошинского конкурса в номинации короткого рассказа (2015). Автор книги стихов «Лишь часть завета из ниоткуда...» (2012), романов «Пас в пустоту» (2014, Издательство Союза писателей СПб.) и «Ковчег» (2015), ряда пьес и рассказов. Переводчик. Редактор журнала «Новый Берег». С 2013 года с семьей живет в Копенгагене.

Саша искал с дыркой насквозь: их можно было носить на шее, продев в отверстие шнурок от ботинка и представляя себя последним индейцем из племени, борющегося за независимость и свободу.

Плоские камни Саша оценивающе вертел в пальцах, приравнивая к броску, и потом, умело выгнув натренированную этим нехитрым занятием кисть, запустил «блинчик», считая, сколько раз тот отскочит от гладкой и упругой поверхности воды, прежде чем она сообразит наконец проглотить свою добычу. Ранним утром, когда волн совсем не было, можно было установить рекорд недели, а то и всего лета. Отчасти это и привело Сашку на берег так рано. Купаться он не любил, плавал плохо, только с маской и трубкой, а без маски, сколько ни пытался, не мог даже открыть под водой глаза, что вызывало насмешки сверстников. Сейчас, правда, насмехаться было некому: все разъехались по своим городам в преддверии учебного года.

Послезавтра должна была прилететь Сашкина мама и забрать его в город. В этом году она задерживалась. По телефону объяснила, что ее никак не отпускают с работы, потому что другая женщина, ее коллега, тоже отдыхает где-то на море, может быть, даже на том же самом, что и Сашка, а кто-то непременно должен работать. Но теперь уже эта женщина возвращалась, и мама купила билет на самолет. А все остальные разъехались...

— Что, все твои друзья-приятели разъехались? — вдруг озвучил чей-то голос Сашкины мысли, и он, рыскавший взглядом в песке в поисках ракушек и камней подходящей формы, увидел перед собой огромные черные резиновые ласты и лишь потом — хозяина ласт, высокого загорелого мужчину с маской, поднятой на лоб, но оставившей след на его лице, очертив приветливый взгляд отчетливым прямоугольником. В руке мужчина держал огромного краба, который все еще бежал по воздуху всеми своими конечностями, как собака во сне, и угрожающе растопыривал две гигантские клешни, пытаясь ухватить руку, уверенно державшую его с боков за панцирь.

Сашке часто приходилось видеть крабов: обычно попадались совсем крохотные, светло-серого оттенка, прозрачные настолько, что были похожи скорее на былинку, которую ветер гонит по песку. Они мгновенно исчезали в миниатюрных, вырытых в песке норках. Видел Сашка и особей покрупнее, в коричневатом или зеленоватом панцире, но они, достигшие размеров от силы его детской ладошки, ни в какое сравнение не шли с красавцем в руках незнакомого мужчины.

— Ну что ж, пора тебе обратно, — весело сказал незнакомец. — Охота пуще неволи. У меня самолет вечером, зря я тебя вообще вытащил.

Непонятно было, для кого он все это говорит: для краба или для Сашки, который не спускал с него несчастных и зачарованных глаз. Мужчина хотел уже было бросить краба в воду, но перехватил этот взгляд.

— Возьмешь?

Сашка только недоуменно на него взглянул.

— А то отпущу обратно. Бери, сварись. Они, вареные, красными становятся, — зачем-то добавил мужчина, одной рукой снимая ласты, а другой балансируя в воздухе своей доисторической добычей.

— Он кусается? — осторожно спросил Сашка.

— Это смотря как ты с ним справишься. Клешни есть. Но если держать вот тут, смотри, слева и справа за панцирь, то он тебя не достанет, — успокоил Сашу мужчина. Потом, видя его нерешительность, добавил: — Да мы его в полиэтиленовый пакет положим.

Он прошел к своим вещам, аккуратно сложенным неподалеку на песке, и, освободив пакет от какой-то одежды, вернулся с ним к воде.

— Хорошо с утра, когда песок прохладный, — сказал он, заходя по колено в воду. — Еще пару часов, и начнет пятки жечь. Просто средневековая пытка, а не пляж.

Он набрал в пакет воды, не без труда засунул туда растопырившегося краба, потом нашел под ногами палочку и проткнул пакет выше уровня воды в нескольких местах.

— Это чтобы он у тебя не задохнулся, — пояснил мужчина. — Ты далеко живешь?

Саша отрицательно помотал головой. Свалившийся на его голову подарок лишил его дара речи. Дрожжими руками он принял пакет, едва не выронив его на песок, пробормотал «спасибо» и со всех ног бросился домой.

По дороге Сашка несколько раз останавливался, приподнимал ношу и смотрел, как краб то делает судорожные попытки освободиться, то замирает в неподвижности, оставив на своего мучителя два выпуклых глазика.

— Сиди тихо, — советовал ему Сашка и бежал дальше.

Бабушка, к которой родители отправляли его каждое лето, жила совсем рядом с морем, надо было только подняться от пирса по неровно залитой асфальтом дорожке, и сразу же начиналась их улица, так что с балкона море было как на ладони. Через несколько минут запыхавшийся Сашка достал из-под коврика ключ и открыл дверь квартиры. Не снимая сандалий, он бросился на кухню и стал извлекать из стола бабушкины кастрюли в поисках самой большой — пятилитровой, в которую краб, по Сашкиным представлениям, должен был поместиться. Сашка налил полкастрюли воды и, аккуратно перевернув пакет, вылил в кастрюлю краба. Тот был с кастрюлей практически одного диаметра и настороженно смотрел на Сашку из-под воды.

Саша включил газ на максимум, и они с крабом стали наблюдать друг за другом. Краб сидел абсолютно неподвижно, и Сашку убаюкало его поведение. Вода быстро нагревалась, и внезапно, скрежетнув ножками по металлу кастрюли, узник метнулся на свободу, легко преодолев невысокий для его размеров и прыти край. Он шлепнулся на пол и, прежде чем отпрыгнувший в испуге Саша успел что-то сделать, забился под плиту.

Саша лег на пол и заглянул в щель: краб забился в дальний угол, к самой стене, и не собирался покидать свое убежище по доброй воле.

Пару минут Саша безуспешно пытался выгнать его ручкой от швабры, но тот лишь перебегал с места на место. Сашей овладело незнакомое ему ранее чувство — охотничья горячка, желание во что бы то ни стало добраться до своей жертвы.

Вскипятив воду, он вылил ее за плиту. Ошпаренный краб выбежал в центр кухни, и Саша со всей силы, с хрустом ломающегося панциря, ударил его приготовленной шваброй.

— Вот тебе! — заорал он, и в этом крике были и торжество, и все еще не прошедший испуг.

— Вот тебе, вот!

Саша ударил еще несколько раз. Он бил, пока то, что было крабом, не перестало корчиться и шевелиться на кухонном полу.

— Думал смыться... — с непонятно откуда взявшимся остервенением сказал мальчик.

Варить уже было нечего. Ошметки ножек, панциря и клешней валялись по всей кухне. Саша подмел краба и выбросил его в ведро. Потом вытер сухой тряпкой пол, залитый водой. Мусор на всякий случай вынес, чувствуя, что бабушка не одобрит его поступок. Убрал на место пятилитровую кастрюлю.

Пришедшей бабушке Саша соврал, что перед отъездом хотел сделать ей приятное и прибрался на кухне. Нина Филипповна чуть не прослезилась, и в награду они пошли на почту звонить маме.

«Ленинград, вторая кабина, пожалуйста, проходите», — пригласила телефонистка, и Саша услышал далекий мамин голос.

Выслушав привычные мамины вопросы о том, как он ест и слушается ли бабушку, Саша тихо, чтобы не было слышно за пределами кабинки, сказал:

— Мама, я убил краба...

Но мама была слишком далеко, чтобы это услышать. Она была за тысячи километров от почты, с которой он ей звонил.

— Что ты говоришь, малыш, чему рада? — сквозь треск спросила мама. — Я послезавтра уже буду у вас. Что тебе привезти?

Она была в хорошем настроении и говорила что-то еще, но Саша уже положил трубку, сел на табуретку, стоявшую в кабинке, и только теперь заплакал.

АВТОБУСЫ ЗА МНОЙ ОХОТЯТСЯ

— Привет! Я так рада тебя видеть, ты себе не представляешь.

— Почему? Представляю... Привет.

Ситуация смущает их обеих — Вику, невысокую, темноволосую девушку, по лицу которой видно, что ей еще нет тридцати, но скоро исполнится. Может быть, совсем скоро, даже на днях.

— Столько лет прошло с тех пор, как мы тогда с твоим братом...

Оксана обрывает фразу на полуслове, и за темными стеклами очков нельзя разобрать, растрогана она или просто не хочет говорить о несостоявшейся помолвке. Странно от нее слышать «твой брат», а не Игорь. Хотя что странно — почти десять лет прошло.

— Что за дядька на лошади? — спрашивает Вика, поднимая глаза к памятнику, под которым они встретились.

— Епископ местный, основал город, не спрашивай меня, как его зовут, ничего не знаю, не помню, не хочу помнить. Голова ничего не держит.

Она нервно теребит выдавшую лучшие времена сумочку. Лицо у нее узкое и опустевшее, как у женщин на картинах Мунка.

— Столько лет здесь живу и не могу запомнить всех этих имен, названий... Первые несколько лет и язык этот для меня был... как воркование сумасшедшего голубя. Ни слова не могла разобрать, да мне казалось, что он и не состоит из слов, а просто из звуков, нерасчленимых дальше на эмоции. Знаешь, что такое одиночество? — внезапно спрашивает она и смотрит Вике в глаза, так что та видит двоих себя в солнцезащитных стеклах. — Это звуки чужой речи, нерасчленимые на эмоции. Все равно что ты сидишь у ручья, он говорит о чем-то своем, с тобой ли, с собой, а ты слышишь только мельтешение воды.

— У тебя все в порядке? — спрашивает Вика, трогая подругу за рукав.

— Да, все замечательно, — и сама же отзывается эхом: — Замечательно.

Они бродят по Кристиансхавну — этому амстердамскому вкраплению каналов, словно перенесенных из Голландии на пробу, в небольшом количестве — в ожидании, а придется ли ко двору. Парочки сидят прямо на парапете, курят и кормят чаек хлебными крошками.

— Не понимаю девушек, которые вот так сидят, прямо на... — она осекается, видимо, не найдя подходящего слова: полтора десятка лет за границей дают о себе знать.

— Да, можно застудиться, — кивает Вика.

— Конечно, никто же не проводит этих... изучений, как это отражается на здоровье.

— Исследований, — машинально поправляет Вика.
— Исследований, — послушно откликается Оксана. — Тут вообще больная нация.
— А мне показалось, что все бегают, крутят педали, смотри вон — девчонки подтянутые, старушки не отстают.

— Их плохо в садике кормят, — продолжает Оксана о своем, — совсем нет горячей еды. Какое уж тут здоровье, и Саша мой из садика приходит, представляешь, говорит, его убеждали, что иметь русскую маму — ненормально.

— Я думала, он уже школу заканчивает.

— Теперь уже да.

Время для Оксаны, похоже, остановилось, она живет лоскутным настоящим, сотканным на скорую руку из прошлого, местного и московского.

— Почему ты не вернешься, если тебе здесь плохо? — спрашивает Вика, когда они берут помойного вкуса кофе и садятся за столик, едва прогретый неуверенными лучами северного солнца.

— Почему плохо? — возражает Оксана, и голос выдает обиду, но это может быть обида на что угодно, даже на чаек, не обращающих на нее никакого внимания. — Здесь спокойно. А в России... Не хочу возвращаться в страну, где нет настоящей свободы. Здесь я чувствую себя защищенной личностью, никто не диктует, что делать, говорить, думать, наконец.

— Ты думаешь, человек с двумя высшими образованиями может быть свободным в рыбной лавке?

— К чему ты об этом? — в тоне Оксаны слышится неприкрытое раздражение. — Я давно там не работаю.

— Приятно слышать. Ты нашла место?

— Мне нужно время... Причесать мысли. Какое-то время... Чтобы понять, что я, кто, куда двигаться. Одиночество губительно на мне сказывается. Знаешь, одиночество в конечном счете гораздо вреднее курения. Я даже начала принимать таблетки. Нет, не подумай, ничего серьезного, — она перехватывает взгляд Вики, в котором читается беспокойство. — «Атаракс», — говорит она и достает из сумочки таблетки, чтобы продемонстрировать подруге.

Она ничего не говорит про панические атаки, которые участились в последнее время. И ни слова про автобусы. Они рано или поздно настигнут ее. Страшная смерть под колесами железной коробки. Это не дает уснуть. Она топит эту мысль в дешевом вине, но та всплывает, как хорошо надутый круг для плавания. «Автобусы за мной охотятся», — губы шевелятся чуть слышно.

— Прости? — переспрашивает Вика.

— Нет, я так... Мне пришлось обратиться к врачу, чисто формально, естественно, чтобы он подписал мне депрессию. Тогда целый год они меня не тронут, оставят меня в покое.

— Кто «они»? — удивленно спрашивает Вика.

— Службы. Они не хотят платить мне пособие, думают заставить меня переодеть памперсы их чокнутым старикам. Все до одного нацисты, эти старики, кривят и без того кривые рты, когда я говорю с ними. Им, видите ли, акцент мой не нравится. Если кто-то заговорит по-французски, то это, конечно, шармант, а от русской речи они морщатся, как если бы рядом с ними кто-то испортил воздух. Наплела, знаешь, этому врачу, навдумывала симптомов, чуть сама не поверила. Ладно, я все о себе, ты-то как? Сто лет, сто лет... У тебя все нормально? Что делаешь?

— Рисую.

— Типа художницей стала настоящей? — в голосе Оксаны смешанные недоверие, удивление и зависть. — И что, покупают?

— Не в этом дело, — улыбается Вика.

— Ну да, ну да... — уже с явным облегчением. — Понятно. Ну знаешь, вдохновение важнее. Для художника же не деньги главное, он, как бабочка, собирает нектар жизни. И где-то можно посмотреть на твои... картины? — Она долю секунды выбирает между «картины» и «рисунки». Выбирает все-таки картины, хотя уверена, что — рисунки.

Вика достает из сумки планшет, пальцы пробегают по экрану, как рябь по воде. От «нектара жизни» остается липкое ощущение, как от подтаявшей карамельки, забытой в кармане.

— Вот.

Оксана берет протянутый гаджет.

— Мило: лодочки, вода. Создает настроение.

— Это картина про развод.

Теперь, ко всему прочему, еще и недоумение. Брови появляются над очками, выдавая наличие лица.

— Это портрет двух людей. Люди ведь — лодки. И трещина между ними по воде, видишь?

Она забирает планшет, возвращает его в сумку. Лицо Оксаны еще больше вытягивается, создавая свой собственный, постмунковский стиль. Поднимается ветер, и чайка с трудом удерживает равновесие на парапете.

— Надо идти, — говорит Вика. — Я всего на пару дней, еще много дел. Я тут... привезла тебе наш шоколад, помнится, ты любила горький.

— Супер! Спасибо, спасибо!

Теперь еще и преувеличение. Чайка срывается с парапета и делает вид, что ей пора лететь. Дескать, так и хотела.

Они расстаются у метро.

Вике — через мост, в центр, Оксана спускается под землю. Удобнее было бы ехать наземным транспортом, но это невозможно. «Они за мной охотятся, — бормочет она, — автобусы за мной охотятся». Она свободный человек. Никто не заставит ее вернуться в рыбную лавку.

Александр АСМАНОВ

ПОЧЕМ ОНА, РЫБКА ЗОЛОТАЯ? Заметки бывшего миллионера

Матушка присела на стул и боязливо зашептала: — Новое дело затеял... Порывистая душа отца Федора не знала покоя...

И. Ильф и Е. Петров. 12 стульев

Хочешь накормить старика — дай ему невод

Поводом к написанию этой статьи послужило то, что в сегодняшнем информационном российском пространстве я вновь и вновь улавливаю признаки возрождения любимого национального мифа: «Пошел старик к морю, закинул невод — и вот уже ему корыто новое, дом на Канарах и жена-олигарх». Если в период первичного накопления капитала этот миф строился на мечте взять кредит и создать кооператив, то сегодня при той же формуле несколько изменились подставляемые значения. Например, «взять грант и реализовать проект». Или просто «взять кредит и не отдавать». Во всяком случае, мы снова на переломе. А ведь в России деловая активность населения начинает расти именно в переломные моменты. При переходе власти от бояр к самодержцу. При свержении самодержца и всенародной мечте о справедливом обществе. При развале недостроенного справедливого общества и переходе к жизни «по понятиям». При ликвидации «понятий» и возврате к централизованной власти (что, собственно, сейчас и происходит)...

Осторожнее, дамы и господа: эти моменты новых надежд на личное благосостояние далеко не всегда оправдываются. Еще точнее — почти никогда не оправдываются. В особенности если надежды базировались на ничем не подтвержденной уверенности в собственных силах, реализоваться которым мешает только несовершенство власть предержащих. Ах, как знаком нам этот рефрен, звучавший при Брежневке на кухнях страны от Москвы до самых до окраин: «Да если бы мне только дали, я бы уже завтра стал миллионером!» Помните? Вот-вот...

Александр Махмутович Асманов родился в 1958 году в городе Ступино Московской области в семье художников. Образование высшее (факультет журналистики МГУ). Фрилансер (художник, дизайнер, фоторепортер, переводчик, журналист, поэт). На общественных началах — главный редактор журнала «Россияне». Член нескольких общественных российских организаций. Член Творческого союза художников России и Международного союза художников (IFA) с 1977 года. Публиковался как журналист во многих российских и зарубежных периодических изданиях. Из наиболее заметных: «ЛГ», «Труд», «Московский комсомолец», «Cosmopolitan», «BOSS», «Экономические стратегии», «Власть и политика» и др. Автор двух поэтических книг. Живет в Москве.

90-е годы XX века, которые нынче принято именовать «лихими», стали на самом деле всенародной «проверкой на вшивость», или, говоря более литературно, «тестом на соответствие собственным амбициям». Частное предпринимательство наконец разрешили. Государство в виде исполинской золотой рыбки высунуло свою огромную голову на поверхность и громогласно спросило: «Чего вам надобно, граждане?»

И граждане начали поспешно загибать пальцы.

Сперва была суэта. Потом волны. Первая волна шила джинсы и пекла пирожки. Вторая брала в управление платные туалеты, наполняя их райскими ароматами контрафактных дезодорантов. Третья открывала кафе. Четвертая закупила баулы и поехала за товаром в ближнюю Европу. Потом пошли проекты посложнее: выпустив миллионными тиражами календари с обнаженными девушками, новый издательский бизнес перешел на любовные романы и «астрологию». Стартовали закупки запрещенных ограничениями КОКОМа (англ. Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom) компьютеров и периферии. Попутно энтузиасты искали «красную ртуть» и вырабатывали «альфафетопроtein», а финансисты горных регионов осваивали игру в «авизовки».

Честно говоря, на первых порах это было даже весело. Карикатурные бандиты, увешанные золотыми цепями и совмещавшие красные пиджаки от «Армани» с вьетнамскими шлепанцами и спортивными штанами, не столько пугали, сколько изумляли. Они брали кого-то под «крыши», но в 99 % случаев это были те коммерсанты, которые сами себе создавали проблемы: либо не возвращали долги, либо «кидали» партнеров, либо на первые же заработанные деньги строили особняки и затаривались «шестисотыми мерседесами». Кстати, даже в те времена сразу заработать на особняк и «мерседес» было нереально. Можно было только слегка сжулить. Ну а это, естественно, привлекало внимание «альтернативных структур».

Постепенно определились и стали выпуклыми главные типы нового отечественного предпринимателя — они сформировались по нескольким критериям, главными из которых были:

- а) отношение к чужой частной и государственной собственности;
- б) уровень первичных запросов;
- в) готовность к незаконным операциям;
- г) владение начальными знаниями о предмете бизнеса;
- д) наличие административного ресурса;
- е) регион и отношение социума к предпринимателю.

Можно при желании поискать и другие критерии, но именно эти стали определяющими. Сегодня, листая свой деловой блокнот того времени, я констатирую следующую печальную статистику: 50 % тех, с кем мы начинали в одно и то же время, погибли по разным причинам. Еще 30 % уехали за кордон, чтобы не попасть в предыдущие 50 %. Реально улучшили свое финансовое положение (имеется в виду — на долгосрочный период) не более 5 %. Около 1 % очень круто подняли свой статус. Остальные вернулись к исходному состоянию, потеряв то, что удавалось быстро нажить.

В связи с этим мне стало интересно, как именно реализуется отечественная частная предпринимательская инициатива и в чем ее отличие от европейской или американской предприимчивости. И вот что надумалось.

Прежде всего, постсоветский россиянин не имел (и по сей день еще до конца не выработал) понимания причинно-следственной связи между благосостоянием и трудом, который на это надо затратить. Любой доход соседа, превышающий свой собственный, наш соотечественник воспринимает либо как несправедливый поцелуй капризной Фортуны, либо как результат жульничества или воровства. Иного не да-

но. Можно на его глазах влезть в долги, покупая необходимое оборудование, можно истоптать ботинки в поисках рынков сбыта, можно день и ночь отстреливаться от «крыш», но если в конце концов ты получишь доход, сосед скажет, поцокав языком: «Везет же некоторым...» И займет у тебя до получки, чтобы никогда не отдавать, ибо, по его мнению, «Бог велел делиться». Причем именно с ним.

Помню, случай привел меня однажды в вотчину одного известного российского миллионера, который собирался в тот момент баллотироваться в президенты. Кандидат был из той плеяды новых отечественных олигархов, которым на самом деле не принадлежало ничего из записанного на них имущества. Он был «Фунтом», которому предстояло отрабатывать свои доходы чуть позже — когда наступит непредвзятая ревизия. Однако компенсация была большой, и потому жил он безбедно, даже роскошно. Я шел по двору его предприятия и вдруг увидел, как сын бизнесмена катается на своем навороченном электрическом автомобильчике. Представьте: вокруг бетонный трехметровый забор с колючкой и камерами. Голый асфальтированный двор без единой травинки. Мальчик едет, а за ним трусцой следуют два охранника и нянька. Что и говорить: счастливое детство. Однако и это входит в функционал папиной деятельности. Чем круче бизнес, тем больше вокруг решеток. Либо сразу, либо потом. И даже если деньги наживаются нечестным путем, это все же путь больших усилий. И не самых приятных эмоций. Возникает вопрос: а всякий ли готов к такому кардинальному изменению собственной жизни?

Второй нюанс отечественного делового менталитета относится больше к самому начальному этапу становления бизнеса. На этом этапе, кстати, больше всего и ломается хребтов. Тут все дело в магии слов и наименований. Зарегистрировавший собственную фирму человек, беря в банке первый кредит, не чувствует себя должником. Он считает, что стал бизнесменом, а взятое взаймы воспринимает как заработанное и принимается это тратить на предметы первой необходимости: улучшение транспорта, имиджа, жилья и прочих «оков империализма». Один из моих знакомых, например, озаботился безопасностью и купил себе где-то списанный БТР. Этот монстр года два стоял на входе в его офис, располагавшийся на Беговой улице в Москве. Чтобы не приставала милиция, на борту машины трафаретом написали слово «Киносьемочная». Когда бизнесмен разорился, БТР перешел к следующему владельцу.

Конечно, немалую роль в российской деловой среде сыграли разного рода жулики и аферисты. Как выяснилось, если предполагаемый партнер в первых переговорах настаивает на том, что он человек кристально честный, надо сразу сворачивать разговор. Все равно будет пытаться обжулить. Считается, что слегка обворовать успешного предпринимателя — не грех, а небольшая приятная шалость. Даже если он тебе платит зарплату, всемерно превышающую средний уровень по стране. Мне пришлось быть свидетелем того, как полиграфическое ПТУ, где преподавателям платили оскорбительный государственный мизер, радостно подписало договор о сотрудничестве с рекламной фирмой. Фирма обеспечивала учебное заведение коммерческими заказами, а исполняться эти заказы должны были в виде учебной практики. Всем было выгодно: бизнесмены получали дешевую полиграфию, а полиграфисты — выгодные заказы. Договор расторгли через два месяца. Ни один заказ не был выполнен в срок. Причина простая: приходившие в ПТУ со стороны люди просили, например, отпечатать для них визитки. И платили натурой — водкой. Или давали сколько-то рублей лично в руки печатнику. И тот снимал со станка заказ, который гарантировал ему пару сотен, так как заказ «для дяди», а халтура — «для себя». Бред? Ну, конечно. Только этим бредом заполнено все наше пространство...

Нет, я не виню так называемых простых людей за их хитроватость и необязательность. В конечном счете они обжуливают самих себя, а понятия рабочей чести растворились за 70 лет социализма практически начисто. Но я знаю мастеров, которые даже в условиях конверсии занимались исключительно своим собственным делом. Переходили туда, где станки еще крутились, и работали. И что интересно — они и сейчас неплохо живут. Не слишком зажиточно, но неплохо.

Многое в нашем государстве принято списывать на «тяжкое наследие». Сперва царское, потом социалистическое, а потом либерально-демократическое. Особенно хочется поговорить о пресловутом «коллективизме». Это когда человек опаздывает на работу или приходит на нее пьяным, а на упрек отвечает возмущенно: «А вот Васька вчера еще больше опоздал, еще круче поддал, а ему ничего». Привычка оправдывать собственную никчемность чужой никчемностью — это наша болезнь. Она есть и в бизнесе, и у исполнителей. Хоть умри, не усовестить. В своей фирме я когда-то вывесил объявление: «Коллективно нельзя быть: умным, живым, беременным, честным, добрым, богатым. Это все индивидуальное. Отвечать будет каждый сам за себя. Чужая вина не оправдание собственной». Действовало. Но слабо.

«Хочу быть столбовою дворянкой»

Россиянам вообще свойственно отвлекаться на яркое и соблазнительное. Подмигнувшая девушка может стать причиной ДТП. Танцующие в рекламе Вероника Кастра с Лней Голубковым привлекут лохов к Мавроди. Бутылочное стекло на индийском пляже даже искушенные российские туристы покупают как драгоценные камни. Кто больше пообещал, тот и депутат. У кого круче тачка, тот успешнее в бизнесе. Это не только отечественная черта, но у нас она принимает порой особенно трогательные формы. Ведь при социализме яркого и соблазнительного было мало — или за него сажали. А потому мы любим все сразу и в одном флаконе. Даже если оно туда не помещается. Наши девицы на турецком или египетском пляже даже днем выходят в полной боевой раскраске и на каблуках. Все это потом стекает по щекам и придает им вид индейцев на тропе войны, но девушки не смущаются. Пара снимков сделана, а там хоть трава не расти. Будет что показать подругам, чтоб полопались от зависти.

На соблазнительное отвлеклись многие наши нувориши, когда в Россию стали приезжать и отправлять факсы иностранцы. В начале 90-х для нас каждый приезжий с акцентом был заведомым миллионером. Под пустые слова зарубежным аферистам давали без расписки миллионы. Еще бы — обещали-то миллиарды. Сын одного из директоров московских заводов загнал в Нигерию 300 000 долларов, чтобы, заплатив налоги, получить доступ к мифическому многомиллионному счету в местном банке. Когда мы с ним поехали поискать, куда делись деньги, встретили в той же Нигерии двух российских бизнесменов, которые приехали туда продавать вертолет. У них его запросили по факсу. Парни купили вертолет и отправились в Африку. Бизнес не получился: местные пояснили, что в текст факса «вкралась ошибка». Оказывается, им нужен был самолет. Хорошо еще, что сам вертолет оставался пока в России, а то б они его видели...

Смех смехом, однако отвлечения дорогого стоят. Иллюзия собственного богатства при получении кредита, иллюзия собственной силы при найме «крыши» для разборок, иллюзия собственной оборотистости при воровстве вагона с повидлом — все это вещи не просто глупые или нечестные, они еще и смертельно опасны. Один

бывший журналист, не отличавшийся особенной смелостью в обычной жизни, стал предпринимателем, заработал свои первые деньги и решил нанять охрану. Не для безопасности — для храбрости. В результате однажды он заехал вместе с охранниками на свой склад, где застал в лоскуты пьяного кладовщика. Кладовщик был агрессивен, но имея по сторонам двух амбалов, наш герой начал алкашу что-то жестко выговаривать. Будь он один, скорее всего, промолчал бы и утром просто уволил пьяницу. А тут — «Остапа понесло». В какой-то момент посредине выволочки кладовщик достал припрятанный пистолет (они тогда у многих были) и дважды выстрелил. Один из участников конфликта отправился надолго в тюрьму, а второй — в могилу. Вопрос: оно того стоило?

Или другой пример. Известная компания по производству изделий из дорогого меха, штаб-квартира которой располагалась в Санкт-Петербурге, пригласила меня на переговоры. В процессе беседы с генеральным директором, протекавшей в теплой дружеской обстановке за рюмочкой коньяка, в кабинет вошел радостно возбужденный заместитель генерального. «Нам сказочно повезло! — почти выкрикнул он. — Вот уж удача так удача!» — «А что случилось?» — поинтересовался шеф. «Нам обещали прислать вагон каракуля, но по ошибке пришел вагон с соболем. Представляешь, сколько наварим?!» — объявил зам. Генеральный побледнел: «Разгружать еще не начали? Нет? Тогда срочно опломбируйте и отправляйте обратно!» Слава богу, у него было больше ума, чем у заместителя, и умереть за вагон дорогого меха он не хотел. Но ведь будь на его месте заместитель, в ближайших номерах питерских газет появилась бы очередная заметка из криминальной хроники: «Застрелен в собственном особняке...»

Ошибки в свою пользу наш бизнесмен воспринимает как подарок судьбы. Ошибки в чужую расценивает как промах Фортуны, который необходимо срочно и жестко устранить вместе с тем, кому «повезло». Недостроенные пятиэтажные особняки в пригородах больших городов России — это как раз памятники таким «ошибкам». Из них можно собрать небольшой город. Кстати, именно на разнице менталитетов в бизнесе была основана одна афера, которую в 90-е годы провернули российские жулики в Роттердаме. Каким-то образом они получили доступ к компьютеру, управлявшему распределением грузов в голландском порту, и догадались просто переадресовывать контейнеры в другие порты уже на свое имя. Когда афера вскрылась, голландцы были в ступоре. Им никогда в голову не пришло бы ничего подобного: для них покуситься на святая святых бизнеса равно попытке проковырять дырочку в дамбе, предохраняющей страну от наводнения. А нашим не важно. Нашим нужен контейнер.

К сожалению, многие российские особенности в предпринимательстве основаны на отсутствии корней и наследственных правил. Два поколения, выросших без капитализма, — это серьезный ущерб процессу. Питерский автор кулинарных книг и профессиональный повар Николай Ковалев рассказывал мне когда-то, что его прадед владел перевозом на речке, через которую шли обозы с товарами из России в Украину и обратно. Прадеда называли «Копейка с возу». Он держал цену за свои услуги истово, и когда его неразумные дети предлагали повисить плату за услуги переправы, корил их: «Как вы не понимаете. Сидит в Сибири купец и считает, сколь ему обойдется перевозка. Там гривенник, тут пятак, и моя переправа — копейка. Подсчитает все заранее и обоз отправляет. А тут я цену подниму. И не сойдется у него расчет. Разве ж так можно?!» Эх, нам бы те традиции. Но на то, чтобы они установились, потребовались века. А вот сломать их мы позволили за жалких 70 лет.

В царской России была достаточно внятная структура социальных отношений. Еще городничий у Гоголя говорит своему подчиненному: «Не по чину берешь!» Даже

взятки регламентировались: кому и по сколько давать. Но когда к власти пришли бывшие лакеи (вот только не надо про рабочих и крестьян, ладно?), все кардинально изменилось. Лакей изначально не готов жить на то, что зарабатывает. Он всегда хоть немного приворовывает. И лакейский менталитет победил: страна начала жить имитациями. «Имидж все!» — этот слоган приторно-химического «Спрайта» придуман еще в 1917 году. Страна хотела выглядеть зажиточной и благополучной. Лакеи заставили оболваненных рабочих и крестьян пахать куда безжалостнее, чем это делали бывшие господа. Правда, и результаты впечатляли. Однако уже к 30-м стало понятно, что хозяйствовать запросто не получится. И стали сажать — то есть отправлять на бесплатные рабские работы. И как бы ни набирала обороты экономика, рабство было ее фундаментом. Рабство и жульничество — в государственном масштабе.

Ну и откуда, скажите, было взяться понятиям о честном бизнесе? «Не украл — не заработал» — этот принцип проводился в жизнь первыми предпринимателями последовательно и неуклонно. О последствиях никто не думал: хотели результата любой ценой, здесь и сейчас. Помню, как регистрировал свой кооператив. Рядом со мной сидел парень, и к нам подошел человек из райкома ВЛКСМ. «Господа, — сказал он, — есть предложение по закупке и перепродаже большой партии компьютеров. Кто хочет заработать? Только там есть некоторые нюансы. Нужна смелость и решительность». Я посмотрел контракт и вернул его комсомольцу. «А что так?» — разочарованно спросил тот. «Не хочу покидать Россию, — ответил я. — А после реализации этой схемы отсюда надо будет бежать далеко и надолго». Мой сосед оказался более сговорчивым. Его имя потом стало широко известным, а года через три он поспешно уехал за рубеж. Пробовал вернуться еще через десять лет, но и тогда не вышло. Зато... Зато заработал. Может быть, получает от этого удовольствие, а может быть, спрашивает себя: «Зачем я тогда согласился?»

«Хочу быть владычицей морскою»

В бизнесе мало безопасных ниш и периодов. Самым спокойным является тот момент, когда первоначальный капитал уже накоплен, процесс отлажен, поставщики работают, а тотальная текучка кадров позволила набрать человек 10–15 надежных исполнителей. Доходы при этом стабильны и разумны, рост не значителен, спады не фатальны. Но остановиться на таком радостном этапе способны очень немногие. Чаще всего — в особенности в тех областях, где обороты зашкаливают — просто делать деньги становится уже неинтересно. Хочется большего. Управлять небольшим коллективом надоедает, и душа просит масштабов. Это тоже черта характера, более свойственная наследникам лакейской психологии. Гнуть других, чтобы забыть о собственной незначительности. Мало, очень мало среди рвущихся к власти нуворишей людей действительно на власть способных. Куда больше бездарных и наглых хапуг, мечтающих не столько о реальной власти, сколько обо всех ее возможных аксессуарах. О машинах с мигалками, о спецпайках (или элитных супермаркетах), об особняках с прислугой, о возможности вершить судьбу любого, кто попадает на пути. Более всего этим людям нужны блеск, зависть и безнаказанность. Без этих трех составляющих их жизнь попросту утрачивает смысл.

У меня когда-то сменились два заместителя. Один пошел искать большего в систему «Менатеп», а второй просто проворовался. Оба с неброским образованием. Оба с амбициями. Оба нечисты на руку. В те времена они были мальчиками,

а сегодня... Сегодня один сидит в Правительстве России, а второй управляет крупной телекоммуникационной компанией. Я помню их молодыми. Они были разными, но их объединяло рвение «небесплатно услужить». И, по возможности, что-то стянуть из плохо лежащего. Сегодня они реализовались: оба стали «владычицами морскими». Вот только Золотая Рыбка у них все-таки, к счастью, не на побегушках...

Были и те, кто хотел в услужение саму Рыбку. Во власть — в главную власть — рвались и из бизнеса, и из криминала (который, по сути, тоже бизнес, только со знаком «минус»). Но вот это заканчивается плохо. Практически всегда. И, наверное, в этом есть какая-то правда: деньги у власти — это не про Россию. И даже вообще не про империю. Власть в империи воспринимается как «божественное соизволение», а не купленная должность. А уж финансы империи — это пожалуй-ста. Тогда народ спокоен: в случае чего царь-бессребреник «своих защитит». Исключение на глобусе есть, но это исключение гуманностью не отличается: ни внутренней, ни внешней, что бы там ни говорили про «оплот свободы». И вообще, они еще в подростковом возрасте. Посмотрим, как оно дальше сложится... В России смертность среди олигархов повышается по мере сближения с властными структурами. Некоторые отделяются утратой яиц Фаберже, кто-то переезжает из столичных градоначальников в отдаленные фермеры, но большая часть развоплощается. Такая вот нехитрая магия...

«Оставьте хоть корыто!»

Главный принцип сохранения заработанного в России — никогда ничего не копить, даже и «на черный день». Во-первых, «белого дня» у нас пока еще, по сути, так и не было. Мы еще ждем, когда развиднеется. Во-вторых, скачки курсов, деноминации и прочие игры Центробанка обращают все накопленное, по меткому выражению Ильфа и Петрова, «в порошок». В-третьих, банки имеют свойство лопаться при накоплении необходимой для их учредителей суммы. В-четвертых, хранить деньги в наличности в темном и сухом месте тоже бессмысленно: шила в мешке не утаишь. Ну и наконец, законодательство наше пользуется все более частым решетом для просеивания частных капиталов, так что не только миллион долларов, но и миллион рублей сегодня — уже повод для беспокойства.

Когда-то мой собственный бизнес был издательским. Мы издавали справочники — литературу, которая всегда востребована в любой новой и даже уже хорошо сформировавшейся семье. Кулинарные книги, переводные издания по домашнему рукоделию, пособия по ремонту, занятиям оздоровительной физкультурой и даже верховой езде — все это хорошо принималось рынком и расходилось пугающе большими тиражами. Мы не задирали цены, качественно оформляли каждую книжку, продавали все через распространителей по подписке. Когда-то наша сеть продаж охватывала почти всю территорию бывшего Союза. Несколько справочников мы сами издать не успели — грянуло подорожание бумаги, и наш потребитель уже был не в состоянии платить ту цену, которая делала изданное рентабельным. Авторы получили благословение и отправились в другие издательства: их книги стали успешными, а некоторые и сегодня переиздаются. Наш успех заключался в знании и понимании рынка, качестве и оперативности. Однако настала пора расставаться. Штат тогдашнего издательства был невелик: вместе с водителями в нем было не более 15 человек. Совокупный тираж всего нами изданного подошел к 10 000 000 экземпляров. И мы мирно и спокойно расстались, довольные друг другом и даже слегка расстроены необходимостью далее жить каждому своей

жизнью. Со многими тогдашними своими соратниками я и сегодня перезваниваюсь. Но... не со всеми.

Одно из распространенных заблуждений российского предпринимателя, делающего первые шаги в бизнесе: «Я так тоже смогу!» Речь идет о попытках клонирования удачных проектов. Причем зачастую это происходит тогда, когда инициаторы проектов уже считают, что пора заканчивать. Вот тут и приходят те, кто «принимает знамя».

Из близко знакомых мне людей клонировать мой бизнес попробовали трое. Результат: не просто «не получилось», а потери того, что ранее было накоплено. Продавались машины и даже квартиры. И казалось, что вот-вот еще немного, и удача улыбнется. Не улыбнулась. Ибо ни о какой удаче в бизнесе и речи нет: в нем работает только трезвый и точный расчет, а поправки вносит степень циничности того, кто рассчитывает. Можно заработать больше, заплатив меньше работникам или сэкономив на качестве. Можно не отдать кредит, отсудив проценты. Можно вообще открыть левую фирму, набрать на нее предполат и подставить под разбирательство специально нанятого «Фунта». Но это все уже не совсем бизнес, согласитесь... Чем-то это совсем другим пахнет...

Сохранить нажитое — дело сложное. Нужно и вовремя остановиться, и деньги вложить так, чтобы они превратились в реальные долгосрочные ценности. И никогда больше не обращать свой взор к тому, что становится твоим реальным благосостоянием. Не надо, например, закладывать квартиру ради получения нужной оборотной суммы. И т. п. Если соблюдать это правило, то после того, как Золотая Рыбка «уйдет в синее море», что-то все-таки останется. Старику, например, стоило корыто и дом записать на себя. А должности пускай бы набирала старуха. Тогда лишившись статуса, их семья сохранила бы некоторое движимое и недвижимое имущество.

Подводя итоги

Я очень люблю стихотворение Александра Левина «У самовара». Иронично и немного грустно он пишет о дворовой компании, которая в 90-е разлетелась, чтобы сделать себе новые судьбы. И только Маша так и осталась сидеть у самовара как символ чего-то вечного и незыблемого в нашей жизни. Молодежь посмотрит на меня с презрением: нашел что приводить в качестве эталона! Однако я хочу напомнить старый анекдот о негре, лежащем под пальмой, и американце, который учил его жить.

—Ты вот тут валяешься и ждешь, когда на тебя банан свалится, —возмущался американец, —а мог бы бизнес делать!

—А зачем? — удивился негр.

—Ну как же! Ты бы построил фабрику, продавал бананы, богател!

—А зачем? — снова спросил негр.

—Ну так у тебя было бы много денег, и ты мог бы потом спокойно валяться под пальмой и ждать, когда на тебя банан свалится...

Вообще говоря, деньги — это вовсе не зло. Злом чаще всего становится отношение к ним. Неумение желать и следовать своим желаниям. Например, я в детстве более всего мечтал объездить весь мир. Когда я начал зарабатывать, ни о каких дальних поездках — а уж тем более о достопримечательностях и музеях в других странах — речь не шла. Максимум: комната для переговоров и обед-ужин в ресторане. «Самолет — переговоры — ресторан» —это стандартная формула путешествий

для бизнесменов. Некоторые от отчаяния покупают себе бунгало где-нибудь в экзотической стране и спьяну выбрасывают непослушную команду яхты за борт. Но, сами понимаете, такие жесты делаются не от хорошей жизни и не от душевного равновесия. Да и вообще попытка российской экспансии в Европу и далее, ознаменованная скупкой земель, замков, яхт и самолетов, и сейчас носит несколько истерический характер. Когда либералы впадают в тоску по поводу эмбарго на ввоз элитного сыра, я задумываюсь: давно ли они научились держать нож в правой, а вилку в левой? Нувориш всегда криклив, в особенности если его лишают какого-то аксессуара. Но на то они и нувориши: они обеспечивают оборот денег в малоликвидной области товаров «премиум-класса». А разработка таких товаров продвигает науку и технологии. Тут третьего не дано: прогресс двигают либо комфорт, либо оружие. Уж лучше пусть комфорт.

Сейчас вновь приходит пора для бизнеса. Он становится возможен, причем на новом уровне: при относительно стабильных правилах игры, значительно понизившейся коррупции, изменившемся в правильную сторону отношении к внешним эффектам. Однако чтобы потом не обвинять государство и власть в том, что они тебя «подставили», «ограбили» и «лишили», лучше изначально просчитать желания. Когда я оставил бизнес, выяснилось, что мои поездки по миру участились в десять раз, причем большая их часть оказалась бесплатной. Я работал журналистом, репортером, консультировал чужие проекты и посмотрел наконец весь глобус со всех сторон. Причем хватило времени и на музеи, и на общение с простыми людьми, и на «рыбку половить». Сейчас меня не заставит снова погрузиться в мир, где все завязано на цифрах. Я это пробовал и больше не хочу. Возвращение к обычной интересной жизни было похоже на выздоровление после тяжелой болезни, которая чревата горячечным бредом. У Каверина в «Двух капитанах» есть такая строчка: «...такого приятного бреда, как во время испанки, у меня не было никогда». Что ж, бизнес — та же испанка, и его бред весьма приятен. Так и кажется, что перед тобой огромное синее море возможностей, из которого торчит голова симпатичной Золотой Рыбки, вопрошающей: «Чего изволите, гражданин?»

Вот только оплата этого бреда — жизнь. И другая валюта не принимается.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЬБЕ

«Не говорю и не думаю, чтобы древние Россияне под Великокняжеским или Царским правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, то есть иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что действительно порочно; однакож должно согласиться, что мы с приобретением добродетелей человеческих утратили гражданские. Имя Русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что правоверный Россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь — первое Государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе оно! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим Гражданским достоинством? некогда называли мы всех иных Европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию — неверным или братьям? То есть кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При Царе Михаиле или Феодоре Вельможа Российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших Государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. ...Сыновья Бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения Французской или Английской наружности».

«Искренно хваля Правительство за желание способствовать в России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли за бережливость? Где она? ...Сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три Генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5 мест жалованье; всякому столовые деньги; множество пенсий излишних; дают взаймы без отдачи и кому? Богатейшим людям! Обманывают Государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну; непрестанно на Государственное иждивение ездят Инспекторы, Сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от Императора домов и покупают оные двойною ценою из сумм Государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды, и проч., и проч.»

«Одно из важнейших Государственных зол нашего времени есть бесстрашие. Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают Сенаторов для исследования, и ничего не выходит! Доносят плуты, честные терпят и молчат, ибо любят покой. ...Указывают пальцем на грабителей и дают им чины, ленты, в ожидании, чтобы кто-нибудь на них подал жалобу. А сии недостойные чиновники,

Елена Павловна Зиновьева родилась в Ленинграде. Окончила Институт культуры им. Н. К. Крупской. С 2003 года публикуется в журнале «Нева», автор книги «История России. Взгляд из XXI века» (2011), литературно-критических статей в московских периодических изданиях. Живет в Санкт-Петербурге.

в надежде на своих, подобных им, защитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, коего они условно лишились; в два или три года наживают по несколько сот тысяч и, не имев прежде ничего, покупают деревни. Иногда видим, что Государь, вопреки своей кротости, бывает расположен и к строгим мерам: он выгнал из службы двух или трех Сенаторов и несколько других чиновников, оглашенных мздоимцами; но сии малочисленные примеры отвечают ли бесчисленности нынешних мздоимцев? Негодяй так рассуждает: „Брат мой N. N. наказан отставкою; но собратья мои, такие-то, процветают в благоденствии: один многим не указ; а если меня и выгонят из службы, то с богатым запасом на черный день, еще найду немало утешений в жизни“ ».

Написано более двухсот лет назад, а как актуально звучит! Слова эти принадлежат историку, литератору, публицисту Николаю Михайловичу Карамзину (1766—1826), двухсотпятидесятилетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Его заслуги перед отечественной культурой не ограничиваются тем, что он — автор монументальной двенадцатитомной «Истории государства Российского», первого монографического описания русской истории с древнейших времен до начала XVII века, без обращения к которому и в наши дни не обходится ни одно историческое исследование. Как и заслуги перед русской словесностью не ограничиваются тем, что он стал основоположником русского сентиментализма в литературе («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза») и во многом подготовил успех деятелей пушкинского периода, золотого века русской литературы.

* * *

Первоклассный писатель, критик, драматург, переводчик, за сорок лет работы в литературе Карамзин стал первым во многих начинаниях, подхваченных его младшими современниками и последователями. Карамзин и писатели его школы обновили литературу, принесли новые темы, создали новые жанры, выработали особый слог, реформировали литературный язык.

По мнению видного литературоведа Г. Макогоненко, Н. Карамзина-писателя, за плечами которого был большой и сложный путь идейных и эстетических исканий, нельзя рассматривать лишь как главу школы, принесшей в литературу тему человека и создавшей язык для раскрытия жизни сердца. Это то же самое, замечает Макогоненко, что настойчиво натягивать «на плечи зрелого Карамзина заячий тулупчик юношеского сентиментализма». Литературное наследие Карамзина слишком огромно и многообразно по содержанию, жанрам и форме. Так, велик его вклад в русскую поэзию. Он ввел в нее такие новые жанры, как баллада, дружеское послание, поэтические «мелочи», остроумные безделушки, мадригалы. В последующем их будут использовать Жуковский, Батюшков, Пушкин. Недовольный, как и некоторые другие поэты, засильем ямба, Карамзин использует хорей, широко применяет безрифменный стих, пишет трехсложными размерами. Приводя эти примеры, Г. Макогоненко отмечает и то, что внимание науки долгое время было привлечено в основном к художественному творчеству 1790-х годов, в то время как деятельность Карамзина-критика, его публицистика не удостоивались должного внимания, и даже «История государства Российского» долгое время находилась «под спудом».

Крупный журналист, организатор издательского дела, Н. Карамзин стал воспитателем вкуса у читающей публики России конца XVII — начала XIX века, а вернее — сформировал читающую публику в России. В 1791—1792 годах он издавал ежемесячный «Московский журнал», где увидели свет большая часть «Писем русского путешественника», повести Карамзина «Лиодор» и «Бедная Лиза», «Наталья, боярская

дочь» и «Флор Силин», а также очерки и рассказы Карамзина, его критические статьи и стихотворения. К сотрудничеству в журнале Карамзин привлек Дмитриева и Петрова, Хераскова и Державина. Успех «Московского журнала» был грандиозный — целых 300 подписчиков! По тем временам очень большая цифра. В 1790-е Карамзин выпустил первые русские альманахи — «Аглая» и «Аониды». В 1802—1803 годах издавал журнал «Вестник Европы», в котором преобладали литература и политика.

Трогательный, чуткий, человечный, первоклассный, утонченность, влюбленность, ответственность, подозрительность, благотворительность, вольнодумство, промышленность, достопримечательность, эпоха, катастрофа, сцена... Мы пользуемся этими словами в быту, не ведая, что их — и еще много других — ввел в обиход Н. Карамзин. Это он в своем «Историческом похвальном слове Екатерине II» (1802 год) впервые в истории России обратился к соотечественникам со словом «Сотраждане». Одним из первых он начал использовать букву «Ё», до этого слова «ёлка», «ёж» писались как «юлка», «юж»; ему русская письменность обязана таким знаком препинания, как тире.

В статье 1802 года «О любви к отечеству и народной гордости» Карамзин писал: «Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка; мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре» — и призывал «дать родному языку все тонкости языка французского».

Самым ценным и важным оказался отказ писателя от обветшалой славянской лексики, по традиции применявшейся в письменном литературном языке, а из разговорной речи образованных слоев русского общества постепенно вытесненной. Работая в области прозы и стиха, почву для того, что принято называть «языковой реформой» Карамзина, подготавливали и его предшественники (Новиков, Фонвизин, Державин), и многие старшие современники и сверстники Карамзина, но именно у Карамзина этот общий процесс нашел наиболее яркое и авторитетное воплощение. Отказываясь от славянской лексики, он создавал удачные русские языковые соответствия, неологизмы, придавал «русское обличье» иностранным словам. По выражению Пушкина, «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова».

Карамзин призывал авторов писать «простыми русскими словами», отказываясь от прежней ориентации на салон, на вкусы дам и утверждал, что русский язык по природе своей обладает богатейшими возможностями, позволяющими автору выразить любые мысли, идеи и чувства: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен». Писатели, считает Карамзин, «не имеют такого любезного права судить ложно. Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гармониею, нежели французский, способнее для изливания души в тонах, представляет более аналогических слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки!»

Новации Карамзина вызывали горячие споры. Ожесточенная полемика в начале XIX века шла между обществом «Беседа любителей русского слова» во главе с Шишковым и обществом «Арзамас», который представляли Жуковский, Карамзин, Пушкин, Вяземский, Батюшков. В языковом споре история показала убедительную победу «Арзамаса».

Карамзин является и первооткрывателем ценнейших архивных документов: летописей, указов, судебных книг. Работая над «Историей государства Российского»,

Карамзин и его помощники «прочесали» архивы и книжные собрания Синода, Эрмитажа, Академии наук, Публичной библиотеки, Московского университета, Александро-Невской и Троице-Сергиевой лавры. По просьбе историка поиски шли в монастырях, в архивах Оксфорда, Парижа, Венеции, Праги и Копенгагена. Среди уникальных находок — Остромирово Евангелие 1056—1057 годов (это и поныне древнейшая из датированных русских книг), Ипатьевская, Троицкая летописи, Судебник Ивана Грозного, произведение древнерусской литературы «Моление Даниила Заточника». Есть предание, что, обнаружив новую летопись — Волынскую, Карамзин несколько ночей не спал от радости.

Он первым опубликовал отрывки из уникального произведения XV века — «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. В примечаниях к VI тому «Истории государства Российского» Карамзин писал: «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших, описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века... Оно (путешествие) доказывает, что Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей, менее просвещенных, но равно смелых и предприимчивых; что индийцы слышали об ней прежде нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара...»

Среди введенных Карамзиным в научный оборот источников новые летописные списки, церковные уставы, многочисленные юридические памятники, в том числе Новгородская Судная грамота, Судебник Ивана III (Татищев и Миллер знали только Судебник 1550 года). Для своих работ историк привлекал и памятники литературные: «Слово о полку Игореве», «Вопросы Кирика». Вслед за М. М. Щербатовым расширяя использование записок иностранцев, Карамзин впервые обратился к текстам Плано Карпини, Рубрука, Барбаро, Контарини, Герберштейна, к запискам иностранцев о Смутном времени.

Результаты работы с источниками отражены в обширных примечаниях к «Истории государства Российского». Во время нашествия Наполеона при московском пожаре 1812 года в огне сгорели многие архивы, и «Примечания» Карамзина до сих пор ценнейший источник, ибо в них подробно цитируются многочисленные документальные свидетельства, не дошедшие до наших дней.

Карамзина можно назвать и первым русским краеведом. В декабре 1817 года пятилетие со времени изгнания наполеоновских полчищ с территории России предполагалось отметить торжествами в Москве. Карамзин, по своему положению почти обязанный ехать со двором, отказался, отговорившись слабостью жены, только что родившей. И вдовствующая императрица Мария Федоровна попросила почитаемого ею историографа составить для нее список наиболее интересных московских достопримечательностей, так как во время пребывания в древней столице хотела бы «увидеть ее старину». Карамзин вместо списка представил императрице обширный очерк о памятных местах Москвы и ее окрестностей — «Записку о московских достопамятностях», ставшую, по сути, первым в москвоведении историко-культурным путеводителем по Москве. Императрица, довольная этим путеводителем, широко давала его читать. С «Записки о московских достопамятностях», не предназначенной для публики, снимали копии, впоследствии она была напечатана при жизни историка.

Основоположник русского сентиментализма, создатель первой истории государства Российского (именно государства, а не только России) с древнейших времен до начала XVII века, реформатор русского языка... И — первый политолог, как назвал его историк Ю. Пивоваров, «блестящий политический мыслитель» — в оценке другого историка и политолога В. Никонова.

* * *

И для таких утверждений есть все основания: трактат Карамзина, названный им «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» можно считать первым отечественным опытом исторического и политического самопознания в России.

В своей «Записке о древней и новой России» Карамзин впервые в нашей отечественной историософии четко сформулировал вопросы, которые волнуют нас и сегодня: Что есть Россия? Каков ее исторический удел? Часть ли это Европы или самобытная цивилизация? Какие преобразования ей нужны, какими органичными для страны средствами следует осуществлять их? Именно из этой «Записки» взяты цитаты, открывающие данную статью.

* * *

Поучительна история создания и публикации «Записки».

Эта, по сути, историко-политическая программа составлена историком по просьбе великой княгини Екатерины Павловны, младшей и любимой сестры Александра I. Н. М. Карамзин был представлен великой княгине в конце 1809 года. Молодая, красивая, образованная и умная великая княгиня знала и ценила сочинения Карамзина, и после личного знакомства пригласила его погостить в Твери, во дворце, где находилась резиденция ее супруга, принца Георга Ольденбургского, тверского, новгородского и ярославского генерал-губернатора. В феврале 1810 года Карамзин шесть дней провел в Твери, его ежедневно приглашали в «очарованный замок» на обед, а по вечерам он читал великой княгине, принцу Георгу и великому князю Константину Павловичу, младшему брату императора, главы из «Истории государства Российского». Чтение произвело сильное впечатление на слушателей.

Второй раз Карамзин посетил Тверь в декабре 1810 года. В беседах с Екатериной Павловной историк много внимания уделил новым государственным мерам, принимаемым правительством. Мнения Карамзина были резко отрицательными, а доводы выглядели тем более убедительными, что совпадали со взглядами Екатерины Павловны и ее двора. «Дней Александровых прекрасное начало», первые годы царствования Александра I, ознаменованные попытками либеральных реформ, кончилось разочарованиями: почти ничего из благих намерений осуществить не удалось, в осуществленных же преобразованиях обнаружилось великое множество недостатков. В Твери образ Александра I решительно отделялся от его окружения: приближенного к императору советника Сперанского со товарищи считали беспочвенными прожектерами, желающими переустроить Россию по иностранным политическим образцам и не знающими и не желающими знать действительных условий и нужд страны, а император рисовался реформатором-мечтателем, желающим добра своему народу, жаждущим слышать слово правды и совета.

Екатерина Павловна была увлечена четкостью и доказательностью рассуждений Карамзина, его концепцией об исторических законах развития России и взглядами на современные события, логически вытекающими из прошлого. Она уговорила историографа изложить его суждения в письменном виде для императора.

С декабря 1810 года по февраль 1811-го Карамзин работал над «Запиской...» и в начале февраля 1811 года отвез рукопись в Тверь. «Записка...» получилась объемная, ее чтение, прерываемое вопросами Екатерины Павловны и Константина Павловича, продолжалось несколько дней. Высокие особы трактат одобрили. По прочтении великая княгиня оставила рукопись у себя.

В марте того же года Александр I посетил сестру, тогда же ему был представлен Карамзин. Император пробыл в Твери пять дней и ежедневно виделся и беседовал со своим историографом, Карамзин читал и главы из «Истории государства Российского», был обласкан императором, казалось, историка ждут награды. «Записку...», по договоренности с Екатериной Павловной, он не зачитывал: для сохранения полной конфиденциальности великая княгиня в удобный момент сама отдала ее императору.

После представления записки ситуация резко переменилась: царь уехал, холодно простившись с историографом.

* * *

Неудивительно. Резкие, подчас беспощадные суждения автора «Записки...» и не могли прийти по душе Александру I. «Несть лести в языке моем» — такое библейское изречение избрал Карамзин эпиграфом для своего трактата и избранному пути не изменил ни в обзоре истории России от древности до дня текущего, ни в анализе «текущей ситуации».

Обращаясь к прошлому, прослеживая исторический путь самодержавия в России, Карамзин особо отмечал заслуги Ивана Калиты, называя его политику «наилучшей по всем обстоятельствам»: Иван Калита обеспечил безопасность своих подданных от грабежа татар, благодаря чему успокоились села и города, пробудилась внутренняя и внешняя торговля; обогатились народ и казна. Второй заслугой великого князя Карамзин называл присоединение к Великому княжеству частных уделов. «Усыпляемые ласками властителей московских, ханы с детскою невинностью дарили им целые области и подчиняли других князей российских, до самого того времени, как сила, воспитанная хитростью, довершила мечом дело нашего освобождения». Это при Иване III «Европа устремила глаза на Россию: Государи, Папы, Республики вступили с нею в дружелюбные сношения, одни для выгод купечества, иные — в надежде обратить ее силы к обузданию ужасной Турецкой Империи, Польши, Швеции. Даже из самой глубины Индостана, с берегов Гангеса, в XVI веке приезжали послы в Москву, и мысль сделать Россию путем Индейской торговли была тогда общею. Политическая система Государей Московских заслуживала удивление своею мудростию: имея целию одно благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетности Монархов, нежели полезного для Государства, и, восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных, или опасных, желая сохранять, а не приобретать». И далее: «Глубокомысленная политика князей московских не удовольствовалась собранием частей в целое: надлежало еще связать их твердо и единовластие усилить самодержавием». Ключевой посыл: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием».

Насколько мудро действовали русские самодержцы в обстоятельствах своего времени? Всегда ли их замыслы и деяния соответствовали интересам государства и народа? Насколько важна внутренняя связь подданных с властью? Где границы власти самодержцев? Почему и когда народ утрачивал почтение к своим владетелям, охладевал в усердии к ним? Когда к тягостным последствиям — мятежам и смуте — приводила недалекость правителей? И как и почему, когда «казалось, что Россия погибла навеки», наступало чудо ее удивительного возрождения?

Подробно рассматривая деятельность русских князей, царей, императоров, Карамзин давал ответы на эти вопросы и политический, сдобренный историческими

экскурсами урок царю. Бытует мнение, что Карамзин как «придворный» историограф Романовых в своей «Истории государства Российского» «опорочил» всех Рюриковичей, и особенно Ивана Грозного. Об Иване Грозном мы поговорим позже. А сейчас посмотрим, справедливо ли такое скороспелое суждение.

«Записка...» его опровергает. «Порочит» в ней Карамзин не только Рюриковичей, отрицательная оценка дана Борису Годунову и Дмитрию Самозванцу. Про первого сказано, что «нравственное могущество царское ослабело в сем избранном венценосце», и объясняется это тем, что Годунов не был наследственным, то есть законным, легитимным монархом. Второго не принял народ как тайного католика, презревшего русские обычаи и веру. Только двух тиранов в течение девяти веков обнаружил Карамзин — Ивана IV и Павла I. Но последний-то уже Романов.

«История государства Российского» доведена до начала XVII века, последний, XII том замер на междоцарствии 1611–1612 годов. Заканчивается XII том словами о маленькой российской крепости: «Орешек не сдавался». В «Записке...» исторический обзор продолжен до дня текущего. Пожалуй, из Романовых резкой критике не подверглись только Михаил, Алексей и Федор, им воздано должное за восстановление России, за ее дальнейшее развитие, за осмысленные реформы, когда каждое «изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым». Что касается остальных правителей...

Вот как «романовские» страницы «Записки...» характеризует Ю. Лотман: «Карамзин не пощадил человеческих качеств ни одного из его предков. Применительно к Петру I формула: „умолчим о пороках личных“ в сочетании со словами „худо воспитанный“ и напоминанием: „Тайная Канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования Государственного“ — была достаточно красноречива. Но для других царей, правивших в XVIII веке, у Карамзина нашлись еще более горькие слова. „Злосчастная привязанность Анны к любимцу бездушному, низкому, омрачила и жизнь, и память ее в истории. Воскресла Тайная Канцелярия Преображенская с пытками; в ее вертепах и на площадях градских лились реки крови“. „Лекарь Француз и несколько пьяных Гренадеров возвели дочь Петрову на престол величайшей Империи в мире“. „Елисавета, праздная, сластолюбивая“. Личные достоинства ее состояли в том, что она „имела любовников добродушных, страсть к весельям и нежным стихам“. Далее — „несчастный Петр III“ „с своими жалкими пороками“. О Екатерине II: „Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно вспоминаем ее слабости и краснеем за человечество“. „Богатства Государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лице красивое?“ „Самое достоинство Государя терпит, когда он нарушает Устав благонравия: как люди ни развратны, но внутренно не могут уважать развратных“. О Павле I: „...жалкое заблуждение ума“, „презирая душу, уважал шляпы и воротники“, „думал соорудить себе неприступный Дворец — и соорудил гробницу“. И в итоге — дерзкие слова: „Заговоры да устрашают народ для спокойствия Государей! Да устрашают и Государей для спокойствия народов!“ Можно представить себе, с каким чувством читал император эти строки».

Карамзин пишет, что, «вопреки своему человеколюбию, Елизавета вмешалась в войну кровопролитную и для нас бесполезную»; что и «блестящее царствование Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна», что и царствование Павла I компрометировало самодержавие, и причиной того была личность самого императора. «Но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оною».

И все-таки, соблюдая объективность, историк отмечал и те начинания, деяния, которые благотворно сказались на общем ходе развития страны. «По крайней мере, сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина российского; едва ли не всякий из нас пожелал жить тогда, а не в иное время». В конце концов, «возвысив нравственную цену человека в своей державе, она /Екатерина/ пересмотрела все внутренние части нашего здания государственного и не оставила ни единой без поправления: Уставы Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования достойна особенной хвалы: Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе. Воинствуя, мы разили. Петр удивил Европу своими победами, — Екатерина приучила ее к нашим победам...»

Карамзин одним из первых в русской мысли поставил вопрос о негативных последствиях правления Петра I, фактически обвинив его в насильственном истреблении древних обычаев, роковом расколе народа на высший, «онемеченный» слой и низший, «простонародье», а также в уничтожении патриаршества, что привело к ослаблению веры.

Искореня древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России, полагал историк, «унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного... Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ». В итоге, утверждал Карамзин, русские «стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России».

Карамзин считал, что «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств... Сей дух... есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству». И в этом, по утверждению Карамзина, главная ошибка «великого венценосца».

Среди ошибок Петра называет Карамзин и основание новой столицы в нездоровой местности: Петербург «основан на слезах и трупах» и продолжает пожинать «новые жертвы преждевременной смерти». Это мнение, возникшее в среде тех, кто не желал оставлять насиженные места и переезжать в «глухомань», не подвергалось сомнению в начале XIX века, и только теперь доказано, насколько оно не соответствует действительности.

Именно от Карамзина, считает В. Никонов — и он не одинок в своем мнении, — ведет начало интеллектуальная дискуссия, ставшая стержневой для российской общественно-политической мысли на последующую пару веков — вплоть до наших дней. А именно — вопрос о соотношении национальной традиции и внешних заимствований. Именно в дискуссии вокруг «Истории...» Карамзина и его неоднозначной оценки исторической роли Петра выкристаллизовались постепенно течения славянофилов, видевших (упрощенно) проблемы России в отрыве от допетровских корней, и западников, понимавших цель развития страны в том, чтобы максимально приблизиться к западной модели.

Никонов отмечает, что «нельзя сказать, что Карамзин однозначно негативно оценивал роль Петра I. Такие оценки ему не позволяли ни его монархизм, ни преклонение перед сильной властью. Карамзин отдавал должное величию императора. Но Петр для Карамзина — еще и разрушитель устоев».

Да, для «романовского» историографа Карамзин слишком резок.

* * *

Две трети записки Карамзин посвятил дерзкой критике важнейших вопросов внешней и внутренней политики правительства Александра I. Ни одно из любимых предприятий царя историк не одобрил.

Прежде всего он обратил внимание на неудачную и непоследовательную внешнюю политику правительства, что объективно способствовала усилению Наполеона. Рассорив Россию с союзниками и нанеся ей огромный материальный и моральный ущерб, эта политика, по мнению Карамзина, тем не менее вела не к миру с Францией, а к неизбежному военному столкновению с ней.

Обращение к внутренней политике предваряется в «Записке...» обзором изменений в государственном устройстве и в государственных учреждениях, совершенных предшественниками Александра. Отметив, что такие реформы обычно болезненно отзываются на ходе повседневных дел и жизни населения, Карамзин анализирует их негативные и позитивные последствия.

Переходя к современности, он в первую очередь критикует чрезмерное увлечение императора созданием новых государственных учреждений и указывает, что незрелость и недееспособность новых государственных творений привела к тому, что «добрые россияне жалеют о бывшем порядке вещей».

Претензии Карамзина всегда доказательны. «Министерские бюро заняли место коллегий. Где трудились знаменитые чиновники, президент и несколько заседателей, имея долговременный навык и строгую ответственность правительствующего места, — там увидели мы маловажных чиновников, директоров, экспедиторов, столоначальников, которые, под щитом министра, действуют без всякого опасения. Скажут, что министр все делает и за все отвечает; но одно честолюбие бывает неограниченно. Силы и способности смертного заключены в пределах весьма тесных. Например, министр внутренних дел, захватив почти всю Россию, мог ли основательно вникать в смысл бесчисленных входящих к нему и выходящих от него бумаг? Могли даже разуть предметы столь различные? Начали являться, одни за другими, комитеты: они служили сатирой на учреждение министерств, доказывая их недостаток для благоуспешного правления. Наконец заметили излишнюю многосложность внутреннего министерства... Что же сделали?... Прибавили новое, столь же многосложное и непонятное для русских в его составе».

От критики новой системы государственного управления Карамзин переходит к частным постановлениям правительства, отмечая особенно неудачные.

Среди них и Манифест о милиции 1806 года, которым император и правительство предписывали создавать ополчение в помощь регулярным войскам ввиду угрозы вторжения французской армии в пределы России. По мысли Карамзина, дело бессмысленное и неразумное, не давшее армии никакой подмоги. «Если бы правительство, вместо необыкновенной для нас милиции, потребовало от государства 150 тысяч рекрутов с хлебом, с подводами, с деньгами, то сие бы не произвело ни малейшего волнения в России и могло бы усилить нашу армию прежде Фридрихсбургской битвы. Надлежало бы только не дремать в исполнении».

Выступил Карамзин и против введения экзаменов для чиновников. «Отныне никто не должен быть произведен ни в статские советники, ни в асессоры без свидетельства о своей учености. Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимого для их службы знания: науки инженерной — от инженера, законоведения — от судьи и проч. У нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойство кислорода и всех газов, вице-губернатор — Пифагорову фигуру, надзиратель в доме сума-

шедших — римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни 40-летняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга знать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не производила действия, столь несогласного с их целью! Забавно, что сочинитель сего Указа, предписывающего всем знать риторику, сам делает в нем ошибки грамматические!» И предлагает: «вместо всеобщих знаний должно от каждого человека требовать единственно нужных для той службы, коей он желает посвятить себя: юнкеров Иностранной коллегии испытывайте в статистике, истории, географии, дипломатике, языках; других — только в знаниях отечественного языка и права русского, а не римского, для нас бесполезного; третьих — в геометрии, буде они желают быть землемерами и т. д. Хотеть лишнего или не хотеть должного — равно предосудительно».

Так же детально разобрал Карамзин отрицательные следствия указа, запрещающего помещикам продавать крестьян в рекруты; налоговой системы правительства, стремящегося введением новых налогов пополнить казну, разоренную огромным количеством ненужных расходов и скрытым казнокрадством; бесконтрольного выпуска ассигнаций, способствующего только падению курса рубля.

Претензии у него нашлись и к законотворческой деятельности правительства. Он с негодованием констатирует, что специально созданная комиссия вместо того, чтобы сводить воедино бытующие в России указы, занялась переводом сначала Фридрихова Кодекса, а затем переводом Кодекса Наполеона. «Для того ли существует Россия как сильное государство около тысячи лет? Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного Уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подsunуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6-ю или 7-ю экс-адвокатами и экс-якобинцами?» И настоятельно рекомендует обратиться к историческому опыту народа и согласно здравому смыслу ввести в систему законы отечественные, взяв за основу указы и постановления, изданные от времен царя Алексея до дня текущего. С точки зрения историка А. Минакова, в «Записке...» Карамзин сформулировал до сих пор не реализованную на практике идею «русского права»: «законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств». «Русское право также имеет свои начала, как и Римское; определите их и вы дадите нам систему законов».

Показательно, что, кроме собственно русского законодательства, Карамзин считает обязательным в общем законе России учитывать так же гражданское право других народов, входящих в состав государства, подчеркивая необходимость уважать национальные особенности народов.

* * *

Карамзин отнюдь не являлся сторонником исторического застоя. Не сами реформы как путь к улучшению ситуации в стране вызывают его возражения, а бессодержательность и ничтожность преобразований, сомнительная их благотворность и ценность для государства. И Александр не мог не понять, что главной мишенью Карамзина был не Сперанский, а он сам, российский император, ему адресованы поучения историографа.

Помимо критики, Карамзин выдвинул и собственную программу принятия «средств целебных», способных исправить нанесенный вред и достаточно действенных. Выделим одно из средств, похоже, актуальное во все времена: «...не формы, а люди важны... Да будет... правило: искать людей! ...Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты (в министры, в губернаторы) должны быть назначены

единственно по способностям». Как не вспомнить знакомый тезис: «Кадры решают все!»

«Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, — писал Карамзин, — а из 50 или более частей, называемых Губерниями; если там пойдут дела как должно, то Министры и Совет могут отдыхать на лаврах; а дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона Россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних Чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят Земледельцев, ободрят Купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа. Если Губернаторы не умеют или не хотят делать того, виною худое избрание лиц; если не имеют способа, виною худое образование Губернских властей. ... Каковы ныне, большею частию, Губернаторы? Люди без способностей и дают всякою неправдою наживаться Секретарям своим, или без совести и сами наживаются. Не выезжая из Москвы, мы знаем, что такой-то Губернии Начальник глупец и весьма давно! В такой-то грабитель, и весьма давно! Слухом земля полнится, а Министры не знают того, или знать не хотят. К чему же служат ваши новые Министерские образования? К чему писать законы, разве для потомства? Не бумаги, а люди правят».

Необходимым считал автор «Записки...» и повышение авторитета духовенства: «Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству по мере общего к ним народного уважения... Не довольно дать России хороших губернаторов — надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе». И предлагал по своему значению поставить Синод рядом с Сенатом.

Затронул Карамзин и один из самых болезненных, но официально не обсуждаемых вопросов — о крепостном праве, слухи о возможном его ограничении или частичной отмене ходили в обществе, были известны и Карамзину. Подробно разбирая историю крепостного права в России, современные ему, как мы бы сегодня сказали, реалии, историк приходит к мысли, что в настоящее время освобождение крестьян невозможно по причинам внутренней — общественной, юридической, нравственной и психологической — неподготовленности России. К каким последствиям может привести личное освобождение крестьян без земли, ведь земля — и это бесспорно — дворянская собственность? И можно ли подвергнуть испытаниям государственный и общественный строй и ввиду внешней угрозы — войны с Наполеоном?

Неверно считать Карамзина защитником крепостного права: признавая, что крепостное право «зло», он полагал, что к его отмене Россию нужно постепенно готовить: крестьян — «исправлением нравственным», их владельцев — государственным контролем, что важнейшим инструментом для ликвидации крепостного права является просвещение всех слоев населения России.

* * *

К каким бы сторонам российской действительности, российской истории ни обращался бы Карамзин, везде проходит одна стержневая для него, главная мысль: единственно возможная для России форма политического устройства и власти — самодержавие. «Самодержавие есть палладиум России: целость его необходима для ее счастья». (Палладиум — священное изображение Афины Паллады, символ и залог благополучия и процветания.) Он настаивал на том, что «Россия, прежде всего, должна быть великою, сильною и грозною в Европе и только самодержавие может сделать ее таковою».

В наше время «Записка о древней и новой России...» досконально и всесторонне рассмотрена большим кругом исследователей: изучены ее политическая, юриди-

ческая, экономическая, духовно-нравственная составляющие. Подвергнут разбору исторический контекст, в котором она появилась, идеологические сближения и разногласия Карамзина и Сперанского, который в 1808—1809 годах по поручению императора разработал проект реформ, призванный кардинально изменить всю систему управления Россией. И ни один из исследователей не обошел ключевой вопрос: Карамзин и его концепция Самодержавия, приоритет исследователи в первую очередь отдавали как раз вопросам формирования и эволюции идеи самодержавия в политической доктрине Карамзина. Разночтений нет: с любого ракурса Карамзин предстает защитником самодержавия. Из множества мудрых, здравых высказываний остановимся вот на этом: «Наряду с обзором русской истории и критикой государственной политики Александра I в „Записке“ содержалась цельная, оригинальная и весьма сложная по своему теоретическому содержанию, концепция Самодержавия как особого, самобытно-русского типа власти, тесно связанной с Православием и Православной Церковью». И далее: «С точки зрения К., самодержавие представляет собой „умную политическую систему“, прошедшую длительную эволюцию и сыгравшую уникальную роль в истории России» (А. Минаков).

Для Карамзина, с его пиететом по отношению к русскому самодержавию, планы Александра I и Сперанского вести законодательные ограничения монарха были неприемлемы, ибо, по убеждению историка, ограничивать монарха могут только законы Божии и совести и создавшиеся традиции. Все другое ведет к смуте и мятежам. Карамзин резко осудил любые попытки учреждения конституции, в чем-то ограничивающей власть царя. «Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто. Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава ее она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия?»

* * *

Александр I «Записка...» Карамзина не понравилась. Он обиделся.

Рукопись Александру передали вечером 18 марта, тем же вечером он тепло расстался с Карамзиным после часовой беседы, утром 19 марта царь был холоден к своему историографу и, по рассказу самого Карамзина, «прощаясь со всеми, взглянул на него издали с равнодушием».

Тем не менее в продолжение следующего года М. Сперанский был удален в ссылку, а либеральные проекты и преобразования свернуты, «план» Сперанского в своих главных пунктах так и не был воплощен в жизнь.

Проекты Сперанского читали лишь царь и некоторые его приближенные. Однако о содержании проектов ходили диковинные предположения среди придворных, тем более что Александр I осуществил некоторые идеи Сперанского, в первую очередь создание Государственного совета и преобразование министерств. Помещиков тревожили слухи об освобождении крестьян, об уравнивании сословий, отмене дворянских привилегий, о введении в России гражданского кодекса французского образца. Чиновное дворянство было возмущено попытками Сперанского навести порядок в бюрократическом аппарате империи, особенно введением экзаменов для получения некоторых чинов. Оппозиция Сперанскому в верхах и широкое недовольство рядом его мер среди населения заставили Александра I в марте 1812 года отставить реформатора со всех постов и сослать его в Нижний Новгород, а затем в Пермь.

Решающую роль в отставке и опале Сперанского сыграла «Записка...» Карамзина, выражавшая настроение основной массы дворянства.

Прошло пять лет, миновала эпоха войн с Бонапартом, а вместе с нею и эпоха либеральных настроений Александра, менялись взгляды Александра, отношение к Сперанскому и его реформам.

В начале февраля 1816 года Карамзин прибыл из Москвы в Петербург, чтобы решить вопрос об издании восьми томов своей «Истории государства Российского», в том числе финансовый.

В течение трех недель историограф ожидал аудиенции у царя. Автор вышедшего в серии ЖЗЛ подробного исследования биографии Карамзина, историк В. Муравьев пишет: «Советская историография упорно утверждала, что царь хотел унижить Карамзина, выразить свое недовольство „Запиской о древней и новой России...“. Есть также мнение, что аудиенцию тормозил Аракчеев, желавший показать свое могущество. Но думается, что разгадка проще, и прав М. П. Погодин, когда писал: „Может быть, замедление произошло просто и естественно, потому что наверху вещи представляются иначе, и немедленное решение о печатании „Истории“ не казалось столько нужным и важным, чтобы должно было пожертвовать ему другими делами“».

Среди этих других дел — и свадьба Анны Павловны с нидерландским наследником, принцем Вильгельмом, и масленичные праздники.

По настоянию императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Федоровны и после визита Карамзина к А. Аракчееву Александр I удостоил историографа высочайшей аудиенции, в результате на издание «Истории...» было выделено 60 тысяч рублей, для печатания определена петербургская военная типография, историографу предложили жить весной и летом в Царском Селе, в Китайском домике.

Восемь томов «Истории...», минуя цензуру, увидели свет в 1818 году колоссальным по тем временам тиражом в три тысячи экземпляров, которые стремительно разошлись в 25 дней (девятый том вышел в 1821 году, в 1824-м — десятый и одиннадцатый, последний, двенадцатый том — посмертно).

«История государства Российского» пользовалась огромным успехом.

О реакции общества на нее рассказал и А. Пушкин: «Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов „Русской истории“ Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле (Пушкин тогда выздоравливал после тяжелой болезни) с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалась, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем другом не говорили». Зачитывались «Историей...» все: студенты, чиновники, дворяне, даже светские дамы. Читали в Москве и Петербурге, читали в провинции: далекий Иркутск один закупил 400 экземпляров.

«Карамзин уловил историческую потребность и открыл тысячам людей прошлое их страны в тот момент, когда они этого жаждали. Он помог многим найти историю в себе и себя — в истории...» — писал Н. Эйдельман.

С 1816 года Карамзин жил в Петербурге — необходимо было отслеживать корректуру, лично следить за ходом печатания. В том же году он был пожалован статским советником, награжден орденом Св. Анны 1-го класса. Есть свидетельство, сообщает В. Муравьев, что, возлагая на Карамзина Аннинскую ленту, Александр намекнул ему, что награждает его орденом не столько за «Историю...», сколько за «Древнюю и новую Россию...».

Каждое лето Карамзин проводил в Царском Селе, что все более и более усиливало близость историка к царскому семейству. Государь «Историю...» читал в рукописи, во время прогулок по царскосельскому парку неоднократно беседовал с Карамзиным, выслушивал мнения Карамзина по текущим политическим событиям.

Предполагая восстановить Польшу в ее целостности, Александр попросил историографа выразить на бумаге свои взгляды по «польскому вопросу». Ответом стала очередная «Записка» Карамзина, «Мнение русского гражданина» (1819 год), где автор упрекает царя в нарушении долга перед отечеством и народом.

Основной посыл таков: «Бог дал Вам Царство и вместе с ним обязанность исключительно заниматься благом оного... Вы думаете восстановить древнее Королевство Польское; но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? согласно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашею любовью к России и к самой справедливости?.. Не клянутся ли Государи блюсти целостность своих Держав? ...Доселе нашим государственным правилом было: ни пяди, ни врагу, ни другу!» Карамзин высказывает также опасения, что и в восстановленном королевстве поляки не будут ни искренними братьями, ни верными союзниками России и что «поляки, законом утвержденные в достоинстве особенного, державного народа, для нас опаснее Поляков-Россиян». Ранее, в «Записке о древней и новой России...», Карамзин утверждал: «Безопасность собственная есть высший закон в политике».

Свои планы в отношении Польши Александр переменял.

Карамзин был последним, с кем беседовал Александр I, покидая столицу в 1825 году.

* * *

Странно сложилась судьба «Записки о древней и новой России...». Карамзин никогда не предполагал ее печатать, она адресовалась одному конкретному человеку — Александру I. Автор просил вернуть рукопись, но великая княгиня отказала, ответив, что рукопись теперь находится в надежных руках. Здесь теряется след оригинала «Древней и новой России». Есть предположение, что он или сгорел с другими бумагами Екатерины Павловны во время пожара Аничкова дворца и 1812 году, или, что менее вероятно, увезен был после ее бракосочетания с герцогом Вюртембергским в Штутгарт, где и хранится, быть может, в одном из тамошних архивов. По другой версии, ее увез Александр.

Однако с оригинала сделали копии, то ли сам автор, то ли Екатерина Павловна. В дальнейшем с этих копий снимались в разное время еще копии, они и хранятся сейчас в различных архивах нашей страны. Наиболее авторитетными среди них признаны три копии из архива Вяземских в Центральном государственном архиве литературы и искусства и одна копия в фондах Российской публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

Так или иначе, но до 1836 года о существовании «Записки...» мало кто знал, и обнаружили ее лишь в 1836 году при разборе бумаг А. Аракчеева, умершего в 1834 году.

Первым редактором, предпринявшим попытку опубликовать статью «О древней и новой России», был А. Пушкин. Но цензура статью к опубликованию без разрешения вышестоящего начальства допустить не решилась, а министр просвещения Уваров наложил на публикацию запрет, поскольку Карамзин позволил себе критиковать практически все начинания молодого императора Александра I и вольно отозвался о его предшественниках на троне. Приговор гласил: «...так как статья сия не предназначалась сочинителем для напечатания и им при жизни издана в свет не была, то и ныне не следует дозволять печатать ее. Определено: предоставить

Г. Цензору Крылову возвратить рукопись сию без одобрения Г. Издателю Современника». «Остается лишь восхищаться прозорливостью цензурного комитета, признавшего, что сочинение Карамзина рано или поздно станет достоянием потомства!» — констатирует автор В. Муравьев.

Увидеть рукопись «О древней и новой России» напечатанной Пушкину не довелось, позднее друзья поэта, П. Плетнев и В. Жуковский, добились разрешения опубликовать отрывок из нее с вымарками цензора в пятом — так называемом «посмертном» — томе «Современника», вышедшем в 1837 году...

Весь XIX век «Записка...» находилась под цензурным запретом, но в течение десятилетий по рукам ходило несколько списков с нее.

В 1843 году в более полном виде отрывок из «Современника» воспроизвел книгоиздатель И. Эйнерлинг в приложении к пятому изданию «Истории государства Российского». Публикатору удалось восстановить часть вымаранного цензурой текста, но купюры в нем оставались значительными. Критические высказывания Карамзина в адрес Петра I, Елизаветы, Екатерины II и Павла I сохранялись под семью замками.

В 1861 году свет увидело двухтомное сочинение барона М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского», где цитировались все части «Древней и новой России», посвященные критике деятельности М. М. Сперанского.

В том же, 1861 году в Берлине без предисловия и имени издателя статья «О древней и новой России» вышла отдельной брошюрой. Текст был подготовлен небрежно, содержал множество ошибок, искажений.

Тщетной оказалась предпринятая в 1870 году попытка известного историка П. И. Бартенева напечатать «Записку...» в «Русском архиве». По требованию цензуры текст записки из журнала изъяли и уничтожили. Номера журнала вышли с недостающими страницами.

Следующий шаг предпринял академик А. Н. Пыпин: он поместил текст «Записки...» в приложениях ко второму (1885 год): и к третьему (1900 год) изданию своей книги «Общественное движение в России при Александре I». Но достоверными, соответствующими оригиналу эти публикации не являлись: общая антикарамзинистская направленность Пыпина, рассматривавшего Карамзина как противника либеральных реформ, выразителя консервативно-охранительной идеологии, повлияла даже на публикуемый текст, лишая его объективности. Пыпин считал, что Карамзин «наносил свою долю зла начинавшемуся умственному и общественному движению; он рекомендовал программу застоя и реакции».

Только в 1914 году в Петербурге появляется наконец отдельное и наиболее авторитетное отечественное издание этого интереснейшего памятника русской общественной мысли. Выпустил его профессор В. Сиповский, в основу публикации взяв писарскую копию «Записки...» из Собственной Его Императорского Величества библиотеки Зимнего дворца. «Эта копия помогла восстановить текст и разобраться во всех непонятных местах заграничного издания этого сочинения», — сообщает Сиповский в предисловии. Однако в текст было внесено множество исправлений: изменена пунктуация, сделан ряд существенных поправок «по собственному разумению» публикатора. Малотиражное издание 1914 года сразу же сделалось редкостью, мало доступной даже специалистам.

Публикацию Сиповского повторил в 1959 году в США, в городе Кембридже, штат Массачусетс профессор Гарвардского университета Ричард Пайпс.

«В советское время статью „О древней и новой России“ постигла та же участь, что и главное произведение Карамзина — „Историю государства Российского“. Иногда можно было встретить цитаты из нее, доказывающие реакционность взглядов

Карамзина. Несколько раз предпринимались попытки опубликовать ее в различных изданиях, но безуспешно — на „Древней и новой России“ лежал негласный запрет. Мало кто, даже среди студентов филологических факультетов, знал о ее существовании. А ведь это произведение отражает сущность целой эпохи в русской истории, эпохи, которой полностью посвящены первые два тома романа „Война и мир“ Л. Н. Толстого», — пишет А. Сегень в предисловии к публикации 1988 года («Литературная учеба», 1988, № 4).

В журнальной публикации 1988 года устранены все спорные поправки Сиповского, текст приведен в соответствие с копиями, которые использовали публикаторы.

С предисловием Ю. Пивоварова «Записка о древней и новой истории России...» вышла в 1991 году в серии «Ретроспективная и сравнительная политология».

Судьба «Записки о древней и новой России...» удивительна: более двухсот лет минуло со времени ее создания, давно „канули в прошлое отразившиеся в ней злободневные страсти, давно сделались достоянием печати произведения неизмеримо более смелые, а работа Карамзина оставалась практически недоступной читателю.

Еще более поразительно, что и в дальнейшем публикация этого произведения встречала цензурные трудности: тщетно советские историки литературы добивались ее издания. Одни цензоры боялись «резкости», другие — «реакционности» мнений Карамзина.

Несмотря на то, что текст «О древней и новой России» был известен лишь в извлечениях или дефектных публикациях, историки считали себя вправе высказывать об этом произведении категорические суждения. В конце XX века оно неожиданно приобрело актуальность.

* * *

В чем же тайна столь странного небрежения к уникальному политическому сочинению русского историка-мыслителя? Почему его трактат-размышление столь долго оставался практически недоступным читателю?

Свои причины имелись и в царской России, и в советской.

Нетрудно догадаться, что заставляло самодержавие упорно, в течение столетия, препятствовать ее широкому обнародованию: пафос утверждения самодержавия как незыблемой основы благоденствия Отечества перекрывался жесткими, хлесткими характеристиками царствующих особ из династии Романовых, снятием покровов с темных, затушеванных официозом страниц, связанных с гибелью Петра III и Павла I. Не только созданием великого писателя, но и подвигом честного человека назвал Пушкин карамзинскую «Историю государства Российского», эти же слова можно отнести и к «Записке о древней и новой истории России...».

«В советские времена Карамзин был у нас хрестоматийно почитаем и ограниченно читаем. В самом деле: как писателя-сентименталиста его «проходили» в школах и вузах, разумеется, его вспоминали как историка, не забывая строк приписываемой Пушкину эпиграммы о «необходимости самовластья и прелестях кнута», — отмечает Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея им. А. С. Пушкина.

Исторические труды Карамзина в СССР вообще долго не издавали: советская историография — с легкой руки М. Покровского и А. Луначарского — объявила его выразителем интересов «торгового капитала», «махровым реакционером», «настоящей реакционной бестией». Во всех учебниках истории он значился как фигура одиозная и реакционная: «монархист», «консерватор», «идеолог реакционного дворянства». Историческим произведениям «защитника самодержавия и крепостничества» доступ к печатному станку был закрыт.

Не способствовало популяризации Карамзина и его особое отношение к православию. «Прославим действие веры, — писал он в томе, содержащем описание России времен татаро-монгольского ига, — она удержала нас на степени людей и граждан... в уничижении имени русского мы возвышали себя именем христиан и любили отечество как страну православия». По мнению историка, творчески и философски осмыслявшего многовековой путь своего отечества, «история подтверждает истину... что вера есть особенная сила государственная»

И если фундаментальная «История государства Российского» почти полтора века лежала под спудом, то глубоко монархическая по своей сути «Записка...» тем более считалась не нужной советскому читателю.

В 1988 году все препоны были сняты: «Записка...» с сопроводительными статьями А. Сегеня и Ю. Лотмана была опубликована в журнале «Литературная учеба», в 1991 году вышла отдельной книгой в издательстве «Наука», дважды помещалась в приложениях к карамзинской «Истории государства Российского» (Эксмо, 2009; Ленинградское издательство, 2012).

Литература:

- Н. Карамзин. История государства Российского. М., 2010.
- Н. Карамзин. «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». С предисловием Ю. Пивоварова. М., 1991.
- Н. Карамзин М. Письма русского путешественника. М., 1983.
- Н. Карамзин. Мнение русского гражданина. 1819 // dugward.ru...karamzin...russkogo_grajdanina.html
- Карамзин. PRO et CONTRA. СПб., 2006.
- В. Муравьев. Карамзин. М., 2014.
- А. Сегень. История создания и публикации трактата «О Древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»; Ю. Лотман. «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // Литературная учеба. 1988. № 4.
- Николай Карамзин – писатель, критик, историк // <http://www.litmir.co/br/?b=114447&p=1>
- Карамзин Николай Михайлович // http://www.sxnarod.com/index.php?act=articles&CODE=one_art&a=6710
- Николай Михайлович Карамзин, писатель, историк, журналист, критик, почетный член Петербургской Академии наук, патриот своего отечества, автор «Истории государства Российского» // <http://refdb.ru/look/1236423-pall.html>
- 10 фактов о записке Карамзина «О древней и новой России» // <http://www.top10.oddlife.info/10-faktov-o-zapiske-karamzina-o-drevnej-i-novoj-rossii/>
- П. Берков, Г. Макогоненко. Жизнь и творчество Карамзина // rvb.ru>Xviii век
- А. Минаков. Н. М. Карамзин // http://www.portal-slovo.ru/history/35463.php?ELEMENT_ID=35463&SHOWALL_1=1
- В. Никонов // <http://rus-istoria.ru/component/k2/item/640-karamzin>
- А. Тукало. Николай Карамзин: собиратель слов // swissinfo.ch>rus...история-и-современность...карамзин...
- Михаил Михайлович Сперанский, автор реформаторского проекта // <http://rushist.com/index.php/historical-notes/2054-reformy-speranskogo-kratko>
- Сперанский и Карамзин – 2 разных точки зрения // <http://www.proza.ru/2006/06/02-52>



ПОРТРЕТ ПОЭТА

Альберт ИЗМАЙЛОВ

«ЧЕРЕЗ ПАМЯТЬ МОЮ...»

К 100-летию со дня рождения
поэта Михаила Дудина

Волшебством и чудом стала Поэзия для Михаила Дудина с детских лет. С первых песен матери, с первой прочитанной Некрасовской строки, поразившей его стройным ладом мысли, великой печалью, молчаливой любовью. Да, у поэзии нет возраста. Во все века она заботит, очищает, обороняет.

В литературе, как и в науке, есть категории, инструменты, с которыми работает литератор. В литературе это триединые категории: слово — мысль — образ. Мышление приводит литератора к определенному типу мировоззрения, познанию действительности, освоению опыта исторического развития, совершенствованию интеллектуальных, эмоционально-ценностных взглядов на мир.

Его человеческим учителем была Жизнь, а литературным учителем — книги русских классиков и русское народное творчество. «Для меня служба в армии, — писал он, — была не только военной, но и жизненной школой... школой литературной, школой поэтической»¹.

«Я знал Жуковского... — говорил Дудин, — любил его покоряющие душу стихи и баллады с юношеских лет...» Поэт Жуковский был еще и необычным переводчиком. «Он как бы пересаживал, — писал Дудин, — великих поэтов на почву русского языка и неназойливо делал их достоянием своего читателя, расширяя его горизонты родства».

Звонкая песня жаворонка над Соротью, с которой Дудин сравнивает живую, неумирающую всенародную любовь к Пушкину-поэту, Пушкину-человеку, служит напоминанием о том, что поэзия, как живительный образ жаворонка и чистой воды,

Альберт Федорович Измайлов родился в Ленинграде в 1937 году, житель блокадного Ленинграда, кандидат филологических наук.

¹ На страже Родины. 1959. 5 мая.

сопровождает нас всегда, от рождения до последнего дня, служит учителем и утешителем, советчиком и оберегом.

Он учился у Ф. И. Тютчева пониманию силы прозрения, сочувствию боли, конечности бытия. Жизнь и творчество Некрасова как поэта и публициста, редактора и организатора литературного процесса были для Дудина примером служения народу. Строки Некрасова вспомнились Дудину и в тот день, 14 ноября 1989 года, когда на пленуме правления Союза писателей РСФСР его выступление, призывавшее к разуму и совести, было встречено «топаньем и хлопаньем»:

Люди холопского звания —
Сущие псы иногда...

Его учителями были природа и люди пушкинского Михайловского. «Я живу в самом Михайловском, — писал он, — на маленькой веранде, пристроенной к сложенной из булыжника кладовой... Веранда на северном склоне продувается насквозь, но мой любезный друг одолжил мне валенки. В них тепло и удобно...

Наш век быстрый век. Даже слишком быстрый! А жизнь человеческая, по какой-то величайшей несправедливости самой природы, не такая длинная, как бы человеку хотелось...»²

Журналистской работой М. Дудин стал заниматься еще до войны. После окончания ФЗУ работал литсотрудником в газетах «Всегда готов», «Ленинец», «Рабочий край», одновременно учился в педагогическом институте.

В 1939 году был призван в Красную армию, служил во взводе разведки полковой батареей береговой обороны полуострова Ханко. За участие в советско-финской войне был награжден медалью «За отвагу».

Газета «Правда» в ноябре 1941 года писала: «Пройдут десятилетия, века пройдут, а человечество не забудет, как горстка храбрецов, патриотов земли советской, ни на шаг не отступая перед многочисленным и вооруженным до зубов врагом, под непрерывным шквалом артиллерийского и минометного огня, презирав смерть, во имя победы являли пример невиданной отваги и героизма. Великая честь и бессмертная слава вам, герои Ханко»³.

Среди героев полуострова Ханко был и М. Дудин. Первый бой военно-морская база Ханко приняла 22 июня 1941 года. Длительное время героический гарнизон сдерживал крупные силы врага.

«С первых до последних дней войны, — вспоминал М. Дудин, — я был в Ленинграде. На полуострове Ханко, где около 30 тысяч солдат держали оборону, защищая Финский залив от вторжения немцев, я был солдат, артиллерист-наводчик, затем стал корреспондентом газет „Красный Гангут“, „Огневой щит“, „Знамя победы“, „На страже Родины“, в которой проработал до конца войны». Он писал для газет рассказы, стихи, сообщения, сатиру, юморески, участвовал в подготовке текста ответного письма гарнизона острова Ханко барону К.-Г.-Э. Маннергейму на его предложение сдать 10 октября 1941 года. В одном из номеров газеты «Красный Гангут» было напечатано его стихотворение:

Не взяли нас ни сталью,
ни огнем

² Дудин М. Где наша не пропадала. М., 1988. С. 7–8.

³ «Правда». 1941. 3 ноября.

Ни с воздуха, ни с суши
и ни с моря.
Мы по земле растоптанной пройдем,
В других местах с другим
врагом поспоря.

Во время окопной войны с переднего края, когда наши «пропагандисты» через усилители начинали «зазывать в плен», белофинны молчали и слушали; когда фашистские и белофинские «ораторы» через усилители начинали говорить, наши прекращали стрельбу и слушали. Однажды гангутцы услышали «личное послание Маннергейма», в котором он называл наших воинов «доблестными защитниками Гангута» и предлагал сдаться, ибо, как он считал, «Ленинград не сегодня-завтра падет, Гитлер в Москве „устроит парад своих войск“, а Сталин сбежит к Рузвельту в Америку»⁴. Гангутцев это послание разозлило, и они сочинили ответ. Этот ответ вместе с газетой был разослан во все наши подразделения, около тысячи экземпляров этого послания было сброшено нашими летчиками над Хельсинки. «Говорят, что один лист через форточку залетел в кабинет Маннергейма»⁵.

Позднее в редакции, на Невском, 2, Дудин работал и жил, трудился вместе с сатириком Б. Флинтом, художником Б. Леоновым. Он припомнил один эпизод, который произошел в 1943 году: «Однажды на безлюдном Невском проспекте увидел человека, который стоял на одной ноге возле магазина (закрытого), пытаясь оторвать болтающуюся подошву ботинка. Он балансировал, подметка не отрывалась, приходилось ему то и дело хвататься за металлический поручень. Тут я подошел, и... мы поздоровались, оторвали ненужную подошву и зашли на Невский, дом 2 — в редакцию „На страже Родины“, где Дудин работал. Этот человек и был — „Мур-мур“, т. е. В. Б. Шкловский, известный советский писатель. С ним я познакомился в предвоенный какой-то год, может быть 1938-ой. После этой встречи в блокадном городе пошел к нему в номер в „Асторию“, чтобы попросить подписать мой экземпляр его книги, но не „ZOO“, а „Гамбургский счет“, именно этот томик».

Долгие годы Михаил Дудин дружил с художником — графиком Борисом Семеновым, переписывался. В одном из писем Семенов писал в 1943 году одному адресату: «Сейчас гостит Михаил Дудин — поэт... Очень милый парень, впервые я его узнал во время финской войны, он выступал на поэтическом объединении в Доме писателей... Он закончил повесть (на 4 печатных листа), называется что-то вроде „Дорога на холм“. Я-то еще не читал, Дудин говорит, что интересно...»⁶

У Михаила Дудина, как одного из плеяды писателей-фронтовиков, мировоззрение формировала война, Вторая мировая. Родившийся в годы Первой мировой, он чувствовал воздух эпохи — жизнь, пахнущую порохом.

Несколько позднее Дудин скажет: «Пожалуй, ощущения войны остались самыми цепкими в моей памяти. И очень хочется на этих живых ощущениях создать образ своего замечательного сверстника, человека доброго сердца с далеким взглядом вперед»⁷.

Поэт Н. Тихонов в 1942 году говорил о Дудине: «У него народный говорок, у него склонность к раешнику, хотя он не избегает и сатирического стиха. Ему же принадлежит часть участия в историческом письме ханковцев Маннергейму. Это послание, как и письмо запорожцев к турецкому султану, станет со временем широко извест-

⁴ Дудин. М. Цикламены на цоколе. М., 1967. С. 32–37.

⁵ Дудин М. Цикламены на цоколе. М., 1967. С. 32–37.

⁶ Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Ф. 839. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 2.

⁷ Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Ф. 112. Оп. 3. Ед. хр. 853. Л. 5.

но. Дудин сотрудничает в газете ханковцев вместе с художником Пророковым, талантливым мастером политической карикатуры, и надо сделать так, чтобы рисунки Пророкова и стихи-подписи к ним Дудина были изданы альбомом, который должен быть известен за пределами Ленинграда, так как это, несомненно, очень нужно в настоящее время...»⁸

В письме Дудину бывший старшина 2-й статьи В. С. Зольников так писал о знаменитом послании Маннергейму: «...когда наш старшина Владимир Рудный читал это послание, то перед тем, как прочитать его собравшимся в зале, попросил всех женщин выйти из зала...»⁹

Каждая судьба человека, особенно на войне, несла в себе и радость встреч, и горечь разлук. Каждая судьба являла собой произведение, синтез былой мирной и тогдашней военной жизни.

«Когда говорят о победе, — отмечал М. Дудин, — помните, что в этой победе немалая доля усилий моих друзей-гангутцев. Они были в самых тяжелых боях по освобождению Ленинграда... Может быть, вам придется увидеть человека с оригинальным знаком на правом отвороте пиджака. Если вы прочтете на этом знаке „Гангут. 1941“ — знайте, это солдат Великой Отечественной войны, не знавший отступления».

Однажды, после войны, в канун 9 мая, Дудин принес в Лениздат стихотворение:

Ракеты осыпаются, скользя
По гребням крыш в Неву. А я печален.
Сейчас я вижу, как из-под развалин
Встают мои погибшие друзья.
Они идут в косых лучах рассвета:
Жизнь пополам, и песня недопета!
Поземка их оплакала в ночи,
Звезда в пустые заглянула очи.
И если мне в страданье нету мочи,
Не утешай, не сожалея. Молчи...¹⁰

Поэт перечитывал письма фронтовиков. Запомнились ему строки Евгении Михайловны Моисеевой, которая писала о боях под Тосно, у 8-й ГРЭС, под Красным Бором, за Колпино, на Синявинских высотах, вспоминала Яблоновку на Охте...

В ответных строках М. Дудин писал о том, что людям разных поколений следует искать понимание, фронтовикам следует вспомнить Яблоновку на Охте, «где отдыхала после боев под Тосно 63-я дивизия генерала Симоняка... как же все это не вспомнить, ведь это наша молодость, ее любовь и верность на всю жизнь».

Дудин вспоминал Токсово, где «стояла тогда редакция и походная типография армейской газеты „Защитник Родины“», встречался здесь с Н. Тихоновым, А. Фадеевым.

Дудин писал о фронтовом друге, поэте Георгии Суворове. «Последний раз я видел Георгия 9 или 10 февраля 1944 года, — отмечал Дудин после войны, — он приехал из-под Нарвы, разгоряченный успехами нашего наступления. Глаза его горели радостью победы. Командир взвода противотанковых ружей, он читал стихи, пахнувшие ветром и дымом, исполненные верой в чудо победы... Он погиб на переправе через Нарву...»¹¹

⁸ Центральный государственный архив историко-политических документов. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 320. Л. 22.

⁹ Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Ф. 112. Оп. 2. д. 46. Л. 1–3.

¹⁰ Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Ф. 858. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 20.

¹¹ Дудин М. Подвиг твой бессмертен // Белые ночи. Л., 1985. С. 11–12.

Позднее на страницах журнала «Звезда» Дудин встречался «со своими сверстниками Недогоновым и Наровчатовым, Максимовым и Лукониным», так же, как и он сам, «проползшим на животе по мерзлому вереску Карельского перешейка от Сестры до Выборга, от той самой Сестры, о которой двадцать лет тому назад Николай Тихонов сказал коротко и по-тихоновски вразумительно, сказал как камень врзал: „Река Сестра, а берега не братья“»¹².

В послеблокадном Ленинграде постепенно налаживалась мирная жизнь. По Невскому бежали «нарядные разноцветные троллейбусы. Разбомбленные здания целомудренно одевались в строительные леса. В искалеченных домах фанеру понемногу заменяли стеклами. Изъеденные язвами обстрелов здания спешно гримировались дешевой косметикой. У коммерческого продуктового магазина, именуемого „елисеевским“, стояли большие очереди и наряды вежливой милиции». Поэта Михаила Дудина нередко видели на литературных вечерах. В то послевоенное время он ходил в шинели «враспах», на голове военная фуражка, одетая «по-казацки». Его напевный голос плавно сливался с хрустальной петербургской речью. Поэта тепло встречали в домах культуры, заводских цехах, студенческих аудиториях. Его творческий голос креп, мужал, социализировался. В Доме писателей Дудин читал свою поэму «о женщине-председателе колхоза», читал «звонко, голосисто, своевременно, с прицелом на деревенскую ласковость... Хвалили... а кто-то сравнивал его поэзию сразу и с Державиным, и с Некрасовым»¹³. Его поэзия светилась добрым чувством гражданственности, поэтической пристрастной публицистикой.

На всю жизнь в его творчестве сохранились военные и блокадные мгновения. На пропилеях Пискаревского мемориального кладбища остались записи, автором которых является М. Дудин. Да, поэзия — явление редкое, необычное. Поэты поколения фронтовиков находили «какой-нибудь эпитет» — «в воронке под огнем».

Он трудно привыкал к мирной жизни. В альбом друзьям-поэтам записывал такие строки:

А мне ночами снятся танки
На черной Пулковской горе...

...Не все исхожены дороги,
Не все изведаны места.
И жизнь, лишенная тревоги,
Для нас бессмысленно пуста¹⁴.

На его стихи слагали песни. Где-то на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Михаила Дудина в придорожном кафе я как-то услышал напевные строки:

Мне все снятся военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири
Через память мою до рассвета...

Он писал рецензии на книги поэтов, освоившись в непростом ленинградском писательском сообществе, помогал и молодым и маститым литераторам опублико-

¹² Всё с этим городом навек... Л., 1985. С. 677.

¹³ ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 14. Л. 10.

¹⁴ ОР РНБ. Ф. 1165. Ед. хр. 408. Л. 2—3.

вать свои труды. В феврале 1963 года писал в письме детской писательнице М. М. Дубянской: «Дорогая Мария Марковна! Ваше доброе и беспокойное сердце мне очень понравилось. Сегодня я передал его по Вашей просьбе в „Ленинградскую правду“. Дай бог, чтобы Ваше непосредственное сердце билось так же флегматично и живо. Желаю Вам добра и здоровья. М. Дудин»¹⁵.

Он перевел много стихов с языков народов Советского Союза и иных, переложил на русский язык стихи шведскоязычной финской поэтессы Эдит Сёдергран, которая родилась в 1892 году в Рошине, тогда носившем финское название Райвола.

Стихотворения Михаила Дудина были переведены на башкирский, татарский, армянский, латышский, польский, венгерский и другие языки.

О высокой роли переводческой работы Дудин говорил: «...в наше время, когда происходит естественный процесс общения народов, культур, очень важно каждому советскому поэту в силу своих способностей. ответственности пред временем заниматься переводом»¹⁶.

Эпиграммы Дудина запоминались, передавались из уст в уста. Об одной поэтессе он сказал:

Ни голоса, ни оперения,
Чирикает стихотворения.

Чутко чувствуя музыку слова, писал:

...Снова
Я плачу перед наготой
Святой естественности слова,
Дивясь высокой простотой.

И высокая простота пушкинского слова подвигла Дудина к тому, чтобы вместе с директором Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина Семёном Гейченко выступить инициатором проведения на Псковщине в Михайловском Всесоюзных пушкинских праздников поэзии. За организацию и проведение Всесоюзного пушкинского праздника поэзии и пропаганду творчества А. С. Пушкина в 1977 года Дудину было присвоено звание «Почетный гражданин Пушкинских Гор». Стихи Дудина высечены на обелиске на Могиле Неизвестного солдата, при входе в Михайловские рощи со стороны деревни Бугрово.

Дудин читал стихи с борта легендарного крейсера «Аврора». Читал как современник и вершитель отечественной истории, как представитель поколения победителей. Ведь у Победы оставалась своя боль. И неудивительно, что именно Михаил Дудин стал инициатором создания Зеленого пояса Славы — комплекса мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград в 1941—1944 годах. Тысячи рабочих, служащих, бойцов молодежных студенческих отрядов участвовали в его создании. Эта волнующая памятная цепь Славы была воздвигнута в 1965—1968 годах.

После войны, когда Дудин жил в своей первой послевоенной квартире в Коломне, он прислал Семенову, который работал тогда в редакции журнала «Нева», телеграмму:

Заслуги в области культуры —
Таит и суть твоей натуры.

¹⁵ ОР РНБ. Ф. 1170. Ед. хр. 51. Л. 1.

¹⁶ Советская Россия. 1982. 11 мая.

Служи заслуженной «Неве»
Всем, что имеешь в голове¹⁷.

В июле 1967 года Дудин писал Семенову из села Михайловского на Невский, 3, в редакцию «Невы»: «Сейчас, Боренька, утро. Дождик отошел, а день хорошеет, светлеет. Сегодня я встретил Иринку. Она приехала дня на два проведать меня. Сейчас она спит с дороги. А я посылаю тебе:

Я долго думал на рассвете,
Смотря на дальние холмы:
Кто мы? Земли слепые дети
Или самоубийцы мы?

Протоки светлое колено
Дрожало рябью мелких жил.
И белый аист копны сена,
Расхаживая, сторожил...»¹⁸

К книге воспоминаний Бориса Семенова «Время моих друзей» Дудин написал предисловие: «Мой друг обладает удивительной способностью видеть в каждом человеке изюминку и превращать ее, иногда вопреки самому обладателю этой изюминки, в живой цветок творчества, в радость... Не без его энтузиазма еще во время войны возник журнал „Костер“. Не без его влюбленности „Ленинградский альманах“ превратился в журнал „Нева“. Не без его практических советов стала выходить „Аврора“...»¹⁹

Смысл жизни художника состоит не в спасении души, а в служении обществу. В структуру сознания автора включаются воля и эмоции. Важнейшим в процессе творчества является выдвижение идеи. «По моему глубокому убеждению, — писал Дудин, — искусство возникает из железной необходимости художника сказать — словом ли, кистью, резцом — все равно, но сказать о каких-то главных, глобальных проблемах времени, привлечь к ним внимание людей. Ведь что сделало русскую классическую литературу мировой литературой? Прежде всего те высокие народные и общественные идеи, которые были заложены в ее основе и характере... И я думаю, что самое главное в каждом таланте — это его сопричастность с основными жизненными проблемами времени»²⁰.

Он подчеркивал, что, обсуждая литературные проблемы, важно говорить «о преемственности нравственного опыта». Путь человеческого познания трагичен. Мы учимся на синяках и шишках, и жизнь свидетельствует, что невозможно ничего делать на земле без точного знания, как тот или иной поступок отразится на ее существовании.

Отвечая на вопрос «Как вы понимаете ответственность художника?», Дудин говорил: «Ответственность — это высшая форма свободы, ее осознанная форма,

¹⁷ Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Ф. 839. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 4.

¹⁸ Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Ф. 839. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 16.

¹⁹ Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Ф. 839. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 3.

²⁰ Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Ф. 112. Оп. 3. Д. 83. Л. 13.

ибо только тот человек может быть по настоящему счастлив и свободен, кто не боится брать на себя ответственность».

На опыте русской литературы Дудин знал, что в России поэт — «это обязательно еще и общественный деятель в широком понимании слова»²¹.

«Чем больше времени проходит, тем явственнее вырисовывается истинный масштаб личности Михаила Александровича Дудина, — рассказала председатель Санкт-Петербургского Совета мира и согласия Вера Николаевна Бровкина, — впрочем, встречаясь с ним почти ежедневно, мы, конечно же, понимали, кто рядом с нами. Он был одной из самых ярких фигур в миротворческом движении России, в которое включился сразу после войны».

Вся послевоенная жизнь Михаила Александровича прошла в Ленинграде. Один из сборников его стихов так и называется «Все с этим городом навек».

И, наверное, никто в нашем городе не сделал так много для сохранения памяти о защитниках Ленинграда, о блокадниках, о страшной трагедии войны, как Михаил Александрович. Он болезненно относился к тому, что сегодня находятся люди, пытающиеся облить черной краской всё, что пережито страной и народом в военную пору: «Не распинай мой день, вчерашний», — восклицал Дудин в одном из самых пронзительных своих стихотворений последних лет.

Не распинай мой день вчерашний
И не пытайся на меня
Свалить с поспешностью всегдашней
Позор сегодняшнего дня.

Михаил Александрович говорил: «...я люблю рисовать. Когда-то хотел стать художником... между прочим, рисую я своеобразно: когда не входит „живопись“ или „рисунок“ словом, начинаю портить бумагу фломастером или красками. Мои рисунки — это своеобразные „знаки“... Я старый газетчик. В редакции работал с 1934 года. Память была прекрасная, никогда ничего не записывал, однако ни фамилий, ни цифр не путал... Но пятнадцать лет назад, в Чили, вдруг чувствую, не получается, не все теперь оседает в голове. Тогда стал рисовать, и по изображениям потом вспоминалось все, что надо»²².

Поэзия и проза, кино и фотография, публицистика и литературная критика, рисунок и публичное выступление в городах и весях, странах и континентах — это постоянная работа мысли и чувства, это постоянное постижение смысла жизни, борьба за настоящего Человека — сына Земли и Мира.

После войны Михаил Александрович много внимания уделял произведениям для детей, переводил стихотворения советских и зарубежных поэтов, писал стихотворения, очерки, либретто, рецензии, киносценарии, воспоминания, собирал частушки, двустушия, присловья. Современнно звучат его многие строки из книги «Грешные рифмы». И эти строки, как говорил сам автор, написаны «не смеха ради, а для раздумий», раздумий о том, «что мир должен держаться на мастерстве и мастерах».

²¹ Дудин М. Поле притяжения. Л., 1984. С. 179.

²² Литературная Россия. 1981. 31 июля.

Анна ДАУТОВА,
Екатерина ИВАНЕНКО

ЯН ШВАНКМАЙЕР: МЕЖДУ ДОН ЖУАНОМ И ФАУСТОМ

Братец Лис! Терновый куст — мой дом родной!
Из сказок дядюшки Римуса

Вопрос о том, зачем нужны экранизации, — ровесник самого кинематографа, и ему, следовательно, уже очень много лет. Конечно, готовые сюжеты проникают и в живопись, но она литературной классике явно предпочитает историю, мифологию и фольклор; связь литературы с кинематографом гораздо крепче. В самом деле, почему на экран переносят литературные сюжеты, тем более те из них, что и без того хорошо известны? Неужели потому только, что сценаристы и режиссеры не в состоянии сочинить ничего нового?

Разумеется, для классиков мирового кинематографа, особенно для тех, кто работает в области так называемого авторского кино, это предположение справедливым быть не может. Чешский режиссер-экспериментатор Ян Шванкмайер с этой точки зрения особенно интересен, так как в его фильмографии экранизации не только присутствуют, но и ошутимо преобладают. Казалось бы, его случай простой: Шванкмайер, как режиссер чешской «новой волны», в 1960-е годы попал под пристальное внимание цензуры. Ситуация стала критической в 1973 году, когда был снят короткометражный фильм «Дневник Леонардо» — бессюжетная

Анна Олеговна Даутова родилась в городе Омске в 1995 году. В настоящий момент — студентка факультета гуманитарных наук Московского отделения НИУ ВШЭ, направление «Филология». В рамках учебной исследовательской практики участвовала в реализации проекта «Летопись жизни и творчества М. А. Булгакова»; начиная с 2014 года, в течение трех лет работала в выездных Летних и Зимних гуманитарно-математических школах в городе Омске в качестве вожатого и преподавателя литературы и русского языка.

Екатерина Витальевна Иваненко родилась в 1995 году. В настоящий момент — студентка факультета гуманитарных наук Московского отделения НИУ ВШЭ, направление «Филология». В 2014 году выступала на конференции НИУ ВШЭ «Литература: история, теория, компаративистика» с докладом «Функция рекламного стихотворения в детском ленинградском журнале «Чиж» 1935 года на примере анализа стихотворения Д. Хармса «Что это значит?». В 2014 году в рамках учебной исследовательской практики обучалась в Институте международной коммуникации в городе Дюссельдорфе; в 2016 году перевела статьи Rüdiger vom Bruch «Jubilare und Jubiläen in Kunst und Wissenschaft», Christel Köhle-Hezinger «Dinge, Orte, Zeiten: Private Jubiläen» с немецкого языка для создания научной работы.

картина, в которой оживленные при помощи анимации графические наброски Леонардо да Винчи были смонтированы с документальными кадрами повседневной пражской жизни. Подобное режиссерское решение цензура сочла недопустимым, идеологически некорректным и наложила ограничение на работу режиссера: отныне ему разрешено ставить только экранизации¹.

Знаменательно, однако, что Шванкмайер и до 1973 года не однажды брался за экранизации. Один из наиболее ярких примеров — «Дон Жуан» (1969), снятый по мотивам старинной чешской кукольной пьесы. Примечателен, во-первых, нетривиальный подход Шванкмайера к архетипическому сюжету. Его Дон Жуан сам называет себя душегубом, и кажется, что любовные страсти его не интересуют вовсе. Убив отца возлюбленной, а заодно и собственного отца вместе с братом, он упивается своей кровожадностью и с легкостью становится разбойником. На сценах убийства сделан особый акцент, именно они попадают в поле внимания режиссера и, соответственно, зрителя, который видит и следы от шпаги на лице отца, и — крупным планом — отрубленное лицо дона Авенеса, и «кукольную» кровь. Отголоски этого сюжета нетрудно увидеть в «Уроке Фауста» (1994) Шванкмайера.

Еще важнее — эстетическая связь «Дон Жуана» с более поздними фильмами Шванкмайера. Этот фильм в первую очередь строится на театральных приемах. Шванкмайер возводит театральность в абсолют, реконструирует как внешний — парадный, так и внутренний — закулисный — мир театра. Интерес режиссера обращен к «актерам»-куклам, которые помещены не только в театральное, но и в повседневное, бытовое пространство; уходя со сцены, они продолжают жить: некоторые фрагменты фильма сняты на фоне реальных улиц, а не декораций. Сказывается необычное начало кинематографической карьеры Шванкмайера. Впервые он появился на съемочной площадке в качестве кукловода: у режиссера Эмиля Радока, работавшего над фильмом «Доктор Иоганн Фауст» (1958), молодой Шванкмайер был занят как кукловод.

Понятно, что когда в 1994 году Шванкмайер ставил своего «Фауста» (фильм назывался «Уроки Фауста»), он во многом опирался на режиссерские методы Радока: он так же работает с ростовыми куклами и, главное, настойчиво демонстрирует то, что в театре принято скрывать: в кадр попадают руки кукловодов, механизмы управления куклами-марионетками. Однако если обратиться к школьному вопросу «Что хотел сказать автор?», окажется, что философия, заложенная в «Уроке Фауста» Шванкмайера, совершенно особая. В книге «Сила воображения»², написанной от первого лица, Шванкмайер так описал свой замысел:

Когда я шел домой, я думал, о чем именно мой *Фауст*. О манипуляции. Точно. Но чем он отличается, например, от Фауста Гёте³ или Марло⁴; у Гёте и Граббе⁵ Фауст — борющийся „титан“. Романтичный взгляд на всеислие познания. <...> В моем Фаусте не идет речь об исключительной личности (ведь роль Фауста достается герою чередой манипуляций, и приходят новые „Фаусты“; собственно, с ролью Фауста может ознакомиться каждый, кто возьмет рекламную листовку), также не идет речи о восстании или о бунте (а если и идет, то бунте на коленях). Фауст в течение всего своего пути „ведом“ в прямом и в перенос-

¹ Подробнее об этом: Лукеш Я. Чешская «новая волна» (1960—1968) // Синемаатека; Медеведев А. Мясная лавка Яна Шванкмайера // Ведомости. 2004. № 1095.

² Švankmajer J. Síla imaginace. Dauphin a Mladá fronta, 2001.

³ Гёте И. Фауст / Перевод Б. Пастернака. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.

⁴ Марло К. Трагическая история доктора Фауста / Перевод Н. Н. Амосовой. М.: Наука, 1978.

⁵ Граббе К. Д. Дон Жуан и Фауст / Перевод Н. Холадковского // Вестник Европы. 1882. Кн. 11 и 12.

ном смысле. Так за что он наказан? Точно не за свои злодеяния. За оскорбления Бога? Ведь он не говорит от себя. Текст заведомо написал кто-то другой, а он его просто озвучивает. Его диспут с Мефистофелем — всего лишь театральная постановка или попытка изобразить театр, несколько не реальный мир. Фауст в моем фильме не является ни романтичным титаном, ни бунтарем. Еще меньше он является злодеем. Это „случайный“ человек, ему случайно досталась трагическая роль, и он покорно отыграет ее до горького конца. Также, конечно, речь идет о конкретном парадоксе: человек вовлечен в трагический спектакль о Фаусте (бунтаре Фаусте), и против этой манипуляции сам же не восстановит.

Между «Дон Жуаном» (1969) и «Фаустом» [«Уроки Фауста», 1994] Шванкмайера — четверть века. Трактровка «Дон Жуана» — полушуточная, юношеская. Подход к «Фаусту» — взрослее и тоньше. Главный его вопрос, по Шванкмайеру, — вопрос о свободе выбора, вернее, о его отсутствии. С первых кадров, в которых герой пытается избавиться от листовки, полученной у метро, он уже лишен права действовать самостоятельно. Поначалу он воспринимает происходящее вокруг как игру, в первую очередь театральную, принимает роль Фауста на себя. Однако игра становится все опаснее. Герой хочет вырваться из сковавших его обстоятельств, но в этом он не свободен. Пытаясь сбежать, он попадает под машину и умирает.

До 1973 года, который должен был стать судьбоносным в биографии Шванкмайера, вышла еще одна его экранизация — «Бармаглот, или Одежда Соломенного Губерта» (1971). «Бармаглот» — стихотворение из «Алисы в Зазеркалье», классический пример кэрролловского словотворчества. Смысл этого стихотворения Шалтай-болтай трактует так:

Twasbrillig, and the slithytoves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe⁶.

«Понимаешь, это слово как бумажник. Раскроешь, а там два отделения»,⁷ — объясняет Шалтай Алисе. М. В. Панов, комментируя понятие «слово-бумажник», называет такие слова «саквоажными» или «чемоданными»: они многозначны⁸. Именно так и построен и фильм Шванкмайера. Зритель наблюдает бесконечное смешение сцен и планов. Действия игрушек едва ли поддаются описанию: пупсов перемалывают в кофемолке, затем варят на детской плите, после чего нарядные куклы устраивают трапезу. Кого-то сажают в клетку, кого-то расплющивают утюгами; в одном из эпизодов кукла внезапно оказывается рукоятью складного ножа, а затем, сложившись, умирает. Детский мир полон не только радости, но и кошмаров.

Двойное название фильма отсылает нас не только к Льюису Кэрроллу. Губерт — персонаж из книги чешского писателя Витизслава Незвала «Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт». Эта книга во многом близка кэрролловской «Алисе». Ее героиня Анечка попадает в витрину магазина игрушек, в сказочную Прагу, и заводит

⁶ Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве,

И хрюкотали зелюки,

Как мюмзики в мове (перевод Д. Г. Орловской).

⁷ Кэрролл Л. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Перевод Н. М. Демуровой. М.: Наука, 1991.

⁸ Панов М. В. О переводах на русский язык баллады «Джаббервошки» Л. Кэрролла // Развитие современного русского языка. М., 1975. С. 243.

дружбу с Соломенным Губертом. В сказке Незвала есть момент, когда и Анечка и Губерт превращаются в кукол, а потом разбивают свои фарфоровые лица. У Шванкмайера главные действующие лица — это, конечно, фарфоровые куклы.

Бесспорно, этот короткометражный фильм послужил прологом к полнометражной картине Шванкмайера «Алиса» (или «Сон Аленки»), снятой в 1987 году. Как и многие другие экранизации Шванкмайера, «Алиса» начинается с рамки — внешнего, нелитературного сюжета. В первых кадрах мы видим девочку, которая вместе с мамой (или няней) сидит на берегу водоема и бросает камни в воду. Чтобы переместить зрителя в «тот» мир, нужно, во-первых, еще раз обозначить мир «этот»; во-вторых, необходим проводник, кто-то, чувствующий себя дома и там, и здесь, — девочка Алиса. В течение всего киноповествования именно она рассказывает историю волшебного путешествия, она же дает ключ к разгадке его тайны: «Вы должны закрыть глаза, иначе вы ничего не увидите». На этом парадоксе Шванкмайер основывает весь фильм: кино — искусство визуального восприятия, будто лишается своей сущности. Взрослый видит нечто, что уже давно и навсегда стало для него невозвратным прошлым, — сон маленького ребенка. Только дети силой своего воображения могут оживить кукол, чучела, даже чулки или подушечки для иголок. В конце фильма зритель вновь возвращается во внешнее пространство: проснувшись, Алиса видит комнату прежней, однако чучела кролика нет на месте, и стекло витрины разбито. Режиссер соединяет два мира, показывая, что они могут существовать вместе.

Для Шванкмайера литературное произведение — *tabula rasa*. Рядом с привычными персонажами — куда более интересные ожившие канцелярские кнопки, пуговицы и даже игральные карты. Невообразимое, удивительное всегда рядом, в привычных вещах и предметах, в старых чашках с разводами и опилках. Нужно только уметь включить пресловутое «остранение», по-новому посмотреть на привычные вещи, соединить детские страхи и фантазии с впечатлениями от реального мира. «Оживление объектов отстраивает детские истины»⁹, — так сказал об этом сам Шванкмайер в одном из интервью об «Алисе». Эта идея легла, по-видимому, и в основу «Бармаглота»: с помощью безумных кукол режиссер показал сюрреалистический мир, который складывается в воображении ребенка во время чтения стихотворения.

О сюрреализме до сих пор речь не шла. Между тем для поэтики Шванкмайера это понятие ключевое. Интересно, что для самого Шванкмайера сюрреализм в первую очередь связан не с формой, а с содержанием литературного произведения. Подход действительно необычный: «Сюрреализм — это психология, философия, духовный путь. Но никогда не эстетика. Сюрреализму чужда идея эстетики. Сюрреализм существует не как форма искусства». В этом свете становится понятнее круг тех произведений, которые Шванкмайер экранизирует. «Фауст», «Алиса...» Кэрролла, готический роман «Замок Отранто» и новеллы Эдгара По — все это так или иначе строится на фантастике и фантазии, которые легче сходятся с сюрреалистическим взглядом на вещи.

Готика Шванкмайера — это, конечно, особая готика. Если другие кинорежиссеры в первую очередь усиливают «ужасный» компонент и сводят ее с современным жанром хоррора, то Шванкмайер, наоборот, будто пытается нейтрализовать, сгладить ужасное и фантастическое. У «Замка Отранто» (1977) есть остроумное посвящение: «Всем историкам, занимающимся мистификацией». Создавая литературный мир внутри реального, Шванкмайер на этот раз пытается совместить или даже уничтожить первый: журналист берет интервью у историка, который в поисках прототипа замка из романа Уолпола стремится доказать, что тот находится не в Италии (как считали раньше), а в Чехии и что история Уолпола основана на

⁹ Jackson W. The Surrealist Conspirator: An Interview with Jan Svankmajer // Animation World Network. 1997.

реальных событиях. Герой Шванкмайера аргументирует свою гипотезу, апеллируя к анализу лингвистической структуры текста и археологическим артефактам; все это, впрочем, он трактует достаточно вольно. Когда журналист ставит под сомнение справедливость теории, предложенной историком, мистическое дает о себе знать: огромная рука разрушает стену замка.

В контексте вопроса об исторической мистификации Шванкмайера в меньшей степени интересовало разъяснение всех сюжетных подробностей романа Уолпола: основные эпизоды схематично обозначаются на оживающих средневековых гравюрах с помощью мультипликации, но не поясняются ни родственные связи героев, ни предыстория легенды о рыцаре, имеющая огромное фабульное значение в первоисточнике. Шванкмайер отражает наиболее фантастические эпизоды романа, доводя их до абсурда. И всякое ощущение готического ужаса снимается комическим постпосвящением, которое убеждает нас в том, что находки историка — остроумная мистификация режиссера.

В короткометражном фильме «Падение дома Ашеро́в» (1980) нет ни кукол, ни живых актеров, ни театральных приемов, почти отсутствует стоп-кадровая анимация. Все, что зритель 1980 года мог ждать от кинематографа Шванкмайера, маркировано отсутствует. Шванкмайер избавляется даже от наглядного образа героя: все персонажи существуют лишь в закадровом повествовании. Закадровый голос читает оригинальный текст По, а на экране — один только дом Ашеро́в.

Филолог Ю. В. Ковалев, исследовавший творчество американского писателя, писал: «Дом Ашеро́в, взятый в его символическом значении, — это своеобразный мир, пребывающий в состоянии глубокого распада, угасающий, мертвеющий, находящийся на пороге полного исчезновения. Трагедия последних обитателей этого мира происходит из непреодолимой власти, которую Дом имеет над ними, над их сознанием и поступками»¹⁰. Мотивы пустоты и одиночества Шванкмайер особенно подчеркивает: в гнетущей атмосфере черно-белой съемки дом Ашеро́в представляется не только старым, ветхим, как у По, но и абсолютно безлюдным, заброшенным: Родерика Аше́ра вообще нет, перед нами — один-единственный стул и голые стены.

Знаменитая новелла По экранизировалась множество раз, и режиссеры всякий раз пытались прояснить, закончить ее туманный и скупой сюжет. Авангардист Жан Эпштейн, например, превратил сестру Родерика леди Медилейн в его жену и дополнил фабулу мотивами из другого рассказа По — «Овальный портрет». Шванкмайер, наоборот, проявляет режиссерский аскетизм и будто стремится перенести на экран чистую готику, соединяя ее с характерной для него самой поэтикой оживающих вещей. Готическая литература и вправду примечательна не столько персонажами и мистическим сюжетом (хотя этого умалять нельзя), сколько атмосферой, «реквизитом»: оживающими картинами, скелетами, говорящими книгами.

Даже в этом мрачном фильме «без героя» видится столь важная для Шванкмайера тема детства. На этот раз это романтическое детство — потерянный рай, идеальный мир, который был, но никогда не повторится. Не случайно материалом для экранизаций Шванкмайера становится чаще всего литература, которая постепенно переходит от взрослого читателя к детскому, подростковому. «Без моего детства я был бы глух и нем»¹¹, — отмечал Шванкмайер.

Такое ощущение, что власти, в 1973 году заставившие Шванкмайера снимать одни лишь экранизации, оказали ему своеобразную услугу. Эта история напоминает известную сказку дядюшки Римуса, в которой братец Кролик молил брата Лиса не бросать его в терновый куст, чтобы потом с торжеством прокричать:

¹⁰ Ковалев Ю. В. Эдгар Аллан По: Новеллист и поэт. Л., 1984. С. 179.

¹¹ Долин А. Ян Шванкмайер: «Без моего детства я был бы глух и нем» // Искусство кино. 2009. № 9.

«Терновый куст — мой дом родной!» И для Шванкмайера экранизация действительно была и остается родным домом, в который можно принести все: и сюрреализм, и двоемирие, и собственное детство.

РЕЦЕНЗИИ

САЛЬТО-МОРТАЛЕ ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

Дударев В. Ф. Ветла и другие стихотворения. — М.: Художественная литература, 2016. — 196 с.

Когда стихи Валерия Дударева пребывали еще в рукописи, старшие поэты — Вознесенский, Ахмадулина и Новелла Матвеева — сойдясь, как сказочные феи у колыбели новорожденного, отметили, не сговариваясь, их простодушную, почти детскую искренность. На фоне «выпендренных закидонов» неоноваторов XXI века она не только казалась, но и была поэтической ересью. Словом, старшие младшего вниманием не обошли, да и особые приметы творческой его «походки» зорко заметили. Новелла Матвеева — «емкую образность», Ахмадулина — «узнаваемость интонации». Вознесенский среагировал на тембр природного голоса, может, и не оперного диапазона, зато свежего. Правда, как ответственный за издание (сборник Дударева «Интонации» (2010), вышел в «Худлите» с его предисловием), Андрей Андреевич еще и направление дальнейшего пути указал. Осторожно. Не настаивая. Не перстом указующим. «Как старший товарищ неглупый и чуткий». В жанре напутствия. Хочется, дескать, пожелать талантливому поэту и ярких переживаний, и «масштабных размышлений о смыслах». Но я-то не об угодившем в резонанс издании. Я о «Ветле», а в связи с ней и об издательстве, а это, к счастью, снова «Художественная литература». Ныне, однако, и здесь, как везде. «Вопрос» о составе новой книги развернули в сторону прагматически современную. С прицелом на сборник, целиком состоящий из свежих текстов, каковые, как известно, «продаются быстрее». Автор на коммерческий поворот-уклон-разворот, похоже, не согласился. Предпочел второе издание «Ветлы», дополненное «Другими стихами». (Кавычки на сей раз обязательные, поскольку *другие стихи* в данном контексте не только вторая половина книги, но и буквально *стихи про другое*.) В первый момент непривычный выбор композиционного решения слегка озадачил. Дударев печатается редко, в своей «Юности» в амплу стихотворца не появляется, а то, что публиковалось то в «Неве», то в «Паровозе», было столь неожиданным, что и впрямь хотелось поскорее увидеть не избранные, а написанные именно в последние годы стихи. Я имею в виду прежде всего стихотворение «Поэты», поразившее, и, судя по всему, не только меня, «лирической дерзостью:

Мы, поэты последнего ряда,
 Допиваем прокисший абсент.
 Мы — ваш Дант в дебрях рая и ада,
 Вашей жизни последний момент.

Серебра нам с тобой не досталось,
 Да и золото тут не в чести —

Но надеемся, самую малость,
И колосья сжимаем в горсти.

Соберем семена и коренья,
И, путем продвигаясь зерна,
Мы роняем стихотворенья,
Словно шишки сосна.

Нам и ворон — благая примета,
И княжна — придорожная б...
За сто первый лесной километр
Нас положено отселять.

Мы — полынь!
 Мы — Путивль!
 Мы — Непрядва!
Мы — надгробий чужие цветы —
Самозванцы последнего ряда,
Прощельги последней черты. (2013)

Прочтя процитированный текст сначала в «Паровозе», но затем и в «ЛГ», каюсь, слегка удивилась. Да быть не может, чтобы в столь специфическом СМИ не заметили откровенной, с точки зрения «ЛГ», команды, крамолы! Чтобы в объеме нескольких четверостиший поэт втихаря аукнулся не только с Блоком и Есениным, но и с Ходасевичем с его «Путем зерна» и Вознесенским времен «Гойи», и «Треугольной груши» (1967)? («„Вы Америка?“ — спрошу, как идиот. / Она сядет, сигаретку разомнет. / „Мальчик, — скажет, — ах, какой у вас акцент! / Закажите мне мартини и абсент“»). Это же откровенно живые цветы на чужих надгробиях? Наверняка заметили, но...

Впрочем, это я так, апропо. Идущее «на ущерб» противостояние «правой» и «левой» группировок литературного фронта к новой книге Валерия Дударева прямого касательства не имеет. Вот к ней и вернемся.

Итак, вместо ожидаемого ординарного избранного автор предложил в жанре «размышлений о смыслах» поэтический автопортрет. Своего рода *Взгляд поэта* с наблюдательной вышки середины дороги жизни на самого себя. Причем не анфас, в позе искусно выбранной, а словно бы и посредине нигде, вроде как с откидного стула в последнем ряду и в то же время словно бы *Над*, то есть с какого-то не одним личным опытом нажитого Высока. Отсель, думаю, и заключающая «Ветлу-2» перепечатка серьезно-пространных и, видимо, особенно дорогих В. Ф. Д. мнений (не рецензий) о его творчестве: Льва Аннинского («Недорисованные лица») и Инны Ростовцевой («До игры»).

Словом, читатели и почитатели Дударева будут наверняка довольны, а вот меня появление в избранном разделе «Критика и литературоведение» поставило в затруднительное положение. Нет, нет, дело не в содержании опубликованной в поэтическом сборнике критической прозы. Напротив! Замечательно тонкое и «легокасательное» эссе Игоря Михайлова (послесловие к первому изданию «Ветлы»), как и статьи Аннинского и Ростовцевой, более чем убедительны. И в частностях, и в рассуждениях о творчестве поэта в целом. В неформатной и поперечной моей литпрактике это чуть ли не единственный случай, когда, не лукавя и не уклоняясь, могу с чистым сердцем проголосовать: со всеми соображениями

и оценками коллег согласна. Разногласия касаются деталей, да и то не принципиальных. Полностью солидарна и с тем, что некогда отметили и оценили и вышеназванные большие поэты.

Зачем в таком разе «берусь за перо»? Во-первых, потому, что все эти работы написаны до того, как у прежнего Дударева стали случаться Другие стихи. А во-вторых, потому, что неожиданно для себя вздумалось (именно вздумалось, а не вздумала) рассмотреть предложенный в избранном автопортрет в неожиданном ракурсе, то есть в ракурсе «Акробатического этюда», одного из самых загадочных, на мой взгляд, его стихотворений последних лет. А заодно и проверить: возможно ли на примере созданного современным поэтом произведения сделать то, что иногда проделывала с текстами русских классиков: разобрать их по частям Речи¹, как и советовал некогда Чехов по прочтении лермонтовской «Тамани». Не будь в сборнике раздела «Критика и литературоведение», я бы на такой «эксперимент» вряд ли бы решилась. Тем более что до сих пор, кроме как с Вознесенским («Ностальгия по-настоящему»), попытки такого рода оказывались неудачными. Выбранное на слух поэтическое сочинение оказывалось подобием новогодней елки, которая при самом бережном, казалось бы, прикосновении сбрасывало и украшавшие ее цацки, и иголки. И тем не менее я по-прежнему убеждена: истинная поэзия, в отличие от фестивального столоверчения анилиновых словес и метафор, данной операции не сопротивляется. Ведь даже заласканный критикой авторский талант вовсе не всегда уверен, что прорастил в «потайственную» глубину увиденное глазами, а то, о чем мыслил только «теньями мыслей», «одел в плоть» (автор использованных *имажей* Сергей Есенин).

Итак, попробуем же взглянуть на образ созданного Дударевым поэтического мира с рискованной высоты заключающего итоговый сборник «Акробатического этюда» («Ветла», 2014, с. 171–172). Не утруждая любителей российской словесности поисками текста, цитирую и его без изъятий:

Из снегопада в снегопад.
Он встречным елям лишь по пояс.
Вперед,
 назад,
 мостами над
По осевой промчится поезд.

Им завершат полутона
Несовершенство старых станций.
В нем осевого полотна
Полупоэмы,
 Полустансы.

Его вагоны-короба
Взлетают запросто на кряжи.
И пустослов, что жизнь — борьба,
Еще страшнее, горше даже.

¹ Словосочетание части речи употребляю не в прямом школьно-учебном значении, а в том, какое имела в виду Марина Цветаева: «Поэт — издали заводит речь. Поэта — далеко заводит речь».

Непобедимы боль и труд.
Боль, труд и боль остановимы.
Акробатический этюд!
И поезд рушится в долины.

Летит над склонами.
Стык в стык.
Под ним гудящие полотна.
На абордаж ли,
напрямик?
Поодиночке ли,
поротно
Пусть воскресают!
Пусть живут!
Смешно стесняться жизни тленной,
И на каких-то пять минут
Вдруг стать, как музыка, — вселенной.

Пусть подстаканники звучат!
Звучат при полном бесколесье!
Неотличимы рай и ад
В сиреновом многоголесье...

Железный поезд взад-вперед,
Стесняясь собственной болтанки,
Вдруг удивится и замрет
Под семафор на полустанке.

Назвав «Акробатический этюд» заключающим сборник произведением, я чуть-чуть погрешила против истины. Формально «Ветлу-2» замыкает «Северный натюрморт», но формально. Фактически же заложенные в избранное смыслы итожит именно это стихотворение. К каким же (предположительно) итогам-выводам выводят читателей «Ветлы-2» процитированные стихи? Они же не только «примагничивают», но и смущают неудобной для выводов незавершенностью завершающих строк. Так с чем же, заодно с насельниками забуксовавшего поезда, удивившись, «замрут» и читатели новой «Ветлы»? Предполагаю, что, как и я, сначала лишь всласть подивятся акробатическим эскападам (цирковым трюкам) неожиданного «сальто-мортале». Они же к иным ландшафтам души прилепились, «влипли», что называется, «сердцем», и к осенним дударевским беспутьям, и к зимним внезапным заносам. Правда, в первой части избранного, то есть в репринт-«Ветле» нас вместе с автором и его вечными спутниками (Пушкин, Есенин и т. д.) влекло-болтало по родимому бездорожью не столько метелью или распутицей, сколько тоской бесконечных равнин:

Одинокое, злое раздолье.
Дело к осени. Травы горят.
Бесполезные грубые колья
Из разбитых заборов торчат.

Хмыкнете иронически — так то ж перепев! Или повтор. А вот и нет. Иное: *втора!*

Осень. Дождь. Шелестит осока.
Мы не в силах себя сберечь.
Это горестно и жестоко.
Ну и пусть. Не об этом речь...

Видеомелодика второй части сборника — другая, настырно снегопадная. Да и снег здесь иной. Скорее, лермонтовский: «И этот снег лучистый, серебристый и для страны порочной слишком чистый». Впрочем, ни пурги, ни чрезвычайных заносов согласно купленным билетам пока не предвидится. Не пурга за вагонным стеклом, а рядовая метель, и снегопад умеренный, пусть и давний, он «встречным елям лишь по пояс». Словом, и по расписанию все как обычно, и маршрут общеизвестный — «по осевой». Мчится, мчится «наш Паровоз». Помните? «Наш паровоз, вперед лети! / В коммуне остановка. / Другого нет у нас пути. / В руках у нас винтовка». Доподлинно тот, разумеется, на приколе — реликвия, в музее революции и боевой славы. Зато почти точная его копия, как следует из разбираемого на составляющие «Этюда», в рабочем состоянии. Не останавливаясь, не притормаживая, взлетая «запросто на крижи». И мимо — мимо! Всегда, непременно! Мимо даже станционных времянок, прихорашивая попутно снежной гризайлью неблагообразие Великой некогда Стройки.

Летит над склонами.
Стык в стык.
Под ним гудящие полотна.
На абордаж ли,
напрямик?
Поодиночке ли,
поротно
Пусть воскресают!
Пусть живут!

Но что это? Какой «пустомеля», разворачивая рулон осевого полотнища², черным по белому вырисовывает на развернутом метелью полуватмане сочиненные а-ля прима «полупоэмы, полустансы». О чем? Да о том, что жизнь есть борьба. А труд и боль сгинувших в безвестности энтузиастов словесно «остановимы». Назвать поименно авторов лиро-эпических полупоэм, воспевающих заслуги «павших в борьбе роковой», невозможно: имя им легион. А вот полустансы... Они-то и впрямь уникальны.

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни (*Пушкин А. С. Стансы*).

² Как видим, Валерий Дударев, надеясь, что мы не забыли о разных значениях слова полотно (и ткань, и картина, и подрамник с натянутым на него холстом, и даже большой эпический роман) использует его как образ двойного зрения. Полотно в «Акробатическом этюде» — это и бумажный рулон, разматывая который художники пишут-рисуют агиттекстовки, и одновременно железнодорожное полотно, то есть железнодорожный путь.

Столетье с лишним — не вчера,
 А сила прежняя в соблазне
 В надежде славы и добра
 Глядеть на вещи без боязни (Пастернак Б. Л.).

Про содержание полупоэм Дударев, конечно же, не умолчал. И слоганы агитплакатов, нестираемо вклеенных даже на рычаги спешащего в Коммунизм Паровоза, перечислил. Не позабыт, а как же? и подвиг Гагарина, и слава его всемирная. Ну, прямо по есенинскому «Преображению»: «Эй, россияне, ловцы Вселенной! Неводом зари зачерпнувшие небо! Трубите в трубы». Так ведь и впрямь затрубили, чтоб «на каких-то пять минут вдруг стать, как музыка, — вселенной». Без траурных всхлипов в адрес первых насельников легендарного Паровоза тоже, как видим, не обошлось. Пусть, мол, да здравствуют истлевшие «до косточек» первопроходцы! Пусть себе воскресают из мертвых! Лишь бы не маячили вечным укором! Жизни «всамделе» живущих не застили, не мешали! «Смешно стесняться жизни тленной»!

Короче, в акробатическом *сальто-мортале* Валерия Дударева осевые фокусы советского пустомельства, выражаясь советским же языком, тщательно заприходованы. А авторское к ним отношение интонационно выражено. Так четко выражено, что и сомнений не возникает: к разрисованному «пустомелями» историческому полотну лично В. Ф. Дударев рук не прикладывал. Где же тогда искать авторский *Взгляд* и на самого себя, и на Образ современного мира, в «Ветле-2» явленный? Вот тут-то, надеюсь, и проявляется преимущество выбранного ракурса, ибо и мы, читатели, как и автор «Акробатического этюда», находимся в зоне «двойного зрения». И высоко над непрощедшим прошлым («Под ним гудящие полотна»), и вместе, одновременно, внутри «железного поезда». В последнем, точнее, предпоследнем купе. Последнее и в поездах особого назначения отведено под отхожее место. И что же там происходит? Да ничего вроде особенного:

Пусть подстаканники звучат!
 Звучат при полном бесколесье!
 Неотличимы рай и ад
 В сиреновом многоголесье...

На беглый поверхностный взгляд и впрямь ничего особенного Внимательный же читатель, взглядевшись вторично в ключевое четверостишие, почти наверняка угадает переключку с хрестоматийной «Вакхической песней» (Музы... Разум... Милые девы...). За что иное стали бы чокаться персоны *non grata* за запертой на щеколду дверь в «купе поэтов»?! «Вакхическая песня» тоже, между прочим, не в хорошую пору на свет появилась! То ли в 1825-м, то ли даже зимой 1826-го, когда, как выразился Юрий Тынянов, «время вдруг переломилось». Переломилось и замерло, застопорилось на сорок велико-снежно-державных зим. Вот и у нас на дворе «Бесколесье». Правда, в отличие от дожелезного бездорожья эпохи «Дорожных жалоб», слишком уж «полное». Все до единого колесики по дороге в Светлое будущее незнамо где растеряли. Даже солженицынское Красное Колесо (огромно зловещее поначалу) и то в кювет закатилось. Так что «Вакхические песнопения», к сожалению, не про нас. Нам бы чего попроще. Однако по возможности что-нибудь все-таки жизнеутверждающее. С официозом, понятно, не связанное, но при этом отнюдь не «расстрельное». Словом, нечто про просто жизнь, смыслом которой сама жизнь и является. Не советская, не антисоветская, вообще жизнь, ничем, кроме

самосохранения, не озабоченная. Выбор был трудным, Дударев выбрал на удивление точно: «сиреневое многоголосье».

Сиреневый туман над нами проплывает.
Над тамбуром горит зеленая звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкой я прощаюсь навсегда.

Говорят, год рождения «Сиреневого тумана» был самым страшным — 1937. Но лично я услышала эту песенку позднее, в первую свою университетскую зиму (1951—1952). И не при самых зловещих для «великой эпохи» обстоятельствах. За ничтожную провинность (потерю марок, каковые клеивались в новенькие комсомольские билеты) на мне повисло взыскание. Чтобы его снять, комсорг нашего курса отправил провинившуюся растеряху в рабочий городок, где проживали отделочники, доводившие до сияющих красот новое здание МГУ. По сведениям, имевшимся в комитете комсомола, в рабочем городке функционировало молодежное литобъединение. То, что умелые и ловкие парни, с которыми мы читали и разбирали стихи, не обычные выпускники художественно-промышленных училищ, а заключенные, сообразила позднее. Но что-то необычное почуяла сразу. Ребята и замылись, и даже смутились, когда, расхрабрившись, лягнула: хотела бы, мол, сводить вас всех в Третьяковку. Насторожила и тщательность, с какой проверялись мои «документы». Не только внизу, при входе в двухэтажный барак, но и на посту перед мастерской, в которой отделочники вырезали на гипсовых кругляках будущие фигурные барельефы.

Коридорный вертухай по окончании «литературных занятий» придиричиво вчитывался в «бумаги», часа полтора назад им же просмотренные. Он сидя, я стоя... А из-за неплотно прикрытой мною двери все несло... все повторялось: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает...» Так, может, и коридорный охранник неспроста не спешил? Может, не из-за моих бумажек не торопился захлопнуть дверь и испортить песню? Может, что-нибудь все-таки и он понимал... Прикидывая по ходу дела, где мог бы услышать ее Дударев, родившийся три десятилетия спустя, удостоверилась: «сиреневый туман» и сейчас распевают. И туристы, и лагерники, и эстрадные шоумены. Претенденты на авторство даже «собачатся», поскольку бытует множество вариантов, словесных и музыкальных. Сохранным полностью, до запятой, остается лишь первое — сиреневое — четверостишие. В чем тут секрет? Не знаю. Впрочем, не исключаю, в порядке гипотезы в стиле фэнтези, что это штамм странноватого вируса, вызывающего у россиян наследственные, не опасно сентиментальные недомогания. Но это для нас с вами не опасные, а для поэтов, если они и впрямь художники, а не ударники книгопрядильной индустрии, «неразличимость ада и рая» («возвышающего» и убаюкивающего совесть и память обманатумана и «тьмы низких истин») без серьезных осложнений, как правило, не обходится. Порою даже смертельным тройным сальто-мортале кончается. Иногда, что чаще, творческим тупиком. У автора «Ветлы-2» случай, что и предполагалось, особый: всего лишь не предвиденная Подорожной остановка «под семафор на полустанке».

Семафор, надеюсь, технически исправим, а остановка попутная. К тому же чувство дороги, удивление дороги у Дударева в крови. А такие пути — неисповедимы.

Господи, в пучину нет возврата!
Как же это вдруг произошло?
Гулкое гуденье Арарата
Голубя поставит на крыло...

Где пахать и что потом посеять?
Хворосты таскаю на горбу.
Пусть потом слепцы и фарисеи
На мою позарятся арбу.

А пока — чумазый и премудрый —
В шалаше, где звезднее всего,
Я займусь с девчонкой златокудрой
Продолженьем рода своего. (2013)

А про то, что ждет нас всех впереди — там, за «кряжами» и «долинами» очередного *смутного времени*, — не знает сегодня никто.

Алла МАРЧЕНКО

VERSUS CONSERVAT OMNIA

Алексей Пурин, Почтовый голубь: Собрание стихотворений 1974/2014. — СПб.: ЗАО «Журнал „Звезда“», 2015. — 448 с.

На недавнем творческом вечере Алексея Пурина, посвященном выходу в свет его новой книги «Почтовый голубь», кое-кто назвал представленные в ней стихотворения «бесстрастными». Более странное утверждение трудно себе представить. Тем более что прозвучало оно из уст именитого литературоведа.

Обжигающая страсть в самом исконном смысле этого слова доверху наполняет новую книгу петербургского поэта, вобравшую все лучшее, что написано Алексеем Пуриным в столбик за сорок с лишним лет. Благодаря некрупному кеглю под обложкой с изображением почтовой марки уместилось семь поэтических книг: «Архаика», «Евразия», «Созвездие рыб», «Сентиментальное путешествие», «Неразгаданный рай», «Долина Царей» и — собственно «Почтовый голубь», составленный из стихов, написанных главным образом в нулевые и десятые. А еще — «Сонеты к Орфею» Рильке, пример исключительно плодотворной переводческой работы. При этом многое в собрании стихотворений не вошло — нет здесь, например, знаменитых «Апокрифов Феогида» — книги-мистификации, быть может, заслуживающей именоваться самой страстной из созданных поэтом.

Описываемые в стихах Алексея Пурина любовные переживания не вызывают сомнений в их подлинности, но при всей своей самоценности эти страстные описания отнюдь не являются самоцелью. Влечение, любование, восторг, нежность, отчаяние — вся гамма драгоценных эмоций и состояний, сопровождающих мысленное или действительное общение с объектом любви, в смысловом пространстве стихотворения оказываются сложноподчиненными элементами единой метафоры — метафоры жизни. Ревность, страх траты, безудержное, почти маниакальное стремление к обладанию — все это, разыгрываемое в рамках конкретной любовной ситуации, неизменно проецируется на самую жизнь. Попытка овладеть этой удивительной — одновременно чудовишной и прекрасной — жизнью, чтобы удержать, уберечь ее от распада, составляет один из главнейших внутренних мотивов лирики вообще и пуринской в особенности. Сохранить вечно ускользающую красоту материального мира в языке — в этом состоит миссия пуринского Эроса (если не сказать — Агапэ).

Сам язык (в максимально широком смысле слова — как универсальная категория культуры) является объектом страсти. В основе любого творчества обнаруживается вождление:

Ибо самый сильный соблазн — в природе
мысли, кисти, музыки, камня, слова.

Эротична у Пурина даже муза, вернее — сам предводитель божественных сестер, общение с которым в одном из стихотворений описывается в откровенно земных, телесных формах. Небесный кифаред в отношении лирического субъекта проявляет себя как любовник, что вполне соответствует повадкам античных богов, благоволящих к отдельно взятым смертным. Здесь перед нами — метафора стихописания: мусическое соитие означает и физиологический, и творческий акт.

В сущности, стихотворец всю жизнь пишет о платонической любви в ее коренном, а не в современном, обывательски опошленном понимании термина. Он знает:

...Одного лишь гуртиком не разделишь —
в — красоте — рожденного Диотимы.

Интимные переживания героя этого и других стихотворений реализуются в чрезвычайно уплотненном культурно — историческом контексте. Так, например, в стихах, составляющих давно написанный цикл «Афинская школа» (книга «Созвездие рыб»), любовное томление неотделимо от тоски по мировой культуре. А в новом стихотворении «С арабского» после печальной констатации невозможности воскресить во плоти мучительно вспоминаемую юношескую любовь следует намерение

возвести прекраснейшее зданье,
дивный храм...

То есть сохранить эфемерное в слове, попросту — увековечить, встроив в мозаику культуры.

И все же, уводя живую жизнь через запасные ворота «второй реальности», приходится с горечью наблюдать, как все, что остается в первой, неизбежно рассыпается в прах. Более того, не столь прочным оказывается и убежище — гибнет и сама культура, длительность существования которой зависит от сохранности материальных носителей, в том числе — людей. Недавние события в мире — красноречивое об этом напоминание. Пыль разрушенной Пальмиры зловещим облаком висит над человечеством, еще не осознавшим всей чудовищности этой утраты.

Гибель культуры — одна из главных тем «Почтового голубя». Переживания поэта, живущего в Петербурге начала XXI века, оказываются созвучными тому, что, быть может, чувствовали просвещенные римляне на пороге темных веков и европейские интеллектуалы периода мировых войн. Закат Европы осознается как личная трагедия. Причем наплыв «варваров» — не причина, а следствие уничтожения мира, потерявшего самое себя, утратившего смысл существования. «Распалась связь времен» — эта гамлетовская констатация снова актуальна. Разрушен не только временной континуум, но и живая связь между современниками. Чего стоит название одного из циклов — «Сербско-хорватский словарь». Здесь — явное противоречие, абсурд: сербам и хорватам переводчик не требуется, потому что и те, и те

говорят практически на одном языке. Но в том-то и заключается трагедия современного мира, что даже в поле родной речи невозможно понять друг друга. Вавилонское смешение языков как обратный эффект глобализации и провальной политики мультикультурализма? Оставим составление формулировок культурологам. Если удел поэта — быть чувствительным своего времени, то эта печальная миссия Алексею Пурину по плечу.

Метафора гибели культуры выкладывается из множества драгоценных осколков, и наиболее часто используемые среди них — античные реминисценции, по количеству (и качеству) которых автор «Почтового голубя» среди современных русских поэтов — едва ли не рекордсмен. Не случайно выпущенная Пуриным-эссеистом пятью годами ранее книга прозы «Листья, цвет и ветка» открывается эссе «Повернутый вспять», в котором рассматривается принципиально важный для Пурина-стихотворца вопрос, заданный одним его незадачливым собеседником: «Отчего нынешние поэты так любят использовать античные реалии, рядиться в туники?» Как писал сам Пурин в другом своем эссе, «одно из главных свойств всякой поэзии — неразрывность архаического и новаторского, ее Янусово двуличье». Автор «Почтового голубя» предстает перед читателем живым воплощением этого «двуличья», эталонным архаистом — новатором, повернутым вспять и одновременно устремленным вперед, как бегущий куда-то и одновременно оборачивающийся назад человек на античной вазе, как стих, по-латыни — *versus*, то есть «возвращающийся».

Любителям термина «актуальная поэзия» давно пора понять, что самым актуальным в искусстве является именно архаика, тот самый «музейный хлам», «архивная пыль». Что и говорить, вся поэзия Алексея Пурина (на 99 процентов — рифмованная силлаботоника в строгих корсетах классических размеров) — убедительный ответ скептикам, по тем или иным причинам стесняющимся регулярной поэтики, тяготеющим к верлибрам и прочим формам, торжествующим в современной европейской лирике. Поэты Запада оправдывают отказ от рифмы исчерпанностью словаря. Одно из главных преимуществ пишущего на русском и переводящего на русский Пурина заключается в том, что в его распоряжении находится огромный и практически неисчерпаемый арсенал звуков. Кто сказал, что русский рифмованный стих обречен, что запас созвучий исчерпан? Кажется, в свое время на нечто подобное намекал даже Пушкин. Однако живущий в XXI веке его прямой наследник, во-первых, не испытывает никакого стеснения по поводу кажущегося дефицита рифм (в подлинной поэзии оказывается уместной даже рифма «когда-всегда»), а во-вторых, с завидной легкостью ставит в конце поэтических строк имена Гелиогабала, Загрея, Тота, Федра, Энея, Ипокрены, Лолиты. В рамках одного стихотворения аukaются Эпир, Финикия, Адриан, Клио, Нерон, Коммод, причем половина — в качестве элементов рифм. Впрочем, имена собственные рифмует наш современник не столько в узкоприкладном, версификационном смысле, сколько в гораздо более широком — общепозэтическом, общекультурном. В систему пуринской рифмовки входят не отдельные слова, а целые культурно-исторические пласты. Продолжая задействовать неисчерпаемый материал классической Греции и Рима, Пурин постоянно расширяет поэтическую ойкумену — так, в одном из новых циклов поэт сосредоточил свое и читательское внимание на царских династиях эллинистической Сирии. Деметрию Сотеру, Антиоху VII Эвергету, Ариобарзану Филоромею и многим другим забытым и полужабытым теням, населяющим факультативные разделы всемирной истории, посвящен один из новых пуринских циклов — «Ад», несколько стихотворений из которого вошло в книгу. Неважно, что точность передачи исторических фактов иной раз страдает. Главное — целокупное восприятие эпохи. А еще главное — созерцание этой эпохи во вневременном контексте — как

современной себе. Нет иного континуума, кроме континуума культуры, где одинаково актуальными оказываются события, рассеянные по разным тысячелетиям. А неточности здесь — сродни мнимой забывчивости Мандельштама, у которого Пенелопа в ожидании Одиссея не ткёт, а вышивает.

Отношение к античному наследию у Пурина столь трепетно, что в одном из стихотворений его лирический субъект полувсерьез намерен помолиться христианскому Богу «за богов нелепых, прозябающих ныне в музейных skleпах, — за мальчишек вздорных, за милых шлюх» с тем, чтобы Он оставил нам, фантазерам и стихийным язычникам, наши «странные сны». В своем обращении к Всевышнему лирический двойник поэта договаривается до весьма рискованных сопоставлений:

Да и так ли Твои рыбаки-евреи
в обиходе божка афинян мудрее?
Кто ловчей корабельную ладит снасть?
Прозорливей о бродях? Нужней при родах?
Кто печется о сводах, походах, одах?
Кто, Тобой не любим, нам не даст пропасть?

При этом не стоит обольщаться: боги есть боги, они злы, ревнивы и обидчивы, как дети. Заигрывать с ними опасно, они не прощают смертным их претензий на равенство и прочих нарциссических фантазий.

А с богами в гляделки нельзя играть
их хотеть их лютую плоть
потому что вправе с тебя содрать
отраженье свое Господь.

И даже в этом языческо-монотеистическом миксе проявляется страстное стремление сплавить воедино разъединенные, казалось бы, навеки религиозные, а точнее — культурные пласты. Эту работу когда-то проделал Ренессанс, и Пурин со своим мнимым двоеверием — его законный наследник. В его стихах соединяется, казалось бы, несоединимое. И — сохраняется все.

Иной раз складывается впечатление, будто автор поставил перед собой задачу вместить в свои опыты все, что для него дорого — как будто готовясь к вселенской катастрофе, в которой погибнет многое, но есть надежда, что стихи — останутся. Так или иначе, тесный аллюзивный ряд — узнаваемая черта поэтики Пурина, где почти каждая строфа — это плитка из спрессованных смыслов. Пурин не создает головоломок, не стремится запутать читателя, просто для него это — единственно возможный язык. Почти каждая строчка здесь — как гиперссылка, уводящая в другие пласты антропоморфной жизни, иные планы бытия. Просвещенный (а значит — посвященный) читатель «кликает», и пространство лирического стихотворения в секунду расширяется до размеров Вселенной. Так, подобно созидающему мир Большому взрыву, и «работает» эта поэтика.

Время от времени кто-то жалуется, что сквозь пуринские строфы приходится «продираться». И это святая правда. Даже самый искушенный читатель нет-нет да и запнется на чем-нибудь, споткнется по незнанию о не совсем прозрачный намек, заблудится в густом лесу аллюзий. Простейший пример: тот, кто никогда не бывал в городе Пушкине, едва ли догадается, что «немецкий истукан» в одном из ранних

царскосельских стихотворений — то памятник Эрнсту Тельману, когда-то подаренный городу немецкими рабочими. Впрочем, биться лбом об эту бронзу не обязательно — настоящим стихам не могут повредить даже темноты и выпадающие смысловые звенья. И даже читая многочисленные «путевые» стихи Алексея Пурина, приглашающие разделить радость соприкосновения с роскошью веков, не обязательно иметь такой же туристический стаж — помнить, скажем, как выглядит потолок Пантеона в Риме или Серапеум в Тиволи.

Вспоминается описанный то ли Фрезером, то ли Проппом архаичный обряд инициации — там, где юношам предписывается пробираться сквозь узкий проход, коридор, образованный острыми сучьями, — это непросто и не совсем безопасно, однако в финале посвящаемого ждет вожденная новая жизнь — жизнь посвященного, знающего, облеченного магической властью над сущим. По сути, обряд инициации означает смерть и новое рождение — так и в культуре, превращающей живую двуногую заготовку в человека, его спеленатую душу — в бабочку. Стихи — и их написание, и чтение — могут рассматриваться как постоянное умирание-для-воскресения — умирание в автоматизме существования, воскресение в поле вечных смыслов. К поэзии Алексея Пурина это относится в полной мере.

Как бы то ни было, все в конечном итоге может оказаться тщетой (едва ли не наиболее часто повторяющееся в стихах Пурина слово). Но даже это не обнуляет затраченных усилий, потраченной жизни. Финал пуринского «Памятника» обнажает трагическое сознание художника, с античным стоицизмом противостоящего абсурду существования:

Но, Муза, оцени — с какой паучьей силой
противилось перо величью пустоты...

«Пустота» у Пурина — не та буддийская сияющая пустота, которая, если вдуматься, пустотой вовсе не является, и не житейски понимаемая пустота как абсолютный вакуум, отсутствие как таковое. Пустота здесь — это не просто синоним смерти, это — отсутствие подлинной реальности, а единственно возможная реальность — это все *в-красоте-рожденное*. Но истинный трагизм человеческой ситуации заключается в том, что любовь и красота не могут обрести земного существования вне материального воплощения, вне телесности. То есть — вне преходящего, ускользающего, вянущего прямо в руках. И уберечь это, а точнее — дать этому пресуществоваться, обрести новую жизнь можно только в стихах: страстных, грешных, мучительных, имеющих разных адресатов, но в конечном итоге обращенных к Тому, Кто сохраняет все.

И что стихи? — плоды греха,
питомцы смерти, дети страха...
Но только в них, как ни верти,
живет незримый свет, который
позолотит и взаперти
листву за самой черной шторой.

Александр ВЕРГЕЛИС

ПОЭТ НЕ ДЛЯ ПОЭТОВ

Валерий Скобло. О воде и воле. СПб.: Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга, 2015.

Читая новую книгу стихов В. Скобло, я забывал о том, что и сам занимаюсь тем же ремеслом, и настолько был захвачен чтением, что тут же перечитал две предыдущие книги поэта, вспоминая свои первые впечатления и сопоставляя их с новыми.

В начале 70-х я посещал разные ленинградские литобъединения, в том числе и ЛИТО Александра Кушнера. Там я и услышал впервые стихи Валерия Скобло. Их разговорная интонация, напоминающая об устных истоках поэзии, острота переживания времени, внимание к его незначительным вроде бы приметам и внутренняя энергия, аккумулированная в традиционной форме, сразу привлекли мое внимание. Стихи хорошо запоминались, их хотелось повторять про себя — может быть, потому, что я легко узнавал в них и свое тогдашнее настроение. Так что, когда в 1992 году вышла первая книга стихов Валерия Скобло «Взгляд в темноту» («Советский писатель», Санкт-Петербургское отделение), я читал ее, как будто вспоминая впечатлительные двадцатилетней давности. Вот, например, однажды врезавшиеся в память строки, сохраненные ею по сей день:

А ты засмотрелся и злишься,
Хотя согласился давно,
Что даже удача излишня,
Когда тебе больше дано.

Или это:

Ветер страхом набух и позором.
Даже он не касается нас.
Знает, видно, что мы под надзором
Незаметных и пристальных глаз.

Если голос отняли, о Боже,
Сохрани мою память и боль —
Дай запомнить мне лица прохожих
И бумаге доверить позволь.

И любовь, и надежда, и вера
Обожгут окровавленный рот...
У молчания тоже есть мера,
И я знаю, что время придет.

Или стихотворение о больном «Предчувствием жизни внезапно...»:

Он вспомнил: был сон и принес
Такую надежду на счастье,
Что он задохнулся от слез.
Пижама накинув на плечи,
Он понял, присев на кровать,

Что жизни чудесной и вечной
Теперь ему не миновать.

Помнился исторический цикл, в котором Скобло так вживался в трагически противоречивые образы декабристов и народовольцев, что они словно переносились в наше время. Например, «Герман Лопатин. Октябрь 1884»:

А время, как нитку иголка,
Людей за собою влечет,
На подвиг, на жертву без толка
Тебя и других обречет.

Но в вихре событий тревожных
Ты веришь до боли в груди,
Что время чудес невозможных,
Возможно, еще впереди.

Восхищали меня и такие вроде бы второстепенные особенности поэтики, как удадения, приходящиеся на частицы «не»:

Ты вслух еще не повторяешь
Той мысли, к которой пришел,
И нить рассуждений теряешь,
Садясь за обшарпанный стол.

Или «бы»:

Что за день был, какое число,
Солнце или осенняя слякоть,
Не припомню, но было светло...
Боже мой, только бы не заплакать.

А заканчивается первая книга такими строками:

Если ты здесь чужой на последнем похмельном пиру
И сосчитаны все расставанья, обиды и вины...
Черт-те что ты бормочешь на высекшем слезы ветру,
В свой окопчик вгрызаясь средь вымерзшей русской равнины.

Вот этот «окопчик» меня особенно трогает и вдохновляет.

Самосознание автора очень точно выразилось в названии цикла «Записки вашего современника». Позднее, в 2011 году, под этим же названием вышла вторая книга («Геликон Плюс», СПб.). Очевидная отсылка к блоковской «Жизни моего приятеля» призвана, как мне представляется, обозначить противоположную установку: если там действует двойник поэта, то здесь нет разделения на поэта и человека. Отсюда — отказ от малейшего намека на позу, от какой-либо высокой миссии поэта, кроме стремления выразить то, что волнует автора и потенциального читателя. Вспоминается концовка стихотворения А. Кушнера «Отказ от поэмы»: «Но жизнь в каком-то главном смысле / Акт героический вполне». Не случайно и стихи приравнены к запискам, а последний раздел второй книги назван «Это всего лишь стихи».

Валерий Скобло постоянно включает в стихи снижающие пафос детали. Среди персонажей его стихотворений встречаются соседи по больничной палате, случайные попутчики, ссорящаяся пара с подслушанной перебранкой, попросивший прикурить прохожий, а иногда просто некий «он». Темами его стихов могут стать будни НИИ с разговорами в курилке, замена газовой колонки, борьба с земляными осами на даче. Но никогда эти темы не ограничиваются простым описанием, всегда есть какой-то выход за их пределы.

А вот как разрешается «большая» (тютчевская) тема:

Жить умом ни за что не хотят —
Только верой, влеченьем, недугом...
Вот и топят, как малых котят,
Потешаясь предсмертным недугом.

Ни своим, ни чужим... Боже мой!
Утешаясь судьбою безликой...
Что за рок над великой страной?
Ведь без всяческих скидок — великой.

Но ценою... Какою ценой...
И какой неподъемной виною...
Лучше вправду пройти стороной,
Чем попасть в этот ливень стеною.

Только капли дождя на лице,
Только градинки этого града...
С этим поздним прозреньем в конце,
С этим криком прощальным: Не надо!..

В этом стихотворении удивительны разрывы мысли, перемежающей утверждения и опровержения, — и все превращается в какое-то бормотание, в какой-то «неправильный» синтаксис. Излюбленный знак препинания поэта — многоточие. Иногда оно может и завершать строку, и начинать следующую. Может быть, многоточие этих стихов тяготеет к отточию, к фигуре умолчания. Эти своего рода линии разрывов создают некую разомкнутость поэтического пространства. Скобло избегает завершенных формул и сентенций. На таком фоне особенно рельефно выглядят вынесенные на заднюю обложку «Записок...» строки, выражающие четкий нравственный императив:

...И пусть у каждого правда своя,
А общая к лишь иногда,
Я знаю правду о том, кто я,
Откуда иду и куда.
...Налет случайности с мира сотри —
И будет совсем беда...
А скажет время: «Умри!» — умри!
И скажет: «Убей!» — умри!..
Но не убей и тогда.

Валерий Скобло часто примеряет себя к роковым ситуациям. Этот мотив возник уже в первой книге: голоса декабристов и народовольцев сливаются с его собственным голосом. Поэт словно пытается себя, старается представить, как он себя поведет в минуту опасности: «Ах, как славно мы завтра умрем / На ветру, на недогнувшей площади!» («Ночь на 14 декабря 1825 года»), «Может быть, нас убьют на обратном пути — / Здесь, у рынка...» («На смерть Анны Политковской»), «Может быть, всего и надо: / Увидать врага в прицеле, / Автомат на землю бросить / И подняться в полный рост» («Мы так долго жили мирно...»). Эмпатия, отраженная во многих стихах Скобло, всегда убедительна, а не декларативна. Повседневная жизнь тем самым оказывается зыбкой, и тем ценнее становится каждое ее мгновение. Не случайно один из разделов второй книги назван «Примеряя расставание»!

Новая книга Валерия Скобло «О воде и воле» (2015) начинается разделом, названным «Сила слабых». В нем есть стихотворение «Читателю», заканчивающееся такими строками:

Тебя я представлял с улыбкой виноватой,
Похожей на мою... и думал о тебе.

Лейтмотивом этой книги представляется какое-то последнее одиночество, что, однако, не противоречит вниманию к другому человеку, как не противоречит этому вниманию концовка стихотворения, начинающегося так: «Ветром... волною... туманом... да, чем-то такого рода — / Вот кем хотелось стать мне после... после ухода».

...Сосулькой, свисающей с крыши сразу после мороза.
Даже ливнем мгновенным, хлынувшим вне прогноза.

Это ведь тоже неплохо — давать свою воду рекам...
Только не человекам... только не человеком.

Валерий Скобло — поэт не только внимательно вглядывающийся, но и вслушивающийся («Поскольку понял: человек — это его язык, / А не характер, склонности, внешность или привычки»). Отсюда в его стихах (особенно в последней книге) и просторечие, и обилие вводных слов, и современный сленг, и даже междометия. Некоторая небрежность порою тоже служит эффекту спонтанности, непосредственности, а может быть, превращает стихи в подобие импровизации.

Второй раздел новой книги назван «Молитва дурачка» по такому стихотворному «заклинанию»:

Братец-ветер, не дуди так звонко,
Не пугай — заплачет наша сестренка.

Братец-огонь, не тронь наши хаты —
Мы пред тобою разве виноваты?

Сестра-война, пройди стороною,
Стань только мне, а не общей женою.

.....

Сестрица моя, смерть, приходи за мною —
Только не за братом, не за сестрою.

Братец-бог, погляди в наши лица,
Научи иначе... верно молиться.

Вообще Валерий может называть себя атеистом и одновременно обращаться к Богу из глубины сомнений:

В небесах порою вижу ноты,
Иногда и музыка слышна.
Я ведь знаю, Господи, про что Ты,
Мне понятна даже тишина.

Вот приходит Твой печальный вечер,
Отделяя ночь мою от дня.
Отвечать и незачем, и нечем
На вопрос: Ну, почему меня?..

Чтобы ощутил свою вину я,
От меня и далее таи,
По каким делам, меня минуя,
Пролетают ангелы Твои.

Мне ли знать причину их маршрута?
Не причастен к тайнам, но зато
Не скажу, что наказание круто.
Потому и не спрошу: За что?

Эта невнятность самоопределения не может не подкупать — особенно на фоне множества поэтов, «позиционирующих» себя внутри определенной конфессии. Вспоминается из первой книги:

«И все эти звезды затем лишь явил
Господь наш, премудр и пречист...» —
Он начал, а дальше продолжить не смог,
Поскольку он был атеист.

.....
От этой загадки он взгляд отвести
Пытался — и не было сил...
А все эти звезды лишь только затем
Господь своим чадам явил...

Стихи о послевоенном детстве на Петроградской стороне по своей атмосфере перекликаются с таковыми же у Владимира Гандельсмана, но поэтика их совсем другая:

Эти — Барочная, Лодейнопольская...
Вспоминаю — и дрожь внутри.
К старой школе дорожка скользкая...
И Зеленины... Целых три.

...Геслеровский, Петрозаводская,
Корпусная и пара Резных...
И подвалы, и крыша плоская —
Всласть побегал от дворников злых.

Оказалось, не все расчислено
И не Ждановка — миру край.
Как печальна пошлая истина,
Что где нету нас, там и рай.

Я пытался... искал, бывало, я —
Нет возврата к себе домой.
Мост Крестовский и Невка Малая...
— Боже мой, — я шепчу, — Боже мой...

Скобло умеет создавать образ минимальными средствами, например простым перечислением названий. Несмотря на упоминание многих самых разных книг (от Дхаммапады до «Розы мира»), стихи так преломляют прочитанное, что из них выветривается всякая «книжность». В сущности, извлеченные из книг образы становятся его «домашним» миром, перемежаются с близкими людьми (женой, дочерью, внуками).

Удивительно хороши концовки некоторых стихотворений, часто достаточно неожиданные. Например, стихотворение начинается так:

До озера шагом — 15 минут.
Берег пуст... никого... Дождливая осень.
Тихие голоса, что меня зовут,
Там тише — их в сторону ветром относит.

А заканчивается так:

Прожил жизнь... Итог подводить не врачу.
Вряд ли так, как надо: легко и отважно.
На прощание вот что сказать хочу:
Я любил тебя... Это теперь неважно.

Или начинающееся: «Многие спрашивают, что с ними будет „после“? / Очень многие — а где они были „до“?» — после шести строф рассуждений вдруг завершается отказом от их продолжения:

Этот стишок мною был утром сегодня начат...
Подумав, на этой строчке его оборвал.

Стихотворение о подруге, уехавшей в Париж, заканчивается так:

Я счастлив за нее, что мне не повезло
и что другой ей оказался ближе...
И счастлив за себя, что я несчастлив здесь.
...Что я несчастлив здесь, а не в Париже.

Очаровательным сдвигом ударения заканчивается стихотворение о прогулке с другом в Александровском саду с распитием бутылки коньяка:

Да, жизнь прошла — но это не беда,
Есть утешенье: вот Нева и ветер,
Фонтана есть сияющие сети,
И Пржевальский гладит верблюда.

Приведу еще концовку стихотворения о больнице (таких в книге, увы, немало):

Жизнь, не созданная по заказу
И не разыгранная по нотам,
А так, что отсюда — и в вечность сразу,
Которая за любым поворотом.

Мне кажется, что перед нами пример стоицизма: несмотря на печальные мотивы многих стихотворений Скобло, его поэзия поражает бесстрашным приятием мира без жалоб и протестов, что и дарует подлинную свободу. Именно на это работают все художественные средства: и потаенное, не выпирающее, мастерство, предполагающее равенство с читателем и настраивающее скорее на сопереживание, чем на восхищение, и отсутствие ярких метафор как некий эстетический аскетизм, и разговорная, иногда ироничная (или самоироничная), интонация, соответствующая зыбкости, уклончивости в самоопределении и убеждениях, что оставляет лакуны, в которых читателю легко найти место для своего мирочувствия. Такой поэт по своей сути — не для собратьев по перу (нечастый в наше время феномен)!

У меня всегда было ощущение, что Валерий Скобло пишет стихи совсем иначе, чем я. Они как будто появляются на ходу, между делом, иногда вообще без серьезного повода и поэтому, кажется, не требуют длительной доработки и «отстаивания» — зато всегда естественны, как человеческая речь. Хотя в стихах Скобло чувствуется глубокое прочтение самых разных русских поэтов, мне трудно выявить истоки его поэтики, какие влияния он испытал, от кого оттолкнулся, равно как и представить себе поэта в следующих поколениях, который мог бы пойти по его пути. Конечно, самым банальным было бы отнести поэзию Валерия Скобло к «ленинградской школе», но способность волновать, тревожить и утешать своими стихами никакой школой объяснить невозможно. Это свойство поэтической и человеческой личности в их нераздельности.

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ГРАД ИУДОВ В ГОРНЕЙ

Часть 3

Первая мировая война

1 ноября 1914 года Россия объявила войну Турции. Дипломатические отношения были прерваны. В начале декабря 1914 года члены Русской духовной миссии были высланы турецким правительством из пределов Палестины. Большая часть — в Дамаск, для дальнейшего следования в ссылку в Урфу (после освобождения они через Афины, Солунь и Румынию возвратились в Россию). Другая, меньшая группа сотрудников миссии во главе с архимандритом Леонидом через Яффу направилась в Александрию. К ним присоединились почти все насельники Горненской и Елеонской обителей, за исключением самых старых и немощных¹. Перед самым отъездом о. архимандрита Леонида удостоил своим посещением Иерусалимский патриарх Дамиан. Прощаясь с ним, патриарх обещал позаботиться о проживавших в приюте миссии старушках-паломницах, а также об оставшихся на Елеоне и в Горнем русских монахинях².

В Александрии, в районе Мохарам-Бей, Русским дипломатическим агентством в Каире был устроен для беженцев Русский дом. Здесь отец Леонид, миссийские иеромонахи Мелетий (Розов), Иларий (Шамутилов) и иеродиакон Серафим (Шендецкий) продолжали свое служение³. Те же монахини, что остались проживать в Эйн-Кареме, получали на пропитание всего по 10 шиллингов в месяц⁴. Оставшиеся сестры мужественно переносили все лишения. Ради насущного хлеба они вынуждены были ежедневно ходить на тяжелую работу за 15 километров от монастыря, где дробили камень для шоссежных работ⁵.

В 1914 году, когда часть сестер уехала в Александрию, начался голод, а затем эпидемия холеры. От этой страшной болезни в 1916 году умерли восемь сестер. Было принято решение читать акафист Казанской иконе Матери Божией. После двенадцатого прочтения наступил переломный момент. Заступничеством Царицы

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 6.

² Юшманов В. Д. Русские в Святой Земле и Сирии во время настоящей мировой войны. Пг., 1917. С. 56.

³ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 171.

⁴ Там же. С. 6.

⁵ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива. М., 2000. С. 16.

Небесной беда была остановлена, все остальные больные выздоровели. Традиция чтения акафиста сохранилась до сегодняшнего дня. Его читают 12 раз после всеобщей, в престольный праздник⁶.

Положение русских паломников и сестер женских обителей, добровольно оставшихся в Иерусалиме до окончания войны, как и следовало ожидать, оказалось вскоре весьма тяжелым. Так, уже в начале января 1915 года Министерство иностранных дел сообщило Православному палестинскому обществу, что находящееся в его иерусалимских подворьях и греческих монастырях до 200 русских паломниц не имеют пропитания и сильно бедствуют, ожидая скорой помощи. Затем прибывший в Царьград около этого времени настоятель церкви Императорской Российской миссии в Афинах архимандрит Сергей поведал о не менее бедственном положении живших в **Горнем** и на Елеоне сестер русских женских общин. Находясь вдали от города, среди враждебно настроенных мусульманских жителей, без руководства высшей духовной власти и лишены защиты со стороны проживавшего в Иерусалиме итальянского консула и, главное, совершенно не имея средства для пропитания, сестры этих обителей, по словам о. архимандрита, оказались в положении поистине трагическом и возлагали все надежды и упования на Божие милосердие.

Палестинское общество, получив эти тревожные известия, немедленно перевело, через Александрийского консула А. М. Петрова, в Иерусалим итальянскому консулу графу Сенни 5000 франков для выдачи этой суммы оставшимся в Святом Граде служащим общества, неимущим русским паломникам и сестрам женских общин⁷.

В начале мая 1915 года из Александрии была получена телеграмма, в которой сообщалось, что из числа проживавших там, вместе с начальником Иерусалимской духовной миссии архимандритом Леонидом, подведомственных миссии монахов и сестер Горненской и Елеонской обителей, в скором времени предполагают выехать в Россию свыше 30 человек. Эта группа русских палестинских беженцев прибыла к русской границе 15 июля, испытав все трудности и неудобства продолжительного и утомительного путешествия через Балканский полуостров. Из числа возвратившихся на родину несколько человек, а именно 2 иеромонаха и 5 русских монахинь, в том числе монахини Евпраксия и Анна, продолжали путь до Москвы, куда прибыли 18 июля. Все они были утомлены дорогой и имели изможденный, скорбный вид; рассказывая об испытанных в пути лишениях и обидах, многие из них едва сдерживали слезы. В судьбе прибывших принял горячее участие иеродиакон Василий, служивший до начала войны в составе Иерусалимской духовной миссии. Благодаря ему беженцы были временно размещены в подмосковных монастырях, откуда впоследствии разбрелись по различным местностям России⁸.

В середине июня 1915 года через Александрию проезжали отозванные своим правительством итальянские консулы: дамасский — г. Салерно-Меле — и иерусалимский — граф Сенни. Оба эти консулы все время относились к возложенной на них защите русских интересов с редкой предупредительностью и доброжелательностью.

По словам графа Сенни, сестры **Горенской обители** находились в тяжелых условиях: они были не только не обеспечены были средствами для пропитания, но и сама жизнь их была в постоянной опасности. Так, однажды в дождливую зимнюю ночь злоумышленники неожиданно-негаданно напали на беззащитную мирную обитель и, подвергнув домики сестер разграблению, посягнули даже на жизнь одной из них. Напуганным столь чрезвычайным событием и опасаясь повторения разбойного нападения, сестры переехали в Иерусалим и поселились в Елизаветинском

⁶ Там же. С. 25.

⁷ Юшманов В. Д. Русские в Святой Земле и Сирии во время настоящей мировой войны. Пг., 1917. С. 95.

⁸ Там же. С. 97–98.

подворье Православного палестинского общества (ППО). Здесь сестры пробыли все время, пока тянулось судебное следствие, не давшее, однако, как и следовало ожидать, никаких утешительных результатов: убийцы и грабители остались неразысканными⁹.

В иерусалимских подворьях ППО к началу июня 1915 года проживали до 12 паломниц, переселившихся сюда из греческих монастырей; всем им казначей общества г. К. Н. Петропуло ежедневно отпускал кипяток, а наиболее беднейшим раздавал по большой тарелке похлебки. Хлеб для русских паломников доставлялся от патриарха Дамиана, который, невзирая на скудость имевшихся в его распоряжении денежных средств, проявлял свою отеческую заботу в отношении всех почти православных жителей Св. Града, даже не оставляя их в то тяжелое время, когда в Иерусалиме стали истощаться запасы продуктов. Русские паломницы и проживавшие временно в иерусалимских подворьях сестры **Горненской обители** свободно посещали церковные службы в храме Гроба Господня¹⁰.

В октябре 1915 года в некоторых петроградских газетах были напечатаны заграничные телеграммы, в которых сообщалось о принятом турецким правительством решении выслать из Иерусалима оставшихся там с начала войны русских паломниц.

В двадцатых числах того же месяца со стороны Министерства иностранных дел последовало косвенное подтверждение этого известия: руководству Палестинского общества было сообщено, что русский посланник в Каире А. А. Смирнов, ожидая прибытия в Александрию из Иерусалима до 250 русских паломниц, ходатайствовал о незамедлительном отпуске необходимых средств на устройство временного для них приюта.

Рассмотрев со вниманием это сообщение, совет Палестинского общества срочно перевел в Каир в распоряжение русского посланника А. А. Смирнова¹¹ 10 000 франков, полагая, что на первое время, пока не будут изысканы средства на содержание этих невольных изгнанниц, отпущенного кредита окажется вполне достаточно. Вскоре после этого было получено из Александрии сообщение от 3 ноября, в котором сообщалось, что здесь, в Александрии, со дня на день ожидают прибытия из Бейрута американского крейсера «Des moines» с русскими паломниками и что приехать должны все те русские женщины-паломницы и монахини, в числе 250, которые по различным обстоятельствам оставались еще в Иерусалиме.

Причина выезда их из Св. Града — крайняя нужда. Когда Иерусалимская патриархия, кормившая большую часть русских, которые к ней обращались, и дававшая некоторым из них бесплатное помещение в своих монастырях, вынуждена была, за неимением средств, прекратить помощь русским паломницам, то они стали осаждать просьбами о денежном пособии американского консула, который также, вероятно, не располагал свободным кредитом. Поставленный в необходимость оказать поддержку порученным его заботами, лишенным средств к жизни русским паломницам, американский консул стал усиленно добиваться у турецкого правительства, чтобы всем им разрешили выехать из пределов Турции. Эти усилия консула, по-видимому, увенчались полным успехом. Таким образом, своим преждевременным

⁹ Там же. С. 102—103.

¹⁰ Там же. С. 103.

¹¹ Смирнов Алексей Александрович (14 сентября 1857 — 18 февраля 1924), чрезвычайный посланник в Египте. Окончил факультет восточных языков Петербургского университета по «арабско-персидско-турецко-татарскому разряду». С октября 1881 года чиновник МИД: в 1885—1891 годах помощник секретаря посольства в Константинополе, затем второй секретарь; с 1897 г. первый секретарь в Российской миссии в Афинах, с 31 января 1905 года дипломатический агент и генеральный консул в Египте; с 5 августа 1911 года чрезвычайный посланник и полномочный министр. С 1908-го по 1923 год возглавлял Дипломатическое агентство в Каире.

освобождением из турецкой неволи русские паломницы были обязаны исключительно предусмотрительности американского консула, столь искусно сумевшего избавить себя от ответственности за судьбу голодающих русских женщин¹².

Получив извещение через местного американского консула о предстоящем прибытии из Св. Земли в Александрию большой группы русских монахинь и паломниц, А. М. Петров прежде всего принял меры к отысканию для них наиболее подходящего помещения. Задача оказалась не из легких, так как все более или менее пригодные для этой цели помещения не только в Александрии, но и в ее окрестностях были уже заняты учреждениями английских и французских войск. А. М. Петрову после долгих поисков посчастливилось все-таки арендовать большой двухэтажный дом-дачу, окруженный обширным садом и расположенный в одном из лучших городских кварталов. Плата была назначена домовладельцами не особенно высокая — 15 египетских фунтов в год. Благодаря заботам А. М. Петрова приготовления оказались законченными к середине ноября, и русский дом готов был принять под свой кров пострадавших русских паломниц и дать им приют на далекой чужбине¹³.

Паломницы прибыли в Александрию утром 24 ноября 1915 года. Однако вместо ожидавшихся 250 паломниц прибыло всего только 85, в том числе 6 сестер из **Горненской** и Елеонских женских общин. Остальные паломницы и монахини, невзирая на весьма тяжелые условия проживания в Иерусалиме, отказались выехать из него. По словам прибывших, на оставшихся в Иерусалиме повлияли ходившие по городу слухи о том, что в Александрии ощущается недостаток продовольствия и что русские паломницы будут обречены там на голодную смерть; запугивали паломниц также и тем, что на пути в Александрию они будут сброшены с парохода в море...

Невозможно выяснить, какие именно причины заставили столь большое число паломниц остаться в Иерусалиме и обречь себя на все тягости голодной жизни. Однако, зная простоту и доверчивость русских паломниц, можно допустить, что они могли вполне серьезно отнестись к столь нелепым слухам и поверить им¹⁴.

Для заведования открытым в Александрии временным паломническим приютом А. М. Петров привлек находившихся в Александрии на положении беженцев члена Иерусалимской духовной миссии иеромонаха Мелетия, состоящих при той же миссии иеромонаха Илариона, иеродиакона Серафима и монахиню **Горненской обители** Ксению Елетину. Для удобства надзора за паломницами в этот же приют были вскоре переведены и те 17 паломниц, которые прибыли в Александрию в декабре 1914 года вместе с начальником Русской духовной миссии архимандритом Леонидом и проживали в нанятой для них квартире. По имевшимся в Православном палестинском обществе сведениям, относящимся к августу 1916 года, в русском приюте находились 3 иеромонаха, иеродиакон, монахи, 6 монахинь — (2 из Елеонской общины, остальные из русских монастырей), 6 насельниц из **Горненской обители** и 16 из Елеонской, 27 паломниц из числа проживавших в греческих монастырях, 43 паломницы и 3 женщины из состава служащих при иерусалимской больнице общества, — всего 106 человек¹⁵.

Консул А. М. Петров позаботился также и об удовлетворении их религиозных потребностей. По просьбе консула Блаженнейший Фотий, патриарх Александрийский, разрешил русскому духовенству совершать ранние литургии в местной патри-

¹² Там же. С. 109–110.

¹³ Там же. С. 111.

¹⁴ Там же. С. 112.

¹⁵ Там же. С. 113.

аршей церкви. Кроме того, заботами того же консула А. М. Петрова и священнослужителей-иноков Русской духовной миссии одна из комнат приюта была обращена в часовню, где почти ежедневно служились всенощные, молебны и читались акафисты¹⁶.

Свое внимание к русским беженцам патриарх Фотий засвидетельствовал неоднократно личными посещениями их временного убежища. Так, однажды патриарх Фотий прибыл в приют для духовного назидания русских монахинь и паломниц в сопровождении Триполийского митрополита Феофана. Два русских иеромонаха, из числа членов Иерусалимской духовной миссии, встретив патриарха у входа в дом, провели его по всем жилым и общим помещениям временного приюта. Патриарх Фотий был весьма доволен, увидев в каждой комнате киоты с иконами, перед которыми горели свечи. Когда патриарх направился во второй этаж дома, где была устроена часовня, хор сестер Елеонской общины встретил Его Блаженство стройным пением молитвы «Достойно есть». Здесь патриарх произнес несколько слов утешения проживавшим в доме русским беженкам, благословил их и затем отбыл из русского дома, напутствуемый выражениями благодарности со стороны всех его обитателей¹⁷.

Находясь в бедственном положении, архимандрит Леонид неоднократно обращался за материальной помощью в Святейший Синод и Палестинское общество (так как часть сумм на содержание миссии продолжала поступать через него). Отец Леонид настойчиво просил прислать жалованье членам миссии и какие-либо суммы на поддержание монахинь. Но даже в этих непростых и не предусмотренных инструкциями условиях миссии было отказано в праве на само существование ее. «Что же касается расходов по содержанию в Александрии отца архимандрита Леонида и обитательниц Горненской и Елеонской общин, то эти расходы ведению Православного Палестинского Общества не подлежат и их в соображение оно никогда не принимало; это — чисто домашнее дело Миссии» — таким выводом заключалось отношение, направленное весной 1917 года обществом в Хозяйственное управление при Святейшем Синоде¹⁸.

В марте 1917 года архимандрит Леонид выехал из Александрии в Москву для участия в Поместном соборе. Выступая в ноябре 1917 года с докладом о деятельности Русской Духовной Миссии, он перечислил ее основные земельные владения (за 50 лет около 40 участков!) и подчеркнул: «Все это приобретено лишь на средства Миссии, которые она сама на это изыскивает, не получая на это ничего ни от Святейшего Синода, ни от Правительства, ни от Палестинского Общества, и все это оценивается не менее как в два миллиона рублей...»¹⁹

Из Отчета архимандрита Леонида о Русской Духовной миссии на Всероссийском Поместном соборе 1917—1918 гг.

<...> **Горнее.** Самый большой из миссийских участков, около 30 десятин. Теперь здесь благоустроенная женская община (260 сестер), большое монастырское хозяйство, подворье на 1000 человек для паломников, множество зданий, цистерн, мастерских, богадельня. Здесь большой оливковый сад, выдывается здесь же оливковое масло. Имеется храм в честь Казанской Божией Матери, почти окончен новый храм ([нрзб] встречи Матери Божией с Праведной Елизаветой). Недавно близ этого участка приобретен большой участок земли (по преданию:

¹⁶ Там же. С. 113—114.

¹⁷ Там же. С. 114.

¹⁸ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 171.

¹⁹ Там же. С. 171.

первая проповедь Иоанна Крестителя). Эта община была создана для противодействия католикам, ибо католические монахи хотели сделать эту местность рассадником католицизма, устроив здесь мужские и женские монастыри и школы, привлекая в них и православных арабов. С устройством же здесь русской общины, православные арабы стали посещать русский храм, привлекаемые туда благолепным служением. Девочки-арабки посещают здесь мастерские и знакомятся с [нрзб.] православным богослужением <...>²⁰

Из документов. *Стоимость убытков Русской Духовной миссии в Иерусалиме, причиненных турками во время войны.*

По открытии военных действий с Россией, в конце 1914-го года, турецкое правительство, объявившее, что все иностранные имущества и здания должны быть использованы для военных целей, захватило также все имущества и подворья Русской Духовной Миссии, в Иерусалиме и окрестностях. Миссийские здания оказали большую помощь турецкой военной власти, служив то помещением для остановки войск, то интендантскими складами, то госпиталями. Даже храм в Хевроне был обращен в военный госпиталь. Все места, захваченные турками, были разорены и доведены до жалкого состояния, так что стоимость убытков представляет весьма солидную сумму. Следующий перечень Миссийских мест приблизительно показывает стоимость убытков во франках.

<...> *русское место в деревне Айн-Карем. Горненская Русская Женская Община.*

Это место, отстоящее от Иерусалима на 4 километра, представляет маленькую женскую колонию, где жило около 160 женщин полным хозяйством. Здесь имеется храм и две больших гостиницы для остановки паломников. Убытки состоят:

- 1) во взятии всей обстановки гостиницы № 1 4000
- 2) во взятии всей обстановки гостиницы № 2 6000
- 3) во взятии многих вещей у сестер Общины 15.000
- 4) во взятии строительного материала 10.000
- 5) во взятии кухонных принадлежностей 1000
- 6) во взятии 80 ульев 4000
- 7) во взятии цинкового барака 1000
- 8) во взятии провизии из кладовой и вещей из трапезы 4000
- 9) в порубке 85 масличных деревьев, 150 кипарисных и 100 др. 30000
- 10) на ремонт гостиниц и корпусов 10.000

Итого 90.000²¹

В годы Первой мировой войны большую помощь Русской духовной миссии оказывал ее драгоман Г. Н. Халеби. В 1914–1918 годах Халеби оплачивал содержание сторожей миссийских участков, поддерживал монахинь в Горнем и на Елеоне и нес прочие неотложные расходы.

Как уже было сказано выше, в марте 1917 года начальник миссии архимандрит Леонид (Сенцов) выехал в Москву для участия во Всероссийском Поместном соборе. Его обязанности стал исполнять старший иеромонах Мелетий (Розов), оставшийся во главе миссии и после кончины архимандрита Леонида (10 ноября 1918 года).

²⁰ Материалы Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов о Русской Духовной миссии в Иерусалиме // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 301.

²¹ Ошибка в подсчетах, получается 85 000. — Примеч. редакции.

Именно ему пришлось принять на себя всю тяжесть возвращения Русской духовной миссии в Палестину.

В 1918 году в Александрии скончалась настоятельница Горненской общины Валентина; общину возглавила монахиня Тавифа (в миру Татьяна Минина).

В юрисдикции Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ)

27 апреля 1919 года иеромонах Мелетий (Розов) и иеродиакон Серафим (Шендецкий) вернулись в Палестину, командированные Русским дипломатическим агентством, которое финансировало и их поездку, и пребывание в Иерусалиме. Иеромонах Мелетий имел на руках выданное императорским посланником в Египте А. А. Смирновым удостоверение о том, что направляется в Иерусалим в качестве временного заместителя начальника Русской духовной миссии²². Утверждение иеромонаха Мелетия и. о. начальника миссии с формулировкой «допущен временно исполнять...» было подтверждено указом ВЦУ от 17/31 ноября 1921 года, полученным 13/26 декабря 1921 года.

Тогда же решался вопрос о возвращении русских монахинь из Александрии в Иерусалим. Это сопровождалось определенными трудностями, что следует из письма русского консула в Александрии А. Петрова иеромонаху Мелетию.

Вашу бумагу о Подоплеловой, посланную 8 августа через испанское консульство, я получил лишь 12 сентября и на следующий же день сообщил о ней заинтересованной. В ожидании этой бумаги она открыто высказывалась, что я ее уже получил, но скрываю из нежелания отпустить ее в Иерусалим. Она перебудоражила мне весь Дом и довела матушек почти до открытого бунта; подстрекала более благоразумных требовать, чтобы их немедленно отпустили, по ночам собирала подписи на петициях; ходили они ко мне, к посланнику.

Мы и сейчас стремимся ликвидировать беженский Дом и вновь подняли перед англичанами вопрос о переводе всех матушек в Иерусалим на ранее поставленных нами условиях: то есть при предоставлении им одного из русских зданий и обеспечении содержанием или трудом. Но мы отнюдь не можем согласиться, чтобы часть матушек по собственному желанию уехали в Иерусалим и там сели на шею нам или англичанам, а другая часть оставалась здесь и по-прежнему требовала крупных расходов на содержание Дома, служащих и прочего. Наши матушки не понимают, сколь трудно в настоящее время перебиться в Иерусалиме без правительственной помощи, и думают, что их задерживают из прихоти.

*Александрия, 23 сентября 1919 года*²³

В конце концов все проблемы были решены, и монахини-изгнанницы в 1918—1919 годах смогли вернуться в иерусалимские обители. Вернулись в свой основательно поврежденный монастырь и **горненские насельницы**. 26 ноября 1919 года управлявший русскими учреждениями в Палестине Н. Р. Селезнёв в донесении Совету ИППО писал: «В Иерусалиме... около 450 человек паломниц и монахинь. Церкви открыты, ризница сохранилась... На Елеоне живет 120 сестер, в **Горнем** 70, службы везде справляются»²⁴.

²² Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 6.

²³ Там же. С. 16.

²⁴ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 124.

Обитель была почти разрушена, храм и домики сестер требовали ремонта. Ризница и все ценности монастыря были утрачены. Сестры Горненской обители столкнулись с большими трудностями. У них не было средств даже на пропитание. Материальной поддержки ниоткуда не поступало²⁵.

Усилиями сестер Горненская обитель была восстановлена и в 1924 году снова получила канонический статус монастыря. Многие инокини, пришедшие в обитель в эти годы, были русскими монахинями-эмигрантками, бежавшими в Бессарабию, оттуда в Сербию, а затем во Святую Землю. Несколько послушниц были из арабов. Поддерживать административную связь с Московской патриархией стало трудно; русские храмы и монастыри в Святой Земле оказались в ведении РПЦЗ. Архиерейский Синод решил реорганизовать Горненский монастырь, поставив во главе общины настоятельницу в сане игумении. Игуменьей стала Тавифа I (управляла обителью до 1945 года)²⁶.

Оставшаяся без возглавления, обремененная множеством долгов и одолеваемая многочисленными кредиторами, в 1920-е годы Русская миссия в Иерусалиме находилась в почти безвыходном положении. Угроза потери наиболее ценных русских участков вынуждала архиепископа Анастасия (Грибановского) (РПЦЗ), с 1924 года наблюдающего за деятельностью миссии, искать любые способы спасти русские владения в Палестине.

Достичь соглашения с британскими властями о сохранении имущества миссии удалось после сдачи части ее зданий в аренду правительственным учреждениям. Эта арендная плата стала единственным источником содержания миссии и двух женских монастырей, находящихся в ее ведении. Елеонские и **Горненские сестры** получали сверх того очень ограниченное пособие от Православного палестинского общества (ППО)²⁷.

Из документов

Предполагается, что расчет между Обществом и Миссией будет произведен в период 1921–1930 гг. и что в означенные 750 фунтов не будут входить 151 палестинских фунтов и 200 мильс, отпускаемые ежегодно Миссии Управлением Подворьями в качестве пособия на содержание больных и старых сестер Елеонского и **Горненского** монастырей из числа бывших поклонниц, застигнутых войною в Св. Земле. Сохранив за ними пособие, какое оно было обязано выдавать им до поступления в монастыри, Управление продолжает через посредство Миссии автоматически делать в отношении их то, что делало ранее непосредственно и что не [м]ожет быть рассматриваемо в качестве пособия Миссии как таковой. К тому же число поступающих в монастыри поклонниц возрастает с каждым годом, между тем как фиксированная для них сумма пособия от Палестинского Общества с 1924 г. остается неизменной. Не желая, однако, переобременять бюджета Общества, Миссия готова не возбуждать в настоящее время вопроса об отпуске ей второго дополнительного пособия (по соглашению 1895 г.) в 1850 рублей золотом, если последнее вместе с отпуском 750 фунтов сохранит и прежнюю ассигновку в 451 фунт и 200 мильс, выдаваемую в помощь бывшим поклонницам, ныне сестрам двух монастырей: Елеонского и Гефсиманского²⁸.

²⁵ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива. М., 2000. С. 17.

²⁶ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 124.

²⁷ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 36.

²⁸ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 71.

Однако, несмотря на все трудности, новоизбранная игуменья Горненской обители Тавифа смогла привести храм в благолепное состояние, заново устроить ризницу, отремонтировать домики сестер²⁹.

Из записок архимандрита Киприана (Керна)

Теперь в Горней кроме церкви, колокольни и часовни имеется свыше 50 маленьких сестринских домиков, утопающих в зелени холма и необычно радующих глаз своей живописностью. Горняя — поистине огромный сад, сколь вещественный, столько и духовный, и в этом она вполне сохранила мысль своего основателя. В этой обители теперь до 120 сестер, духовно окормляемых матушкой игуменьей Тавифой <...> И так тихо, тихо в этом тишайшем уголке! Только перезвон колоколов с трех колоколен: нашей и двух католических, отбивающих часы и четверти, нарушает благодатную тишину ночи. Да где-то лают в арабской деревне внизу собаки, как-то совсем по-нашему, по-русски, лают. А вдохновенному всегда святостью места сердцу кажется, что за этой тишиной есть что-то, чудится какой-то невидимый глас, будто сама природа величает в песнях Богородицу и Матерь Света. Будто высокие стройные горненские кипарисы чуть слышно шепчут, как силуэты на темном небе: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим...»³⁰

Из Отчета о состоянии Русской Духовной миссии в 1929 году

Из числа священнослужителей трое несут обязанности духовников и [пропуск в тексте] при общинах **Горненской** и Елеонской и при Яффской церкви св. ап. Петра и один престарелый и тяжелобольной проживает в **Горненской общине**. Остальные несут чреду священнослужения при Миссийской церкви св. Живоначальной Троицы и св. муч. царицы Александры и при церкви св. Марии Магдалины в Гефсимании и св. Александра Невского при Александровском Подвории Православного Палестинского Общества.

Горненская Женская Община.

Личный состав сестер Горненской Общины к 1. 1. 1929 г. определяется в 129 лиц, из коих было 6 схимонахинь, 51 манатейная монахиня, 69 рясофорные послушницы и 3 черницы. В течение года волею Божией скончалось 6 сестер (5 монахинь и 1 послушница) и по состоянию здоровья переведена в Елеонскую общину — 1 рясофорная послушница.

Таким образом, на 1 января 1930 года состоялось в Горненской Женской Общине: при

- 1) настоятельнице игуменнии Тавифе — 1.
 - 2) схимонахинь — 6.
 - 3) манатейных монахинь — 45.
 - 4) рясофорных послушниц — 67.
 - 5) черниц — 3.
- Всего: — 122.

По возрасту это число распределяется так:

²⁹ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива. М., 2000. С. 17.

³⁰ Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817–1894). М., 1997. С. 178–179.

- 1) моложе 40 лет — 9.
- 2) от 41 — до 50 лет — 24.
- 3) от 51 — до 60 лет — 44.
- 4) от 61 — до 70 лет — 33.
- 5) свыше 70 лет — 12.

Посещения Русской Духовной Миссии

а) официальные посещения.

В течение отчетного года Русская духовная Миссия неоднократно принимала у себя и в монастырях представителей Правительства, желавших ознакомиться с положением русских учреждений и жизнью русских в Св. Земле. Так, Верховный Комиссар Палестины сэр Чанслор с супругой посетили 3/16 февраля **Горненский женский монастырь**, 2/15 — церковь св. Марии Магдалины в Гефсимании и склеп, где покоятся останки Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и 7/20 января устроенный Миссией Духовный концерт. Г. Губернатор г. Иерусалима неоднократно посещал и Елеонский монастырь в дни престольных праздников.

б) паломнические посещения.

За 1929 г. в Палестину получило разрешение въезда для поклонения св. местам немалое число русских эмигрантов из разных мест рассеяния и побывало в Иерусалиме. Всего в отчетном году было 34 паломника (13 муж. и 21 жен.), (из них 3 болгар). Большинство их (25 чел.) получило за время своего пребывания приют в самой миссии или в монастырях (**Горненской** и Елеонском)³¹.

Одним из таких паломников-эмигрантов был А. П. Ладинский, посетивший Палестину в 1936 году. В его записках содержатся краткие сведения о тогдашней жизни русских богомольцев: «Русским принадлежат, кроме владений в самом Иерусалиме, монастырь на Елеонской горе, знаменитый монастырь в **Айн-Кареме (древняя Монтана или Горнее как ее называют русские)**, Гефсимания, т. е. часть того древнего оливкового сада, в котором произошли трагические события в связи с арестом Христа и его последнего моления о Чаше <...> Как живут русские в Иерусалиме? Эмигрантов мало, несколько человек и они кое-как устроены, работают, кто шофером, кто ночным сторожем, кто кем. Монахов человек тридцать. Они живут при миссии или исполняют различные обязанности при русских владениях. Значительно больше монахинь и «матушек» — тех богомолков, что застряли здесь во время войны. Многие из них работают, служат нянями у англичан, как-то изворачиваются. Многие живут при подворьях в **Айн-Кареме**, получают небольшую помощь»³².

Тогдашнему начальнику Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандриту Антонию приходилось сталкиваться с трудностями не только материального, но и юридического характера. Одна из таких проблем была связана с Софией Апостолиди — духовной дочерью покойного архимандрита Антонина (Капустина), которой он завещал дом с участком в **Горнем**. В завещании о. Антонина отдельным пунктом значилось: «Домик мой в Горнем, с садом и со всеми принадлежностями, как он огорожен, завещаю в полную собственность моей дорогой питомице Софии Константиновне Апостолиди, с тем непременно условием, чтобы по смерти ее дом сей продолжал

³¹ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 63—64.

³² Ладинский А. П. Путешествие в Палестину // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 236—237.

быть собственностью того лица женского пола, которое она изберет, а по смерти этого последнего лица дом переходит в собственность русской церкви, находящейся в Горнем»³³. (Даже до 1959 года «дом, где жила Апостолиди, сохранил наименование „дом Софьи-Гречанки“»³⁴.)

Вот что сообщал по этому поводу о. Антоний митрополиту Анастасию (Грибановскому) в письме от 15/28 марта 1938 года: «Дело о 6 дюнамов земли Софии Апостолиди в Горнем. София Апостолиди близка к смерти, и землю хотят присвоить ее наследники греки. Адвокат говорит, что, вероятно, придется обратиться в земельный суд. София Апостолиди сделала завещание у греков в Патриархии о том, что передаст землю в собственность своей племяннице. У нас имеются *кушаны* (добытые из архива при разборе) на имя Вел. кн. Сергия Александровича. Дело нами продвигается и может окончиться благополучно, если София Апостолиди даст заявление о том, что земля принадлежит Миссии, отец Мелетий надеется, что заявление она даст»³⁵.

Осенью 1938 года игуменья Тавифа была тяжело больна, что вызвало некоторые нестроения среди сестер Горненской обители. Отрывочные сведения об этом содержатся в письме митрополита Анастасия (Грибановского) архимандриту Антонию (Синькевичу) от 18/31 октября 1938 года: «В Горнее следует чаще заглядывать во время болезни матушки Тавифы, чтобы усмирять особенно строптивых клиросных и других беспокойных сестер <...> Сестра Ксения (Горчаковская)³⁶, к сожалению, не оправдала моих ожиданий, она может, конечно, подождать с рясофором, но ее не следует ожесточать и отталкивать от обители. Отцу игумену Серафиму (Горненскому)³⁷ следует посоветовать быть осмотрительнее в своем отношении к некоторым сестрам, чтобы не давать повода к соблазну»³⁸.

В 1938 году в Иерусалиме завершилось так называемое «дело Халеби».

Халеби Георгий Николаевич (1 марта 1864 — 27 апреля 1945), с 1901 года находился в составе Русской духовной миссии, драгоман миссии. Он родился в Иерусалиме в православной семье. Восприемниками были начальник РДМ епископ Мелитопольский Кирилл (Наумов) и Елена Косена, жена яффского греческого купца. Учился во французской яффской школе, училище *Pere Ratisbonne* в Иерусалиме и в немецком яффском училище.

1880, сентябрь — отправился в Москву для продолжения образования.

1881, январь — при поддержке митрополита Московского Макария (Булгакова) принят стипендиатом Св. Синода в Московскую духовную семинарию.

1888, сентябрь — принят в Киевскую духовную академию стипендиатом ИППО.

1892, с 15 октября — 1894, — учитель мужского пансиона в Назарете.

1894—1901 — заведующий паспортным столом в Управлении русскими поддольями ИППО в Иерусалиме.

³³ Россия в Святой Земле. Документы и материалы. М., 2000. Т. 2. С. 227.

³⁴ Никодим (Ротов), архим. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Серпухов, 1997. С. 253.

³⁵ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 96.

³⁶ Регент хора в Горней.

³⁷ Игумен Серафим (Мятецкий; 14 сентября 1873 — 24/7 мая 1949), в составе РДМ с 1931 года. Родился в с. Сотники Киевской губ. С 1900-го до 1914 года жил в Никольско-Уссурийском монастыре Приморской области. В 1914 году выехал в Китай, где находился до 1929 года, «пока большевики не вынудили уехать». 20 декабря 1929 года прибыл во Францию, служил на приходе при русской церкви в Ментоне. Осенью 1930 года обратился в РДМ с прошением принять его в состав братии. В декабре 1939 года назначен в Александрию, где пробыл около трех лет (удостоверение о командировании от 12/25 декабря 1939 года).

³⁸ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 98—99.

1901, 10 марта — после смерти Якоба Халеби по приглашению начальника миссии архимандрита Александра (Головина) подал прошение о принятии в миссию, зачислен указом Св. Синода от 14/21 декабря 1901 года³⁹.

История этого дела восходит к началу Первой мировой войны. После вынужденного отъезда РДМ из Иерусалима в декабре 1914 года, архимандрит Леонид (Сенцов) поручил драгоману Миссии Г. Н. Халеби присмотр за миссийским имуществом (выплату жалования сторожам участков и подворий), попечение о матушках **Горнего** и Елеона (в Иерусалиме их оставалось 270) и об оставшихся в богадельне. О. Леонид просил также выплачивать проценты по займам миссии и наиболее неотложные долги частным лицам. Поскольку сумм, оставленных им и впоследствии присылаемых из Александрии, не хватало, Халеби вынужден был тратить свои средства, а также обращаться к кредиторам, что привело за годы войны к образованию долга свыше 4000 франков (по расчетам Халеби). Кроме того, считавшийся состоящим на службе в РДМ, он нерегулярно получал и свое жалованье. Ко всему этому его преследовали кредиторы как «бывшего поручателя по займам» того же о. Леонида, поскольку из-за отсутствия средств Халеби перестал платить проценты по займам.

После возвращения членов РДМ весной 1919 года Халеби предъявил миссии «счет». Для рассмотрения суммы долга, обстоятельств его возникновения, встречных претензий к Халеби была создана специальная комиссия, которую возглавил о. Мелетий (Розов). РДМ не только отказалась признать долг и выдать Халеби долговые документы, но и настаивала на обратном: Халеби должен миссии. Так началось «дело Халеби», тянувшееся многие годы. Первая стадия завершилась в июне 1928 года решением суда, по которому РДМ должна была выплатить Халеби сумму в размере 324 палестинских фунтов (п. ф.), проценты, набравшие за время судебного процесса (218 п. ф.), и прочие судебные издержки. Причем выплатить единовременно. Из-за отсутствия у миссии такой суммы возникла угроза ареста ее имущества. Существенную поддержку миссии в этой критической для нее ситуации оказал Э. Китс-Роач, бывший тогда администратором русского имущества в Иерусалиме. Именно на это время приходится приезд в Иерусалим о. Киприана. Из письма Халеби о. Киприану от 1/14 марта 1930 года следует, что примерно с этого времени миссия по неизвестным причинам прекратила ежемесячно выплачивать Халеби 10 п. ф. «в счет сумм, должных Миссией по различным обязательствам». Что, по всей вероятности, привело к следующей стадии в деле Халеби. В 1938 году апелляционный суд предложил сторонам прийти к мирному соглашению «вне суда». Сумма долга колебалась от 860 (на которых настаивал Халеби) до 650 фунтов, предложенных РДМ при условии единовременной выплаты. По всей видимости, стороны пришли к соглашению, и сумма была выплачена Халеби единовременно. И на этот раз поддержка Э. Китс-Роача сыграла, по-видимому, решающую роль в спасении имущества миссии от ареста и залога⁴⁰.

В эти трудные годы архимандрит Мелетий не раз исполнял должность начальника РДМ. Архимандрит Мелетий (Михаил Николаевич Розов; 27 ноября 1872 — 6 сентября 1952) В составе Русской духовной миссии в 1907—1952 годах. Старший член миссии, после 1919 года. В его жизни непостижимым образом переплелись судьбы Святой Руси и Святой Земли.

1896, 9 июля — назначен на службу в Финляндскую епархию, в братство Валаамского монастыря, в должности учителя монастырской церковно-приходской школы.

³⁹ Там же. С. 74.

⁴⁰ Там же. С. 74.

1901, 16 сентября — пострижен в монашество.

1902, 20 июля — рукоположен в иеродиакона.

1903, 22 февраля — в иеромонаха. Принимал участие в работах по устройству на Валааме «**Нового Иерусалима**»: в строительстве храма **Воскресенского скита** и **Елеонской часовни Гефсиманского скита**.

1907, 27 ноября — указом Св. Синода зачислен в состав РДМ в Иерусалиме.

1908, 15 января — прибыл в Иерусалим.

С 1910 — старший иеромонах. В сентябре совершал паломническую поездку на Святую Гору Афонскую.

1914, 20 декабря — вместе с братией миссии выслан из Иерусалима и выехал в Александрию.

1919, 27 апреля — вернулся в Иерусалим.

1922, 5 июля — по просьбе заграничного ВЦУ (от 7 февраля) возведен в сан архимандрита Патриархом Иерусалимским Дамианом, о чем 17 августа выдана грамота. Неоднократно отмечен наградами: был удостоен архипастырского благословения (1 мая 1904), награжден набедренником (23 февр. 1906), золотым наперсным крестом из Кабинета Его Императорского Величества (6 марта 1909), орденом Святой Анны 3-й ст. (6 мая 1913), грамотой Иерусалимского Патриарха Дамиана (17 авг. 1922). Награжден митрой митрополитом Антонием (Храповицким) (РПЦЗ) и грамотой... Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (11 окт. 1951). Время было такое...

Сын священника **с. Горнинское** Даниловского уезда Ярославской епархии, архимандрит Мелетий был погребен на кладбище **Горненского монастыря**⁴¹.

Переходный период

С 28 мая по 5 июня 1945 года проходила историческая поездка Святейшего Патриарха Алексия I в Святую Землю и другие страны Ближнего Востока. На первых порах это не отразилось на положении Горненской обители. Тем не менее в записках паломницы-эмигрантки Александры Гавриловой, побывавшей в Святой Земле в 1945–1947 годах наездами из соседнего Египта, упоминается о некоторых смутах среди горненских насельниц.

24-го мая 1945 г. Утром были в Горнем. Внизу чудесно расположенная арабская деревенька — Айн-Карем, а община русских монашек на земле Русской Духовной Миссии лучше всего — на самом верху и вся тонет в зелени: маленькие беленькие хатки-келейки; чистенькие садики при них; свои оливковые деревья — «для пропитания»; свои лавровые деревья. Все в поэтическом беспорядке (хотя порядок большой) — по пригоркам и уступчикам. Но особенно крута дорога туда. С трудом поднимаясь этот раз, как потом и в другие разы, я все вспоминала слова Евангелия, как Пресвятая Дева Мария шла со тщанием из Назарета в Горний град Иудов к Праведной Елисавете (Лук. I. 39-40).

Отстояли обедню. Церковь в этой общине, как хорошая церковь в хорошем провинциальном городе России. Тишина и благодать, но *кажется и здесь какие-то глухие страсти созревают*⁴².

Александра Гаврилова неоднократно бывала в Горненской обители; вот несколько ее зарисовок тогдашнего монастырского быта.

⁴¹ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 7.

⁴² Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945–1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 39–40.

25 сентября 1946 г. Перед отправлением к источнику Иоанна Предтечи, ночевали в Горнем, в келье из двух комнаток. Матушки-друзья застлали постели старенькими, но чистыми и свежими простынями; девочки-белочки поставили цветов в бутылках; графин с водой для питья; принесли воды для умывания. Окна, двери выходят в садики. Покой и тишина такие, каких мы не знали в своей городской жизни. За ночь отдыхаешь так, что к утру организм, ноги и голова совершенно свежи и вскакиваешь с солнцем. Рано утром отправились к источнику Иоанна Предтечи. Русское место в Горнем тянется далеко за поселок матушек и тоже огорожено каменной стеной⁴³.

17 апреля 1947 г. Игуменья Елисавета пригласила меня на праздник иконы Богоматери в Горнем и я отложила свой отъезд. Сегодня на пятый день Пасхи в Светлый Четверг в Горнем в доме Захарии и Елисаветы (странноприимница) была отслужена обедница перед иконой Богоматери. Служил о. Антоний. Ему совсем легче. Служба была торжественная и умилительная. Чувствовалось какое-то торжество духа. Я получила накануне приглашение сюда с ночевкой. Спала в тихой келейке девочек-послушниц. И, как всегда здесь, в таких местах, сон дает полный отдых душе и телу. Утром, пока дошла к службе, набрала букет цветов к иконе. Потом была простая, но очень вкусная трапеза: рис с кедровыми орешками и зеленый горошек с простым соусом. Чай. Были интересные знакомства. Интересные беседы. Сколько еще есть людей, подчиняющихся интересам духа, все свои другие интересы. Люди, отдающие жизнь на служение ближним, как та сестра (Красного Креста?) — датчанка, шведка? — образованная, интересная, работающая в убежище прокаженных. И как она любит русских! Сейчас для всех нас настоящий праздник и отдых, перед заботами, работой, м. б. лишениями. Уходили целой группой далеко за поселок матушек, взбирались на гору, собирали цветы. Сердечно распростилась со всеми моими друзьями и близкими по духу и на другой день на автобусе выехала домой⁴⁴.

А между тем в Горненской общине произошел так называемый «Анастасиевский раскол»: часть сестер выражала желание перейти в юрисдикцию Московской патриархии, другая часть — по-прежнему оставаться под омофором митрополита Анастасия (Грибановского) (РПЦЗ). Вот как излагались эти события в переписке тогдашнего начальника РДМ архимандрита Антония (Синькевича) с митрополитом Анастасием.

Иерусалим, 11/24 июня, 1946 года. Архимандрит Антоний — митрополиту Анастасию.

Относительно положения в **Горнем** я сообщил уже в недавно посланном письме. Могу добавить следующее. Прошло уже восемь месяцев от начала наших горненских событий, за которые я очень много пережил и неоднократно в глубине души задавал себе вопрос, что было бы, если бы Ваше Высокопреосвященство не удовлетворили прошения матушки Тавифы об уходе на покой и оставили ее настоятельницей. Я считал, что оставлять ее нельзя, еще более чувствовал это по непосредственному убеждению. Но, зная как Ваше Высокопреосвященство предпочитаете действовать, где возможно, с осторожностью, я не думал, что Вы удалите матушку Тавифу. Теперь, наблюдая события уже прошедшие, я вижу, как исключительно удачно для нашего дела было ее удаление. Будучи настоятельницей, она покрывала и скрывала от меня все разлагающие настроения и деятельность советских агентов. Если бы продолжалось такое положение, разложение проникло бы гораздо глубже и Советам, и их агентам было бы легче

⁴³ Там же. С. 98.

⁴⁴ Там же. С. 123.

отторгнуть от нас **Горненский монастырь**. Кроме того, не случись несчастья в Горнем, мы не приняли бы необходимых мер на Елеоне, он был бы подвержен влиянию Малой Галилеи⁴⁵ и разложение распространилось бы и там. Вероятно, вместе с Горним был бы потерян для нас и Елеон. Теперь же, видя, что советское дело в Горнем не имеет большого успеха, во всяком случае в той степени, как этого желали бы зачинщики беспорядков, просоветские элементы на Елеоне принуждены были с этим считаться и весьма присмирели. Таким образом, нарыв оказался вскрытым и гниение в прежнем большом масштабе приостановлено. Поэтому, как ни болезненно случившиеся, его необходимо считать пока наиболее удачным для нас стечением обстоятельств, которые, видимо, премудро попущены Самим Богом⁴⁶.

Итак, в 1945 году, после визита в Св. Землю Святейшего Патриарха Алексия I, среди сестер Горненского монастыря возникло разделение по вопросу юрисдикции, появилась большая группа «патриарших» сестер, то есть сторонниц перехода в юрисдикцию Московской патриархии. Их число увеличилось после того, как начальник РДМ в юрисдикции РПЦЗ архимандрит Антоний (Синькевич) отстранил от управления монастырем всеми почитаемую игумению Тавифу и назначил вместо нее новопостриженную монахиню Елисавету (Анненкову). Просьбы сестер вернуть игумению ни к чему не привели. Патриарх Иерусалимский Тимофей, узнав о нестроениях в обители, назначил настоятельницей 75-летнюю Антонину (Гришко). Архимандрит Антоний запретил «своей» игумении и «своим» сестрам общение с «патриаршими» и опечатал Казанский храм обители. Тогда Иерусалимский Патриарх предоставил в распоряжение «патриарших» сестер греческий храм в Эйн-Кареме, назначив туда для совершения богослужений на церковнославянском языке русского иеромонаха Исаию⁴⁷.

История постройки греческого православного храма в Эйн-Кареме излагалась на страницах журнала «Сообщения Православного Палестинского Общества» в рубрике «Иерусалимские известия»: «Защитником Православия в Горней явился покойный архимандрит Антонин. Его заботами и трудами обязаны, что латинской пропаганде была поставлена преграда. Его сооружения превзошли латинские и вокруг хорошо знакомой паломникам церкви во имя Казанской Божией Матери сплотилась вся небольшая, душ в 50, туземная православная община и прекрасно устроенная русская женская община. Тем не менее, хотя обстоятельства в последние 20 лет много изменились, Иерусалимская Патриархия решила, несмотря на то, что более 50 православных селений остаются совершенно без храма Божия, строить в Горней свою церковь, рядом с существующей уже и без того вполне удовлетворяющей местной пастве. 12 Марта 1894 г., в воскресенье, Его Блаженство освятил храм во имя Рождества Предтечи и Крестителя Христова»⁴⁸.

10/23 апреля 1947 г. Иерусалимский архимандрит Антоний – митрополиту Анастасию

<...> С небольшими перерывами, в которые я имел возможность не без труда подняться и прослужить, именно в Лазареву субботу Недели ваий и на Пасху,

⁴⁵ Резиденция Иерусалимских патриархов.

⁴⁶ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 103–104.

⁴⁷ Лисовой Н.Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 124.

⁴⁸ Иерусалимские известия // Сообщения Православного Палестинского Общества, июнь 1894 (СПб.), С. 338–339.

я провел 11 дней почти без сна, а после окончания болей так обессилел, что до сих пор лежу в постели и не имею сил взяться за работу. Но с Божией помощью постепенно чувствую себя лучше. <...> Я предполагаю, что моя новая болезнь случилась отчасти в результате трудного положения нашей Миссии, которое до сих пор выражается в двух главных обстоятельствах: задержке в визах, что создает очень напряженную жизнь ввиду оскудения людей и их устарения, а также ввиду невозможности до сих пор открыть храм в **Горнем**. Мне было трудно объяснить Вашему Высокопреосвященству, по понятным причинам цензуры, что некоторые из власть имущих, от которых мы близко зависим по причинам ли советского влияния, или же по проискам наших личных недоброжелателей (которые являются такими по причине того же советского влияния), сознательно тормозят дело о получении виз.

Когда во время моей болезни отец Лазарь по моему поручению ездил с пасхальными визитами, одни из наших лучших друзей, которые лично знакомы с Верховным Комиссаром, выразили мнение, что еще не настал момент для нашей апелляции, но что этот момент случится в недалеком будущем, именно, как только будет подписан мирный договор в Европе. Потому что до сих пор Англия старалась избегать всякого трения с Советами, но после подписания она не будет этого бояться, и тогда мы можем прямо просить Верховного Комиссара об удалении из **Горнего** главных зачинщиков бунта. Вероятно, Господь устраивает все к лучшему, и то обстоятельство, что я пока не могу из-за своей слабости выходить и просить об аудиенции, послужит в нашу пользу, так как тем надежнее будет наше обращение, чем в более благоприятный политический момент оно будет сделано⁴⁹.

Однако история распорядилась по-другому. В 1947 году была принята резолюция ООН о создании двух государств: еврейского (Израиль) и арабского Палестинского. А 30 ноября 1947 года начались арабо-израильские столкновения, которые привели к первой арабо-израильской войне 1948–1949 годов. В апреле 1948 года еврейские военизированные отряды Хаганы (Оборона) вытеснили арабское население поселка Эйн-Карем. Около 100 **горненских монахинь** покинули монастырь, опасаясь за свою жизнь. Они переселились в основном в Елеонский монастырь, оставшийся в ведении РПЦ⁵⁰. Вернулись в обитель не все.

Иорданская армия вторглась на западный берег реки Иордан и с боями дошла до Иерусалима; Палестинское государство так и не было создано. Линия фронта прошла по Иерусалиму; под контролем иорданских войск оказалась старая часть города с его святынями: Гроб Господень, Елеонский Вознесенский монастырь, Гефсимания, монастырь Св. Марии Магдалины и др. Здания Русской духовной миссии и Горненская обитель остались на израильской территории.

Под омофором Московской патриархии

14 мая 1948 года окончился срок действия британского мандата на управление Палестиной. 15 мая того же года Израиль провозгласил себя независимым государством, после чего были установлены дипломатические отношения между советским правительством и правительством Израиля. Израильские власти передали оказавшиеся на их территории русские храмы и участки, в том числе Горненский монастырь,

⁴⁹ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 105.

⁵⁰ Там же. С. 133.

советскому правительству. Горненский монастырь вошел в юрисдикцию Московской патриархии. Монахи, не пожелавшие вернуться в юрисдикцию Московского патриархата, остались в Елеонском монастыре⁵¹.

17 сентября 1948 года начальником Русской православной духовной миссии Московской патриархии в Палестине был назначен архимандрит Леонид (Лобачев). Прибыв и Иерусалим 30 ноября того же года, он стал первым представителем Московского патриархата в Святой Земле.

Архимандрит Леонид (в миру Илия Христофорович Лобачев; 1896 — 26 июля 1967). Родился в с. Черные Грызы Химкинского уезда, под Москвой, в крестьянской семье.

1915 — окончил Московское Алексеевское коммерческое училище. Поступил послушником в древний Чудов монастырь в Московском Кремле.

1923 — пострижен в монашество в Новоспасском монастыре.

1924 — поступает на медицинский факультет Белградского университета.

1924, 14 июля — рукоположен в иеромонаха Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Петром (Полянским).

1930 — возведен в сан архимандрита епископом Евгением (Кобрановым). Вскоре арестован. Провел около четырех лет в «исправительно-трудовых лагерях».

1934 — освобожден из заключения. Участник Великой Отечественной войны.

Конец 1948 — декабрь 1949 — начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.

1950, 5 апреля — вернулся в Москву. Назначен настоятелем Лосино-Островского храма Адриана и Наталии.

1953, 7 июня — хиротонисан во епископа Астраханского и Сталинградского.

1960, 9 мая — возведен в сан архиепископа.

1964, 30 марта — архиепископ Харьковский и Богодуховский.

1967, 26 июля — скончался в Москве. Погребен на Бабушкинском кладбище⁵².

В состав миссии вместе с архимандритом Леонидом вошел священник Владимир Елховский. 5 декабря 1948 года они совершили первую торжественную службу в Горненском монастыре, к ним присоединился духовник этой обители иеромонах Исаия. Архим. Леонид писал, что «обитель приготовилась к службе, как к великому празднику. Во время литургии прибыло наше посольство, представители государства Израиль, представители командования <израильской> армии, фотографы, журналисты»⁵³. В Горненском монастыре, по списку архимандрита Леониды, оставалось в это время 59 сестер, 46 из них старше 60 лет. Схимонахине Мефодии (Овсянниковой) было 110 лет, схимонахине Синклитикии (Куликовой) — 115⁵⁴.

Июль 1949 года — окончание арабо-израильской войны. Условия перемирия, заключенного между Израилем с одной стороны и Египтом (24 февраля), Иорданией (3 апреля), Сирией (20 июля) с другой, определили новые границы государств. Демаркационная линия по-прежнему делила Иерусалим на две части; **Горненская обитель** оставалась на израильской территории, а Восточный Иерусалим находился под иорданской оккупацией. Материальное положение обители оставалось тяжелым, денежное обеспечение РДМ было недостаточным.

⁵¹ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 124.

⁵² Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 134.

⁵³ Архив ОВЦС. Д. 53. 1948 г. Л. 43.

⁵⁴ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 124.

Из письма заместителя архимандрита Леонида (Лобачева) протопресвитеру Н. Ф. Колчицкому от 27 декабря 1948 г.

От бывшего уюта не осталось и следа. Всюду следы военных действий. Внутри зданий полнейший беспорядок, здесь помещались солдаты. Много похищено, остальное поломано, двери выбиты, канцелярский архив разбросан и уничтожен. С хозяйством переходят к нам и люди русские, которых необходимо и обязательно материально содержать. <...> На присланные 4 тысячи долларов приобретаем предметы первой необходимости, содержим общую трапезу, производим неотложный ремонт. Сейчас средств нет, и на наши телеграммы Святейшему ответа не имеем. Вынуждены просить ссуду у Израиля⁵⁵.

В этом письме речь шла о бедственном состоянии зданий РДМ в Иерусалиме. Такая же участь постигла и Горненскую обитель.

С 30 декабря 1949 года по 27 декабря 1951 год Русскую духовную миссию в Иерусалиме возглавлял епископ Порховский Владимир (Кобец).

1951, 27 декабря — освобожден от должности начальника миссии и назначен епископом Житомирским и Овручским.

1954, 20 апреля — награжден саном архиепископа.

1957 — на покое в Псково-Печерском монастыре.

1960, 24 января — скончался. Погребен в пещерах монастыря.

За время своего пребывания в должности начальника РДМ владыка Владимир провел капитальный ремонт зданий миссии и храмов в **Горненском монастыре**, в других владениях миссии в Яффе и Магдале.

В январе 1950 года в результате усилий Русской духовной миссии архимандритом Леонидом было принято четыре объекта в Иерусалиме (Русские постройки, Вениаминовское подворье, дом И. Г. Силаевой и загородная дача в Катамоне), монастырь и участок земли в **Горнем** (в Айн-Кареме), храм с подворьем в Яффе, храм и подворье в Хайфе, оливковый сад в Назарете, участок земли в Кане Галилейской и в Лубие (Галилея), «Дом со сводами» в Тиверии и участок в Магдале.

После кончины игумении Антонины 23 июня того же 1950 года состоялось возведение новоизбранной настоятельницы Горненского монастыря монахини Афанасии (Лысенковой) в сан игумении (1950—1955)⁵⁶.

К этому времени «Анастасиевский раскол» в Горненской обители сошел на нет, чему немало поспособствовал игумен Исаия (Бабинин) (1883—1963), член РДМ с 1931 года. 15 мая 1939 года, в день Пятидесятницы, инок Исаия был рукоположен во иеромонаха архиепископом Анастасием (Грибановским) и назначен на послушание священника и духовника в **Горненский монастырь**. В мае 1945 года, по благословию Патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского), о. Исаия ушел из «раскольнической» Духовной миссии и был принят греками в братство Святого Гроба Господня, где нес обязанности священнослужителя и привратника Святого Гроба. Когда в Горнем монастыре часть сестер вышла из «Анастасиевского раскола» и была принята Иерусалимским Патриархом Тимофеем под свое покровительство, иеромонах Исаия был им назначен в **Горненский монастырь** на послушание священника и духовника для патриаршей группы сестер Горненской обители⁵⁷.

⁵⁵ Там же. С. 134.

⁵⁶ Там же. С. 133.

⁵⁷ Там же. С. 72.

Другим «возвращенцем» в юрисдикцию Московской патриархии был архимандрит Мелетий (Розов), скончавшийся 6 сентября 1952 года.

Из некролога

...Знойное, без капли дождя палестинское лето... Душные ночи... И старческое сердце не выдерживает... 6-го сентября с. г. скоростижно скончался старейший член и духовник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Архимандрит Мелетий (Розов). 27-го ноября по ст. ст., в день иконы Божией Матери «Знаменной», в этом году исполняется 80 лет со дня рождения покойного о. архимандрита. В Миссии уже шли приготовления к знаменательному дню, но Господь судил иначе... 8-го сентября в соборе после Божественной литургии состоялось отпевание о. Мелетия миссийским духовенством при участии греческого архимандрита Иерусалимской Патриархии о. Игнатия. Отдать последний долг покойному пришли его духовные чада, почитатели, представители нашей Дипломатической Миссии и местных учреждений во главе с Губернатором доктором Биран. По окончании отпевания тело покойного было перевезено на кладбище **Горненского женского монастыря**, где и погребено среди могил духовенства Миссии. Все иерусалимские газеты поместили некрологи о. архимандрита Мелетия. <...>⁵⁸

Корреспондент газеты «Хабокер»:

Архимандрит Мелетий, представитель старейшего русского духовенства в Иерусалиме, умер вчера в своей квартире в Русских Постройках в Иерусалиме, и сегодня утром состоится похороны с подобающим торжеством на русском кладбище в **Эйн-Карем** <...> Он был один из наиболее ученых из духовенства. Этот монах был первым, нарушившим бойкот со стороны белого русского духовенства Московскому Патриархату, созданному Сов. Правительством. Разрыв обнаружился в то время, когда он во главе русских монахов принял участие во встрече, организованной в честь Патриарха Алексия, который впервые посетил Иерусалим летом 1945 г. Покойный монах оставил многочисленные записи и воспоминания из истории страны и также составил книгу об истории русской колонии в стране и связи России со Св. Землей⁵⁹.

Отец Мелетий подвизался в Валаамском монастыре с небольшими перерывами с 1896-го по 1907 год, пока не был зачислен в состав Русской духовной миссии. Здесь он нес послушания старшего иеромонаха, пережил все трудности военного и послеволюционного времени, неоднократно исполняя обязанности начальника миссии, затем казначея. «Я не представляю, кто бы мог заменить теперь Вас на этом посту без ущерба для дела», — писал ему в 1939 году митрополит Анастасий (Грибановский). Труды иеромонаха Мелетия были отмечены императором Николаем II и Патриархом Алексием I. Почти 45 лет монашеского служения посвятил он Святой Земле, где в 1952 году и обрел свой вечный покой на кладбище **Горненского монастыря**, будучи в сане архимандрита и почти дожив до 80-летнего юбилея⁶⁰.

В 1952 году в Москве были расстреляны члены антифашистского еврейского комитета; продолжалась борьба с «безродными космополитами», полным ходом шло следствие по «делу врачей». Как реакция на это — 9 февраля 1953 года брошена бом-

⁵⁸ Там же. С. 8.

⁵⁹ Там же. С. 8.

⁶⁰ Алехина Л. И. Священный град Иерусалим — цель нашего многотрудного путешествия // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 213.

ба в советское посольство в Тель-Авиве. 12 февраля последовал разрыв дипломатических отношений между СССР и Израилем.

А в Эйн-Кареме — новость совсем другого характера: весной 1953 года из Старого города в Горненский монастырь на жительство прибыли игуменья Михаила (Жорчагина), монахиня Гавриила и инокиня Анна⁶¹.

С середины 1950-х годов обитель стала пополняться монахинями, приезжавшими из СССР. 9 августа 1955 года в Горненский монастырь прибыла первая группа монахинь из Рижского, Киевского Покровского, Гродненского и Пюхтицкого монастырей. Прибывшие семь сестер — монахини Викторина (Сошальская), Нина (Мыслевец), Евдокия (Ермолина), Ксения (Шахович), Стефанида (Кирилук), Елена (Островецкая), Вера (Волкова) — первое пополнение Горненского монастыря после 1918 года. Самой старшей было 34 года, младшей — 29 лет⁶². Указом Святейшего Патриарха Алексия I от 25 февраля 1956 года настоятельницей Горненского монастыря была назначена игуменья Михаила (Жорчагина), (с 7 марта 1956 года по 1960 год) И вскоре ей пришлось столкнуться с возникшими проблемами.

В июне 1956 года израильскими властями началось строительство дороги через Горний монастырь, отрезавшей часть монастырской земли. Активное участие в защите прав обители принял иеромонах Никодим (Ротов)⁶³. 22 ноября 1956 года иеромонах Никодим в сопровождении адвоката Кронгольда посетил Министерство религий, где заявил решительный протест по поводу действий на территории Горненского монастыря и потребовал немедленного прекращения всех работ на монастырской земле⁶⁴.

Однако нападки на обитель продолжались; на следующий день, 23 ноября, иеромонах Никодим был в Горнем, где монахиня Евгения рассказала, что при сборе маслин недалеко от проводимой дороги в нее было произведено четыре выстрела. Выстрелы слышали игуменья Михаила, монахиня Викторина, инокиня Евдокия и В. Н. Микель. В доме монахини Акилины от падающих камней была повреждена не только крыша, но и потолок. Масса крыш монастырских домов была повреждена камнями; много разбитых окон⁶⁵.

В мае 1955 года членом РДМ в Иерусалиме стал игумен Пимен (Хмелевской). С ноября 1955 года — зам. начальника миссии; с 20 февраля 1956 года — начальник РДМ.

Из доклада Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию Начальника Русской Духовной Миссии архимандрита Пимена (Хмелевского) от 28 апреля 1957 г.:

В настоящее время многие причины заставляют нас испытывать значительные трудности <...> — это острый недостаток людей, вследствие чего мы буквально задыхаемся, выбиваемся из сил и испытываем ни с чем не сравнимое горькое мучение <...> В данный момент нам не только не присланы давным-давно обещанные два священника и диакон, но безнадежно болен живущий в **Горнем** игумен Исаия <...>.

⁶¹ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 133.

⁶² Там же. С. 141.

⁶³ С 25 января 1956 года — член РДМ в Иерусалиме, заместитель начальника РДМ. 25 сентября 1957 года назначен начальником РДМ с возведением в сан архимандрита. Впоследствии — митрополит Ленинградский и Новгородский (сконч. в 1978 году).

⁶⁴ Там же. С. 142.

⁶⁵ Там же. С. 142.

Из общего числа 13-ти присланных из Москвы монахинь у нас сейчас находятся лишь 9, из которых 6 (монахини Нина и Викторина и инокини Елена, Епистимия, Лидия и Евдокия) постоянно болеют <...>. Если учесть, что в **Горнем** за истекшие 2 года скончались 4 монахини, а многие из еще державшихся на ногах старух давно слегли в постель, то картина представится в весьма неприглядном свете. <...> За эти же два года скончались 7 старух-паломниц, из числа которых были несколько помогавших нам на клиросе, по свечному ящику и по другим церковным делам.

<...> При найме временных рабочих приходится быть до бесконечности осмотрительным, потому что среди лиц, предлагающих нам свои услуги, масса жуликов, аферистов, полоумных и изрядное количество израильских шпионов.

<...> Для нормального курса жизни и деятельности нашей Миссии совершенно необходимо прислать нам следующих людей:

1. Трех священников, из которых один должен быть способным исполнять обязанности духовника в **Горненском монастыре**.

2. Дякона, желательно грамотного, чтобы он смог работать в библиотеке, или, в крайнем случае, какого-нибудь, лишь бы дякона.

3. Хозяйственника, знакомого с сельским хозяйством <...>.

4. Шофера.

5. Переводчика <...>.

6. Конечно, монахинь <...>⁶⁶.

Из доклада от 23 мая 1957 г.:

Жизнь Русской Духовной Миссии в Иерусалиме последнее время протекает в условиях, которые можно назвать «на краю гибели». По-прежнему продолжают предпринятые израильскими властями строительные работы в районе **Горненского монастыря** <...>. Евреи чувствуют себя полными хозяевами нашей земли, ездят по ней, ставят машины и инвентарь, заканчивают устройство шоссе <...>. Израильское правительство все более держит курс на Америку и все более старается по возможности искоренить все, что связано с именем Русской Церкви⁶⁷.

Но несмотря на тяжелое положение обители, Горненский монастырь продолжал оставаться одним из действующих монастырей РПЦ в течение всей последующей истории СССР, являясь единственным женским монастырем Московского патриархата за пределами советских границ. В 1960 году впервые за послевоенные годы насельницы Горнего монастыря смогли совершить паломничество к великим христианским святыням, расположенным в Восточном Иерусалиме, на территории, которая тогда была оккупирована Иорданией, и прежде всего — поклониться Гробу Господню⁶⁸. (Переход в Восточный Иерусалим в те годы осуществлялся через так называемые Мандельбаумские ворота, служившие единственным переходом между Старым и Новым Иерусалимом и между арабской и израильской территориями⁶⁹.)

С 1960 года начинает постепенно развиваться паломничество в Святую Землю из России (Советского Союза). Группы составлялись из духовенства и работников церковных структур и, как правило, возглавлялись архиереем. Сначала паломничества приурочивались к празднику Святой Пасхи, затем добавились поездки к празд-

⁶⁶ Там же. С. 143.

⁶⁷ Там же. С. 143. См. также: Архиепископ Саратовский и Вольский Пимен (Хмелевской). Дневники: Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. 1955–1957. Саратов, 2008. С. 466–471.

⁶⁸ Там же. С. 151.

⁶⁹ Там же. С. 141.

никам Святой Троицы (престольный праздник Троицкого собора Русской духовной миссии в Иерусалиме) и Рождества Христова. Группы богомольцев тогда были многочисленны — не более 15 человек.

С этого времени Горненский монастырь периодически пополняет свой состав новыми насельниками, направляемыми Русской православной церковью нести свой монашеский подвиг на Святой Земле. Общая площадь территории Горненской обители составляла (по описям 1895 и 1949 годов) 360 тыс. кв. м. При строительстве госпиталя Хадасса (открыт в 1961 году) и подъездной дороги к нему значительная территория в верхней части монастырских владений отошла в муниципальное пользование, несмотря на протесты представителей Русской духовной миссии.

В 1960—1966 годах Горненскую обитель возглавляла игуменья Тавифа II (С. И. Дмитриук; 1897—1972), прибывшая из Рижского Троице-Сергиева монастыря.

«Апельсиновая сделка» (1964)

«Апельсиновая сделка» — название соглашения № 593 «О продаже правительством Союза Советских Социалистических Республик имущества, принадлежащего СССР, правительству государства Израиль».

К 1917 году Российской империи на Святой Земле принадлежало 70 объектов недвижимости. После образования государства Израиль часть имущества Российской империи была возвращена Русской православной церкви, в частности здания Русской духовной миссии Московского патриархата и Императорского Православного палестинского общества. Значительная же часть Русского подворья удерживалась Израилем. Начались долгие имущественные споры с израильскими властями.

В начале 1950-х годов отношения между Израилем и СССР резко обострились. В 1959 году переговоры зашли в тупик, и Израиль предложил сделку по продаже Израилю русской недвижимости. После пятилетних торгов советское правительство во главе с Хрущёвым согласилось на так называемую «Апельсиновую сделку», и в 1964 году русская недвижимость была продана Израилю за 3,5 млн израильских лир (4,5 млн долларов США). 7 октября 1964 года соглашение подписали с израильской стороны министр иностранных дел Голда Меир и министр финансов П. Сапир, а с советской стороны Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Израиле М. Бодров⁷⁰.

Давление на монастырь началось еще в августе. Первый погром насельницы пережили 29 августа, а 3 сентября сторож Горненской обители позвонил в миссию и сообщил о том, что в Горнем опять орудуют хулиганы. Хулиганы увели осла сторожа, побили стекла в окнах у монахини Сергии и в нескольких местах разбили черепицу на крыше. Игуменом Гермогеном⁷¹ был пойман один из хулиганов, его доставили в полицию, через некоторое время в полицию были доставлены и остальные. Расследование велось в вялотекущем режиме. Лишь 18 августа следующего, 1965 года в Горнюю обитель прибыла комиссия из трех человек с целью осмотра монастырских зданий, пострадавших от погромов 29 августа и 3 сентября 1964 года. Осмотр продолжался два с половиной часа⁷².

⁷⁰ Там же. С. 158.

⁷¹ Игумен Гермоген (Орехов). С 20 января 1964 года назначен заместителем начальника РДМ в Иерусалиме с возведением в сан игумена. С 24 декабря — начальник РДМ. 25 февраля 1965 года возведен в сан архимандрита.

⁷² Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 158.

В рамках «Апельсиновой сделки» Израилю были проданы следующие объекты Русского подворья: Российское генконсульство, Мариинское подворье, Елизаветинское подворье и Николаевское подворье в Иерусалиме, а также несколько участков в Хайфе, Назарете и других местах. **Горненская обитель** лишилась земельного участка площадью 5748 кв. м. (В настоящее время монастырская площадь составляет 228 тыс. кв. м.)

1960—1970-е годы. Хроника событий

С 1966-го по 1982 год Горненскую обитель возглавляла игуменья Софрония (А. В. Ребрий).

В феврале 1967 года вокруг Горнего монастыря началось строительство ограды из железных столбов и металлической сетки с колючей проволокой.

1 мая 1967 года в Горненском монастыре совершалась Пасхальная Божественная литургия. После многолетия начальник миссии архимандрит Антоний (Завгородний)⁷³ приветствовал сестер с праздником и зачитал указ Святейшего Патриарха Алексия об окончании послушания в Святой Земле игуменнии Тавифы и возвращении ее на родину.

5 июня 1967 года — начало Шестидневной войны, разрыв дипломатических отношений СССР с Израилем. В результате этой войны в июне весь западный берег Иордана и большая часть Палестины оказалась под контролем Израиля. В 11.30 началась перестрелка в Иерусалиме со Старым Городом, после этого начались военные действия. Всю ночь гремели орудия и рвались снаряды, слышалась канонада, бомбили Старый Город. Днем начальник миссии и иеромонах Евсевий поехали в Горний монастырь, провели насельниц, успокоили их. **В Горнем монастыре** все было хорошо, ничего не повреждено, хотя неподалеку бомбили. Вечером узнали, что Старый Город занят еврейскими войсками⁷⁴.

В мае 1968 года в Горненском монастыре было закончено строительство дороги, что во многом облегчило условия жизни в монастыре. Дорога асфальтовая; она проходит до монастырской трапезной⁷⁵. Однако дорога до Иерусалима по-прежнему оставляла желать лучшего. Так, **18 января 1974 года**, в Крещенский сочельник в Троицком соборе игумен Серафим⁷⁶ и протоиакон Владимир сами пели на клиросе, так как певчие монахини не смогли приехать из Горней обители в связи со снежными заносами⁷⁷.

20 июня 1975 года помолиться святыням Палестины прибыли: глава делегации — Филарет (Вахромеев), митрополит Берлинский и Среднеевропейский, Патриарший Экзарх Средней Европы⁷⁸; архимандрит Иероним (Зиновьев) — наместник

⁷³ Назначен начальником РДМ 4 апреля 1967 года, 17 марта 1970 года переведен в клир Ленинградской епархии.

⁷⁴ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 160.

⁷⁵ Там же. С. 162.

⁷⁶ Игумен Серафим (Тихонов). С ноября 1970 года секретарь зам. начальника РДМ в Иерусалиме. С 5 апреля 1974 года исполнял обязанности начальника миссии. 26 декабря возведен в сан архимандрита и назначен начальником РДМ в Иерусалиме.

⁷⁷ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 166.

⁷⁸ Впоследствии — митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх Белоруссии, Председатель ОВЦС; с 2014 года — на покое.

Троице-Сергиевой лавры; архимандрит Александр (Тимофеев) — инспектор московских духовных школ; игумен Владимир (Иким) — член Отдела внешних церковных сношений; протодиакон Владимир Романов — студент четвертого курса Московской духовной академии; Н. П. Анфиногенов — заведующий бюро переводов ОВЦС, Борис Михайлович Кублицкий — староста Ленинградского Никольского кафедрального собора. На следующий день, 21 июня, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в **Горней обители**. Ему сослужили священнослужители-паломники и духовенство миссии. После литургии и трапезы митрополит Филарет вручил каждой насельнице монастыря подарки (по отрезу и по коробке шоколадных конфет, а также иконочку преподобного Сергия)⁷⁹.

2 января 1976 года утреннее богослужение в Горней обители совершили архимандрит Серафим и протодиакон Владимир, вместе с которыми впервые из миссии в Горний монастырь приехала новая монахиня Варвара (Третьяк). А 23 февраля того же года скончалась старейшая насельница Горней обители монахиня Анания (Шишкова)⁸⁰.

15 марта 1977 года в миссии был обычный трудовой день. Архимандрит Серафим, начальник Русской духовной миссии, иеромонах Николай⁸¹ и несколько **горненских монахинь** высадили вокруг Троицкого собора около 200 саженцев кипарисов.

29 ноября 1981 года архимандрит Николай и игумен Пантелеимон в аэропорту Лод встречали игуменю Феодору⁸² и шесть новых монахинь, которые прибыли для несения послушания на Святой Земле. В миссии новых насельниц встретила хлебом и солью игуменья Горней обители Софрония⁸³.

9 апреля 1982 года перед всенощным бдением архимандрит Николай совершил постриг в рясофор новых послушниц с новыми именами: Ангелина, Глафира, Нина, Людмила, Таисия⁸⁴. В 1983—1986 годах Горненскую обитель возглавляла игуменья Феодора (Н. В. Пилипчук).

⁷⁹ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 166.

⁸⁰ Там же. С. 166.

⁸¹ Иеромонах Николай (Шкрумко). С 13 февраля 1973 года член РДМ в Иерусалиме. С 26 декабря 1974 года зам. начальника миссии с возведением в сан игумена. 22 июля 1977 года начальник РДМ с возведением в сан архимандрита. 16 июля 1982 года освобожден от обязанностей начальника.

⁸² Игуменья Феодора (Полипчук). Назначена настоятельницей Горненской обители определением Св. Синода от 15 декабря 1983 года, управляла монастырем до 29 июля 1986 года.

⁸³ Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 178. Игуменья Софрония (Ребрий). Управляла Горненской обителью с 1966-го по 1982 год.

⁸⁴ Там же. С. 178.

Contents

Prose and Poetry

Sergey Mnatsakanyan. Poems • 3

Elena Kryukova. The Soldier and the Tsar. Fragment of the novel • 9

Roman Rubanov. Poems • 106

Ivan Katkov. Olympian. Novel • 110

Nina Geyde. Poems • 126

Renat Bekkin. Kazan Stories • 131

Boris Hosid. Poems • 149

Boris Petrov. Stories • 152

Yegor Fetisov. Stories • 167

Publicistic Writings

Alexander Asmanov. How Much is It, Goldfish? Notes of Former Millionaire • 173

Karamzin Code

Elena Zinovieva. About State Destiny • 182

Petersburg Bookman

Portrait of the Poet. *Albert Izmailov.* «Through My Memory ...». **Person and Fate.** *Anna Dautova, Ecatherina Ivanenko.* Jan Švankmajer: Between Don Juan and Faust. **Reviews.** *Alla Marchenko.* Flip-flap under the Big Top. *Alexander Vergelis.* VERSUS CONSERVAT OMNIA. *Boris Lichtenfeld.* Poet Not for Poets • 199

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Gornji Grad of Judah. Part 3 • 231

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

*Проект «Слово, одухотворенное временем»
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга*

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 06.07.2016. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2500 экз. Заказ № 1485
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии StP
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28